

ПАМЯТЬ ЖЕНСКОГО РОДА

Сборник женской прозы

Москва
Союз российских писателей
2023

ББК 82 (2 Рос=Рус) 6-4
П15

*Издано при финансовой поддержке
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации*

П15 Память женского рода : сборник женской прозы / автор
Светлана Василенко. — М.: Союз российских писателей,
2023. — 400 с.

ISBN 978-5-901511-57-2

Новеллы, вошедшие в этот сборник, — это сюжеты нашего прошлого, рассказанные женщинами. Женский опыт передаётся через десятилетия, не исчезает, трансформируется с течением времени, но звучит отчётливо, и стремится быть продолженным в новых поколениях... Пристальное внимание к конкретному времени и месту, к событиям повседневности отличает авторов книги, принадлежащих к разным поколениям, обладающих разным жизненным опытом и литературным стажем. Так же, как сближает их и напряжённый поиск связей с корнями своей семьи, с родными, на чью долю выпали драмы и испытания, будь то Великая Отечественная война, эвакуация, репрессии, коллективизация, голод, духота застойных лет, надежды и растерянность 1990-х... В каждой судьбе, в каждом сюжете проступает история страны, высвечиваются новые грани событий.

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

*В оформлении обложки
использована фотография Лидии Григорьевой*

ISBN 978-5-901511-57-2

© С. В. Василенко, составление, 2023
© Екатерина Арт (Омельченко),
обложка, 2023

К читателю

О нашем прошлом и героическом, и трагическом написано очень много. И практически каждый год выходят новые книги, появляются журнальные публикации, открывающие неизвестные страницы, коллизии, героев, которые вызывают большой интерес читателей, и критиков. Совершенно очевидно, что интерес к истории, к документу сопровождается интересом к её художественному осмыслению. Писатели стремятся проникнуть в суть давних и не очень давних событий, понять, что чувствовали тогда люди, как реагировали на происходящее, — и в то же время разобраться, какие нити связывают нас сегодняшних с ушедшими эпохами, что прорастает в нас через поколения...

Новеллы, вошедшие в этот сборник, — это сюжеты нашего прошлого, рассказанные женщинами. «Женский сказ» — так можно охарактеризовать форму большинства из них, хотя, конечно, здесь присутствуют разные стили и угадываются разные литературные традиции. Сегодня уже совершенно очевидно, что женский взгляд высвечивает многое из того, что «традиционная мужская» литература не замечает, он останавливается на мелкой пластике деталей, мимолётных движениях чувства, на тени жеста, на оброненном как будто бы случайно слове... Из этих деталей рождается уникальный образ времени и места. Пристальное внимание к конкретному времени и месту, к событиям повседневности отличает авторов книги, принадлежащих к разным поколениям, обладающих разным жизненным опытом и литературным стажем. Так же, как сближает их и напряжённый поиск связей с корнями своей семьи, с родными, на чью

долю выпали драмы и испытания, будь то Великая Отечественная война, эвакуация, репрессии, коллективизация, голод, духота застойных лет, растерянность 1990-х... География также обширна: это московские коммуналки и высокогорные села, Центральная Азия и Сибирь... В каждой судьбе, в каждом сюжете проступает история страны, высвечиваются новые грани событий. Героини многих новелл — это бабушки и внушки. Женский опыт передаётся через десятилетия, не исчезает, трансформируясь с течением времени, и звучит отчётливо, стремясь быть продолженным в новых поколениях... Голоса бабушек отзываются в судьбах и поступках внучек, внушки ищут в них опоры или ответа на мучительные современные вопросы, стараются воссоздать их мир, ушедший, но на самом деле продолжающий звучать в нас. Сборник представляет многоцветное и разносоставное художественное полотно, в котором каждая новелла привносит новую краску, каждый стежок дополняет общую картину... Женщины продолжают отважно и талантливо осваивать время и пространства нашей жизни, расширяя границы литературного познания мира.

*Светлана Василенко
Надежда Ажгихина*

Всё на свалку!

Внук Серафимы Павловны наконец-то женился. Медлительный добрый увалень, бесхарактерный и простоватый, к своим тридцати двум годам он не единожды пытался ухаживать за девушками, но те быстро сбегали от него к более бойким парням. Молодуха — не в пример новоиспечённому мужу — была хваткая, шустрая, настырная и вся какая-то «востренькая»: глазки, носик, локоточки, коленочки, тоненькие губки, ушки на макушке, а уж язычо-о-ок!..

Серафиме Павловне девка эта сразу не глянулась. Видно было, что вертеть она Денисом станет почём зря. Но внук сиял, словно начищенный самовар, улыбался каким-то своим потаённым счастливым мыслям и ощущениям, ворковал с востренькой своей голубицей, и та, как заметила потом бабка, с мужем рядом становилась иной: мягчала, светлела, доверялась ему. И все эти её локоточки и коленочки, вечно торчащие в ожидании нападения, как пики у воина, вдруг куда-то складывались, прибирались, утрачивали свою остроту и опасность.

На большом семейном совете было решено, что жить молодые станут у бабки. Дом у неё в райцентре просторный, две комнаты, кухня, да ещё и светёлка. Серафима Павловна такому решению не обрадовалась, но возражать не посмела. К тому же внука она любила, жалела, и дом её вместе с приусадебным участком уже лет пять как был отписан Денису по завещанию.

Сразу после регистрации в загсе и праздничного пира молодые улетели в свадебное путешествие на какой-то экзотический остров. Куда именно, Серафима Павловна

не поняла, как ни объяснял ей Денис. Уяснила только, что это где-то рядом с Индией.

Вернулись через две недели загорелые, весёлые, привезли бабушке керамическую кружку, разрисованную ракушками и морскими звёздами, угостили неведомым фруктом и поселились в горнице. Хозяйка же пристроилась за перегородкой, в маленькой комнате с круглой печкой и одним окном.

Неудобства начались сразу же, и дело даже не в том, что Анжела — так звали супругу внука — с первого дня оккупировала кухню и принялась разготовливать для муженька различные деликатесы (это как раз Серафиме Павловне нравилось, значит, голодным Денис не останется). И не в том дело, что спать молодые ложились поздно — долго смотрели телевизор, ходили, смеялись, а потом, погасив свет, предавались плотским утехам, стараясь быть тихими. Хотя уже по одним вздохам в темноте и по ритмичному поскрипыванию дряхлого дивана легко было догадаться о природе их занятий. Неудобство состояло в том, что, когда Денис уезжал утром на работу, Анжела могла целый день просидеть в горнице, глядя в экран телефона, быстренько тыкая в него пальчиком, и не сказать бабушке ни слова. Сама Серафима Павловна пыталась наладить отношения с Анжелой, звала её пить чай. Молодуха не отказывалась, приходила, но сидела всё с тем же телефончиком, не глядя цепляла со стола чашку с чаем, кидала в рот сушку, конфетку и с хозяйкой упорно не разговаривала. В этом её молчании не было ненависти или презрения, она просто не знала, о чём беседовать с семидесятипятилетней старухой. Серафима Павловна хотела бы понять, чем живёт эта молодая женщина, думает ли рожать в ближайшее время, почему не устраивается на работу или хотя бы не поступает учиться. Анжела на её вопросы отвечала, что она скоро будет делать ногти, что купила курс обучения в интернете, его-то и смотрит всё время.

— Какие ногти? Кому? Какой курс?..

Серафима Павловна уходила в огород полоть и поливать грядки или просто гуляла по улицам родного про-

винциального городка, разговаривала с соседями и знакомыми. Те непременно спрашивали, как ей живётся с молодыми. Но мудрая Серафима Павловна коротко отвечала, что всё в порядке, живут, не ссорятся, и переводила тему.

Но не прошёл ещё у молодых и медовый месяц, как однажды вечером, пошутукавшись, Анжела и Денис постучались в бабушкину комнату.

— Бабуль, давай мы тебе евроремонт сделаем, — бодро возвестил внук.

— Евро... это как? — спросила Серафима Павловна, защитно скрестив руки на груди.

— Ну... выкинем весь твой хлам. И чтоб по современному всё. Потолки натяжные, ламинат, окна пластиковые вставим, мебель поменяем. А то Анжелка говорит — стыдно в такой дом клиентов приглашать.

— Ну, если Анжелка, то тогда конечно! — не сдержалась хозяйка.

— Серфим Пална, — тут же встряла и Анжела, — если вы думаете, что мы от вас денег просим, так есть у нас! Надарили на свадьбу. А от вас нам ни копейки не нужно!

— Да, бабуль, ты не переживай! Быстренько всё сделаем, — поддерживал внук жену. — Мы уже и окна заказали.

— А меня вы ещё не заказали? — огрызнулась Серафима Павловна и, махнув рукой, ушла от двери, в которой возвышался Денис, а рядом с ним его мелконькая и востренькая. Села на кровать и отвернулась. — Делайте, что хотите. Всё равно моё слово теперь ничего не значит...

— Ну бабу-у-ль... — заныл внук совсем помальчишечьи, подсел рядом, обнял и стал уговаривать её.

Через два дня во двор заехал большой грузовик, из которого парни во главе с Денисом долго выгружали разные строительные материалы, какие-то коробки, упаковки. Дом наполнился людьми, шумом, звуками дрели, стуком молотков, весёлым матерком и молодым бестолковым смехом.

Хозяйка сидела в своей комнатке, как в последнем оплоте собственного достоинства, и ни во что не вмешивалась. Горько было на душе, слёзы душили, давление поднялось. Она даже не вышла обедать, когда её позвал Денис, а потихоньку попросила принести ей в комнату.

Внук вернулся с тарелкой жиденького супа и двумя кусками хлеба, поверх которых лежали тоненькие кусочки варёной колбасы.

Серафима Павловна, примостившись у низенького столика, пошевелила в тарелке ложкой, попробовала. Суп был едва тёплый.

— Бабуль, мешаем мы тебе, — проговорил, задержавшись на пороге комнаты, Денис. — Давай я тебя на недельку к бате отвезу. Обрато приедешь — дом не узнаешь!

— Это уж точно... — проворчала в ответ бабушка, но поехать к сыну согласилась.

Сын, занятой и хмурый, на робкие попытки матери жаловаться отвечал односложно и коротко:

— Они молодые! Пожить хотят по-человечески. А у тебя тараканы за печкой и диван с клопами — вот всё богатство!

— У меня?! Тараканы?! Клопы?! Да как тебе не стыдно! — у Серафимы Павловны аж сердце заходило от обиды и несправедливости.

Она всегда была чистоплотна, аккуратна. Да, прожила всю жизнь небогато. Мебель в дом они ещё с мужем покупали, наверное, годах в семидесятых. И посуда, и холодильник — всё было из тех времён. Служили вещи исправно, покупать новые не имело смысла. Родные дарили ей на праздники и дни рождения постельное бельё, халаты, полотенца, даже новую сковородку. Со сковородкой этой вышел казус. Денис хоть и объяснил, что посудина с каким-то антипригарным покрытием и ножом или вилок на ней ничего шевелить нельзя, зато можно жарить без масла, что очень полезно для здоровья, Серафима Павловна, когда стала сковородку мыть, железной корчёткой соскребла, как ей показалось, чёрный нагар до

самого блестящего алюминиевого дна. И осталась очень довольна, что отмыла-таки его. Смеялись над ней долго. И больше ничего подобного, модного и современного, не дарили.

У сына в квартире она промаялась три дня и запросилась обратно. Душа была не на месте, тревога, беспокойство не отпускали Серафиму Павловну, спала она плохо, ела через силу и так доняла Дениса звонками и просьбой поскорее забрать её, что он приехал и отвёз бабушку домой.

Ох, как вовремя он отвёз её домой! Уже подходя к калитке, она почуяла неладное — весь аккуратный, засаженный цветами её дворик был заставлен, завален мебелью, вещами, мешками. Денис радостно показывал старухе новые беленькие окна, железную входную дверь, звал побыстрее зайти внутрь и порадоваться переменам, но силы оставили Серафиму Павловну, когда она поняла, что вся её жизнь, всё, что было дорого, памятно, связано со счастливыми моментами из прошлого, выброшено вон, готовится отправиться на свалку. А ведь она просила не трогать хотя бы её комнатку...

Серафима Павловна опустилась на диван, стоящий прямо на клумбе. Все цветы были помяты, поломаны, цветной пластмассовый заборчик выдернут из земли и брошен в стороне. Она хотела выругаться, накричать на внука, высказать обиду, но Денис ушёл в дом. А ей туда теперь заходить не хотелось совсем.

Она притянула к себе близко стоящий картофельный мешок, развязала тесёмку и со страхом заглянула внутрь. И заплакала. И стала вынимать и бережно раскладывать на диване рядом с собой выброшенные вещи.

Поверх прочего в мешке лежали рубахи покойного мужа, дедушки Дениса. Мягкие фланелевые и тоненькие ситцевые, ношенные и совсем новенькие, с неоторванными бирками. Помнила Серафима Павловна времена дефицита, запасала, берегла. Но со временем даже на новых рубахах проступили необъяснимые жёлтые пятна. Откуда? Мураши что ли поселились... Вот эту фланелечку

муж особенно любил. В последние месяцы мёрз сильно от болезни, вот её и не снимал. Локоточки-то протёрлись. Пуговка оторвана. Не доглядела...

Под рубахами нашлись детские войлочные ботиночки. Денискины! Зелёенькие с кожаным цветочком на боку. Серафиму Павловну аж окатило изнутри горячим. Она до сих пор помнила, как и где их купила. Рос внук в тяжёлые девяностые годы. Ни вещей нормальных в магазинах, ни денег у людей не было. Она поехала навещать мать, живущую в деревне, и вот в сельском-то магазине по случаю купила эти ботиночки. Так радовалась! И Дениске они понравились, он в них по дому щеголял и ждал весны — зима стояла лютая, морозная. А в такой обувочке хорошо по мартовскому насту ходить! Но к весне нога у парня выросла, ботиночки обмалели. Так и не поносил...

В мешок равнодушно была засунута и безжалостно смятая шкатулка, сшитая из советских ещё открыток. Серафима Павловна помнила, как коллега по работе учила её шить эти бесхитростные поделки. Толстой шерстяной нитью, особым стежком. Такие шкатулки от бедности дарили родным и друзьям на праздники. В них хранили нитки, пуговицы, разную мелочёвку. Серафима Павловна расправила оторванную от бока шкатулки открытку с красными гвоздиками и крупной цифрой «1» и прочитала на её обратной стороне: «Дорогие Петя и Сима! Горячо поздравляем вас с праздником Первого мая! Желаем здоровья, счастья, благополучия! У нас всё хорошо! Получили квартиру!!! Ира и Гена Семёновы». Друзья поздравили. Ни его, ни её уже нет на свете...

На дне мешка нашлись Денискины школьные тетрадки, дневники, рваный кожаный портфель, поломанные игрушечные машинки. Вырос парень. У него теперь другие игрушки...

Она присидела до темноты во дворе. Её звали, тормозили, ходили мимо, приносили поесть, посмеивались, крутили у виска, злились, даже обещали вызвать скорую. Серафиме Павловне было всё равно.

Когда подъехал грузовик, который специально дожидался ночи, чтобы вывезти бабкино добро на запрещённую свалку, она поднялась с дивана, покачиваясь, подошла к кузову машины, подозвала шофёра и попросила помочь взобраться.

— Ба-аб! — бросился к ней внук. — Ну не дури! Ну посмотри, ведь это всё прогнило давно! Вон, стол жушок доедает. Диван гвоздями сколочен. Тумбочки плесенью пропахли. Холодильник... а ты знаешь, что старые холодильники очень вредны? Они фенол в воздух выделяют... А платья эти твои в горошек? Господи, да я тебя тридцать лет назад в них помню! Они же просто лежат. И рубахи дедушкины. Его куртки, фуфайки. Валенки эти подшитые! Ну никто же не будет это носить никогда!

Серафима Павловна невидяще взглянула на внука и сама полезла в кузов. Шофёр пожал плечами, хохотнул и посадил сумасшедшую старуху под зад.

— Везите и меня на свалку. Я тоже хлам. Старый, прогнивший, никому не нужный.

— Господи! Бабушка! Ну пре-кра-ти! — метался вокруг грузовика отчаявшийся Денис. — Ну это же не так! Зайди в дом, посмотри хотя бы! Мы тебе тахту красивую, удобную купили, комодик современный, зеркало повесили. Окно новое, занавески! Ну перестань, ну вылезай. Мы же старались. Мы же как лучше хотели.

И вдруг он психанул и заорал:

— Блин! Ты же всю жизнь на комкастых матрасах спала! И я вместе с тобой! У меня от тех комков до сих пор бока болят! Чашки эти твои, тарелки с отбитыми краями! Ложки алюминиевые, как в тюрьме! Бли-ин! Как мне всё это надоело!

— Вот и вы мне все надоели, — спокойно проговорила старуха и обратилась вновь к шофёру. — Поддай-ка мне, милоч, вон ту табуреточку. Да... вот эту. Она хоть и расшаталась немного, а в последний раз мне послужит.

Шофёр снова хохотнул — нечасто ему такие развлечения на работе устраивают — и подал табуретку.

Серафима Павловна села на неё, аккуратно расправила на коленях полы халата, положила сверху руки, словно прилежная первоклассница.

— Ну, чего стоим? Грузите!

Шофёр подхватил с земли мешок и закинул в кузов. Что-то звякнуло и посыпалось внутри.

— Вот так и знала, что этим закончится, — процедила сквозь зубы Анжела и закурила тоненькую сигаретку.

— Так не начинала бы! — впервые огрызнулся на жену Денис и ушёл в дом, громко хлопнув новой железной дверью.

— А вы грузите, грузите, — спокойно проговорила Анжела шофёру. — Сейчас я ребятам позвоню, подойдут, помогут.

И она действительно достала из кармана курточки мобильник и стала набирать чей-то номер. Упрямая бабка у мужа, но её, Анжелу, ещё никто в этой жизни не переупрямил. Учить надо этих стариков, чтобы уважали молодёжь. Нам жить! А вам... вам, может, и вправду, на свалку пора. Раз мешаете новой жизни расти и шириться.

Уже когда пришли приятели и принялись поднимать в кузов полированный шкаф, Денис вышел из дома. Он отправил всех перекурить, забрался в грузовик, сел рядом с бабушкой и долго-долго очень тихо с ней разговаривал, гладил и целовал её руки, обнимал. Серафима Павловна плакала, уткнувшись в его плечо, что-то вспоминала, выговаривала. Потом из кузова послышался смех.

Анжела, которой давно надоел устроенный бабкой спектакль, сидела в доме у раскрытого окна и глядела в телефон. Заслышав этот искренный смех двух близких людей, она скривилась, поджала губы, покачала головой и быстро застучала пальчиками по экрану. Писала подруге в ватсап, какая тупая бабка у Дениса.

Внук бережно помог бабушке спуститься, проводил в дом, завёл в комнатку.

Серафима Павловна придирчиво оглядела обновлённое жилище, присела на новую тахту, упруго покачалась

на ней, погладила рукой гладкую коричневую стенку комода. Поднялась, подошла к окну. Денис показал ей, как его открывать и закрывать, как сделать проветривание.

— Хоть гераньку мою не выкинули, и то спасибо, — уже милостиво проворчала Серафима Павловна.

— Ну бабуль...

— Ладно. Нравится мне... Иди, поцелую.

Внук шагнул к ней, высокий, полный, мягкий, любимый.

Бабушка дотянулась до него, наклонила голову, поцеловала в макушку, как в детстве.

— Обои только темноваты. Я повеселее люблю. Зелёнькие.

— Даκ переклеим через год, бабуль! Это же не навечно!

Денис засиял и понёс радостное известие о примирении своей супруге. Они пошушукались, подавили смехок, а затем раздался голос Анжелы:

— Серфим Пална, идите чай пить. Я ваши любимые конфеты купила.

— Сейчас! — отозвалась бабушка, выдержала паузу, причесалась перед новым зеркалом и вышла из комнаты к молодым.

На блестящей первозданной чистотой газовой плите засвистел красный чайник. Анжела, стоя у стола в коротеньком халатике, из-под которого торчали острые колёнки, нарезала на досочке сыр. В кухне было светло и просторно. И всё незнакомо.

Денис выдвинул для бабушки стул с высокой металлической спинкой. Она села, чувствуя себя не дома, а в гостях.

За окном, во дворе, едва освещённом светом фонаря, стоял грузовик и темнела гора старой мебели. Шофёр ушёл к приятелю на соседнюю улицу пить пиво.

Завтра утром, пораньше, потея с похмелья, они всё погрузят и увезут.

Потому что ты девочка

«А ты будешь хорошей матерью...» — сказал однажды Витёк, один из её дворовых приятелей. Аня удивилась.

— Да ну? ...Ты не поверишь, я не могу даже представить себе, что у меня будут рождаться дети... Зачем? И от кого?

Витёк усмехнулся.

— Будут, куда денешься.

С некоторых пор её стало удивлять, что подруги всё чаще говорили о мальчиках, как о женихах. У неё дома никогда не говорили про женихов и про хозяйство, не говорили, что она, Аня, будет женой или хозяйкой. Всю домашнюю работу молча делала бабушка, а деньги зарабатывала мама. Они жили втроём сначала в однокомнатной, потом в двухкомнатной, теперь в трёхкомнатной квартире. Она, мама и бабушка.

Когда они переехали из коммуналки, и у них стало две комнаты, бабушке купили большую новую кровать. Анна Степановна, много лет спавшая на раскладушках, была смущена такой роскошью, но довольна. Села, огладила покрывало, подушку, деловито поправила платок — и неожиданно сказала от полноты чувств:

— Скоро уж помирать. А тут... красота-то!

Все засмеялись: жить да жить! — новоселье!.. а когда после шумного дня ложились спать, Аня жалобно окликнула её:

— Ба-аб! Только ты не помирай...

— Ну что ты! Чай, проживём ещё, Бог даст! Спи давай!

— Бааб... ты не боишься умереть?
— Вот ышшо выдумала! — чего бояться-то? На всё воля Божья...

Она сказала это так, что Аня услышала — ей нисколько не страшно, и сама перестала бояться.

Бабушка, в которой Аню всегда восхищала невозмутимость покоя, никогда не жаловалась, вроде бы никогда и не болела, — только иногда не могла встать «от давленья», но потом всё же вставала и продолжала молча готовить, печь пироги, шить и стирать.

Однажды Аня обнаружила, что бабушка не понимает, про что кино по телевизору. Шёл сериал.

«Гляжу в озёра синие, в полях ромашки рву...» — звучала под вечер песня, и вся страна приникала к телевизору. И бабушка тоже со всеми. Но — о чём была вчерашняя серия, и сегодняшняя? — не помнит. Зачем же смотрит? — просто сидит и смотрит, больше в себя, чем в телевизор, сложив руки под грудью. Телевизор она совсем не понимала, — «не подключалась».

Не сразу, потом Аня сама поймёт, что неграмотная бабушка не понимала и не помнила только искусственные, придуманные вещи и слова. Она не понимала и не помнила обманы. Никакие. Не осуждала. Просто не понимала. Но ей приходилось слушать и смотреть их постоянно, вместе со всеми.

Вот она и смотрела телевизор вместе со всеми. Сидела спокойно, такая светлая, чуть грузноватая, опрятная, с простым-просторным, открытым лицом, сомкнутыми под грудью натруженными, тяжёлыми руками. Смотрела телевизор. Но что она видела, о чём думала? Как знать.

Она была по-своему памятьлива. Никогда не забывала тихонько перекрестить Аню, провожая в школу, и сказать: «С Богом!». Все внуки, пятеро, была крещены ею во младенчестве. Об этом тоже не принято было говорить, но родня знала.

Аня застала ещё пору, когда они вместе сматывали в клубки шерстяную пряжу, когда бабушка пряла. По весне пекли лепёшки-кокурки и «жаворонки». Бабушка шила нарядные летние платья — кроила на глазок. Штопала и подшивала на руках. Почему-то хотелось быть похожей на бабушку, но... трудно, да и некогда: уроки, учёба.

Десять лет собирала она внучку в школу — та не пришла в жизни ни одного воротничка, ни одной манжеты к своей школьной форме, — некогда, уроки! Но воротнички, пришитые бабушкой, каждый понедельник были белоснежными.

Откуда — силы и покой? — ведь бабушка не имела никакой особой помощи от «сильных мира сего», — от мужчин, от начальства, от властей. У неё не было никакой своей власти, и считалось, что она нигде не работала никогда — у неё даже пенсии не было! Да, там, где давали пенсию, считалось, что Анна Степановна никогда и нигде не работала, и пенсия ей не положена. Не работала?!..

Она работала каждую минуту своей жизни на детей и внуков, которым всё время была нужна её помощь.

Про то, как жила бабушка, любимая бабушка, не зная депрессий и антидепрессантов, — понимание близилось, но до него было ещё далеко...

Она жила с Богом.

Мужское начало жизни можно было наблюдать за пределами их дома, а в доме оно появлялось шумно и ощутимо — раз в году. Отец приезжал издалека, из далёких городов, и всегда приносил, точнее, привозил с собой театр и главную роль. Эта главная, мужская роль и всё мужское было непривычно. Он заполнял собой и своим голосом всё, всю комнату без остатка. Поднимал и подбрасывал маленькую дочку высоко вверх. Она стеснялась, претерпевая эти налёты: было неудобно, больно в подмышках. Кололись усы, царапала щёки отцовская борода. Целоваться совсем не хотелось, но было надо. Как бы для приличия, но... какое же это приличие?..

«Ты умница, ты всё поймёшь, ты всё потом поймёшь», — говорил отец всегда, из года в год. Но понималось не всё, а многое вообще не понималось. Год за годом. Весёлость, да и необходимость этих встреч, на её взгляд, была очень преувеличенной.

Она больше любила обычные, спокойные дни и вечера, когда могла полностью погрузиться в свои игры и чтение. К счастью, мать была занята с утра до вечера школьными, учительскими, директорскими делами и мало бывала дома.

Бабушка Нюра молча и кротко, полностью как бы подчиняясь и служа, держала в своих руках дом, где бы он ни был.

Когда-то, очень давно, старшая дочь её вышла замуж — без сватов и стоговоров, без белого платья и криков «горько!» Без песен про золотые горы и реки, полные вина. Маша ушла к начальнику инструментально-штампового производства, шутка ли? — чуть ли не главному инженеру ГАЗа. И стала его третьей женой. Вот так, ушла — и всё.

«Ухожу! Сегодня. Насовсем...» — так сама сказала. Чемодан собрала и встала у порога. Прощаться? Сестрёнки смотрели, не веря — как же, как это — насовсем?!

Нюра вздыхала, отирая руки о фартук, поглядывая на отца, — что он скажет? Отец, обычно говорливый, хмуро молчал. А что он скажет, отец-то? Она, Маша, сама всё решила. Мать не выдержала:

— Подумай, Маняша. Он... жених твой, — тебе в отцы годится!..

Маша дёрнула плечом, свела тёмные бровки — и вдруг улыбнулась ослепительно...

— Да подумала я. Подумала!

Собралась не то что быстро — враз — нарядов, доброто! — два платья. Да книги, бумаги — ещё вчера сложила в чемоданчик. Подхватила плащ. Отец шаркнул рукой по столу и двинул табуретку.

— Присядь... Присядь на дорожку.

— Ой! Чуть не забыла, — на дорожку-то!

Маша развернулась и весело, с размаху, с разворота, села на табурет. Видно торопясь, — юбка охлестнула сильные загорелые ноги.

И вскочила: «Меня ждут!» Оглянулась: «Ну, не скучайте!..»

Секунду помедлила на последней ступеньке, сжалось сердце...

Здесь, на Совнаркомовской, куда они переехали из деревни, в одной комнате на пятерых с печкой, щами, студнем, отцовской гармонью и непременно гостями — деревенской родней — она прожила почти всю свою... Нет! Жизнь, настоящая жизнь вся впереди — она только начинается! Она будет работать и учиться, учиться!

Мать незаметно перекрестила её вслед и отвернулась к печке. Василий Егорыч крикнул и полез под кровать, где в ящике держал запасы вина.

Нюра никогда не перечила мужу — у неё была счастливая способность всё в жизни воспринимать спокойно, — либо как дар, либо как передышку. Муж пришёл с работы, чего-то принёс? — продукты ли, девчонкам ли чего — обувку, конфеты, — плохо ли? Да больно гóже! Поел, ушёл — да хоть бы и на гулянку — сыт, здоров? — и слава Богу. Кормилец — в своём праве.

Она никогда не перечила, но сама чувствовала, кому из своих близких она нужнее всего.

И когда Маша потом уйдёт от мужа, уйдёт в любимую работу, в учительство, и родит дочь от молодого и любимого своего ученика — Нюра будет помогать именно ей и жить с ними до конца своих дней.

А когда бабушка ушла — насовсем — легко, в положенный Богом час, — в доме умных и образованных дочерей начисто пропал порядок и строй.

Мать пыталась хозяйствовать, хозяйничать. Клеила новые обои поверх старых, — ей казалось, так удобнее. Толклась на кухне, все время жалуясь на усталость, раздражалась. Странно, — на работе, в школе она считалась хорошим директором-хозяйственником.

Но дом — это другое.

Вскоре, уйдя на пенсию с директорского поста, мать — она была ещё в силах — принялась ездить по всей стране групповодом от турбюро.

«Пасти народы», хоть малыми группами, ей было привычно и, видимо, необходимо. Она моталась по всему Советскому Союзу, то во Львов, то в Минск, то в Ригу; старалась привезти то бельё, то обувь, то бальзам, то сёмгу, то костюм цвета сёмги — всё, что было в дефиците, чего не хватало. Кому не хватало? Ей, наверное. А может, она не знала, чего ей не хватает, но чего-то не хватало, и она искала.

Дочь была равнодушна ко всему этому, — ей всего хватало. Ей, наоборот, будто бы мешали вещи. Она смотрела сквозь них.

Они были очень разные, мать и дочь.

Дочь не хотела быть похожей на мать. Дочь не любила массовые действия, пышный декор, классицизм и ампир, не любила театр, актовые залы и стадионы. Открытые пространства любила только в природе. Природу любила больше, чем искусство.

«Как она будет жить? Чего ей надо?» — вдруг всерьёз озаботилась мать. «Не твоя забота» — отвечала теперь всем своим видом выросшая, как и хотелось матери когда-то, умная дочь.

Как она будет жить?.. откровенно плохая помощница — ничего не умеет. Ни шить, ни готовить, ни полы помыть толком: тряпку-то не так, не по-женски выжимает!

«Эх, руки-крюки! — взвивалась вдруг мать, — не тем концом вставлены!.. Да что ж у тебя всё из рук-то валится!.. Как ты будешь жить?!»

От её окриков Аня зажмуривалась, как от пощёчин.

«Ты ж моя барынька...» — звучал в памяти голос бабушки...

Помогать властной, громкой, раздражённой матери не хотелось. Хотя по привычке она её побаивалась. Но уважала. Было за что. Но близости не было, вести разговоров

с ней, как в детстве, не было желания. Хотелось. «Мне некогда, — теперь говорила дочь, по возможности мягко, — надо готовиться к экзаменам», — и закрывала дверь в свою комнату. Включала магнитофон. И по всем вопросам звонила подругам.

Экзамены сдавались успешно, если не считать, что обострялось чувство недоверия к устройству мира как таковому.

К самой идее учения, например. Сколько она ни училась, она не могла научиться. Хотелось ещё и ещё. Результата не чувствовала. Его не было. Она не доверяла своему «высшему (!) образованию». Три курса филологического факультета — это уже «неоконченное высшее»! Можно работать — по специальности. А что на деле?

На деле — не чувствовала себя ни умной, ни знающей. Ни специалистом, готовым к преподаванию, тем более. Она не запоминала, ей казалось, ничего из книг, которые читала в огромных количествах. На экзаменах высказывала свои мысли и предположения о прочитанном. Ей ставили хорошие оценки, но она не знала, как к ним относиться.

Она не доверяла преподавателю, который пишет плохие стихи и преподаёт педагогику. В результате она стала считать педагогику лженаукой. На лекции не ходила. Сдала на пятёрку.

Не доверяла преподавателю, который допускал смешные оговорки и стилистические ляпы в своих лекциях. Он преподавал украинскую литературу. Но «Энеида» Котляревского и Леся Украинка понравились ей, и даже очень. Сдала на пятёрку.

Она не доверяла начальству, учебному и будущему. Начальники страдали особой формой плохого говорения, тяжёлой неживой речью, в которой, так же как в их кабинетах, горкомах, обкомах, было много стекла и бетона. Не хотелось их слушать. И она не слушалась их. Они попытались поручить ей написать стихи к комсомольской конференции. Отказалась. Послали в Сибирь

с агитбригадой — от Тюмени до Нового Уренгоя. Поехала. Сибирь! Это же интересно!

Там её отправили «в десант» на вертолётах — читать стихи в таёжных посёлках для лесорубов и буровиков. «Стихами теми был растроган другой десантник, лектор Коган». Он был назначен вместе с ней, лектор-международник Артур Ионыч, а третьим был приставлен недремлющий глаз комитета госбезопасности, в лице молодого человека с очень правильными чертами этого самого лица, в строгом костюме.

Артур Ионыч Коган оказался страстным коллекционером малоизвестных песен Высоцкого, а также азартным затравщиком политических анекдотов. В первый же вечер Аня с Артуром Ионычем за рюмкой чая наперебой травили политические анекдоты, веселясь от души, а изумлённая госбезопасность не знала, что с этим делать. Культурный десант вертолётными бросками приближался к полярному кругу. За окном было около пятидесяти градусов мороза. Сослать в наказание дальше тех мест, где они находились и куда двигались, было невозможно.

Надо сказать, что в Сибири, в таёжных посёлках и городках, Аню поразили тамошние коммунисты и комсомольцы: это были красивые рабочие мужики с обветренными лицами, лучшие из работяг. Они были умными и сильными и занимались делом — тяжёлой работой в экстремальных условиях, вместе со всеми. «Здесь правильный естественный отбор в руководство, в начальство», — заценила Аня.

Через несколько лет, когда всю страну залихорадило в первых «настоящих» выборах, она ничуть не удивилась, наблюдая растущий от Урала до Дальнего Востока «красный пояс» — голосование ЗА коммунистов. Она отлично помнила, какие там коммунисты. Они просто другие, не такие как у нас, не такие как в Москве. Особая, во многом правильная, земля Сибирь.

За годы непрерывных перемен она поняла, что единственное неизблемое и прочное в меняющемся мире находится в ней самой. А вот что же это такое? — не совсем ясно... Может быть, память о бабушке.

Ее уметь призвать внутрь себя силу, ощутить в себе точку опоры.

Мужчин и поклонников вокруг было достаточно. Мужа не было. Её мужа среди них не было.

Кого она искала? Почему не принимала ухаживаний хороших мальчиков из приличных семей?

Мир уютного детства без отца, умение женщин в семье обходиться без мужчины сыграли с ней злую шутку. Она категорически, на дух не переносила мужчин-«охотников», добытчиков и обжор, всерьёз требующих, чтобы женщина занималась «домом», в смысле кухни: непрерывно и весело готовила бы огромное количество жарчки. Исключено.

Тихие мальчики, читающие много книг, тоже не впечатляли.

В мужчинах, которые возникали рядом в университете, в редакциях, в кабинетах начальников ей не хватало, как ни странно, земли, умения ходить по земле, не книжной природы. Негрубой, но властной верховной силы, верховенства.

В мужчинах, играющих и поющих на сценах, тяготил именно избыток игры. Она знала своего отца — он был очень ярким представителем этого племени, актёрского. И не обольщалась. Чувствовала, что создание коллективных миражей — концертов, спектаклей — не сила, а подмена чего-то другого, настоящего. Не весь мир — театр. Не вся жизнь — игра. Нет. Она твёрдо знала это. Хотя сильные голоса заставляли прислушиваться к тому, что происходит на сценах.

Закулисье изумляло разными формами приукрашенного ужаса, заgrimированными патологиями, — было удивительно, как много молодых и не очень молодых лю-

дей никогда не слышали и уж тем более не говорили себе слова «нельзя».

«Нельзя!» Она сама слышала это с глубокого детства, и от мамы, и от бабушки. Нельзя было много чего, — причём пограничные столбы этого слова были разного роста, от «нельзя, ты ещё маленькая» до «Никогда Не Смей!» «Нельзя» были перилами, решётками, парапетами, между которыми пролегала дорога. Удивительно, как много людей не слышат, не видят этого пути, уходя в заросли чертополоха, в дурман, туман и трясину. Склонны тонуть, лежать, стоять без движения, вязнуть. Сколько их тянется к яду, к изменённым состояниям сознания... Бабушка назвала бы их непутными, беспутными, распутными, непутёвыми. Удивительно, как их много.

Удивительно, но встречаются и другие. Встречаются. Только не ей.

Она приглядывалась, но не было, не было мужчины, с которым она могла бы, сумела быть рядом, жить семьёй.

Его не было в реальности, которую она могла охватить взглядом. И могло не появиться вовсе. Зато у неё была тайна. Очень трудно поверить, ибо нелепо, нелепее не бывает. Но нет ничего реальнее и спасительнее — родить и воспитать мальчика, мужчину-мужа, чем ждать и/или объяснять окружающим, каким он должен быть, и почему нет.

Безумие? Риск? — наверное. И всё же это было решение обдуманное, сознательное, неслучайное. Упрямо и спокойно она носила сына, знала точно, что будет мальчик...

Однажды с маленьким сыном зашла в магазин, чтобы купить фломастеры и ластик.

Канцелярские товары причудливо соседствовали с бижутерией, галантереей, тапочками, пластмассовыми шлёпанцами, какими-то наклейками, носками, краской для волос, игрушками новой формации.

— Мам, смотри!.. Купи, купи мне, пожалуйста!

— Что?

— Вот, вот — этих двух монстров!

— О господи! Какой кошмар.

— Никакой не кошмар! Ну, они страшные, конечно, но мне надо! Они мне нужны! Очень нужны! Купи, ну, пожалуйста!

— У тебя есть.

— У меня нет таких! Это другие!

— Ну... ну что тебе дались эти «монстры»?.. Они же такие жуткие!.. Фу, безобразие какое!.. Уродство!.. Что ты в них находишь?! Зачем они тебе?!

— Ну мам!

Сын вдруг сбавил просительный накал, сделал паузу, шмыгнул носом, вздохнул, поднял серьёзные глаза — и сказал негромко и рассудительно:

— Мам! Ну ты пойми. Я же не удивляюсь и не спрашиваю тебя, что ты находишь вон в том прилавке, около которого ты стояла сейчас, долго стояла... там, где продают помады. По-моему, там нет ничего интересного. Но я же не удивляюсь. Я понимаю. Просто ты — девочка. А я — мальчик. Ну мам! Ну ты прям, как бабушка! Ну ты же — не как бабушка? Это у неё всегда всё нельзя, и всегда денег нет! Ведь это неправда! Мама... Мы живём — хорошо!

Сказано с горячей убеждённостью. Сначала обожгло, потом окатило жаром почти блаженным. Мы живём хорошо. И я — девочка. Да. Это так. Это так просто. Жаркий прилив благодарности, счастливой благодарности — кому? Сыну.

Они купили двух монстров, губную помаду, фломастеры и раскраску с наклейками.

«Мы живём хорошо!..» Бабушка наша, мама моя так не считает. Но это уже возрастное.

В маленькой семье три поколения. Младший живёт при капитализме, учится в элитной частной школе, где преподаёт его мама, и чувствует себя прекрасно.

Бабушка живёт плохо. Она живёт в прошлом, в социализме и коммунизме, которых больше нет, и чувствует себя ограбленной, обманутой и нищей.

Аня живёт между ними. Она — «средний класс». Хочет почувствовать себя «средним классом». Чувствует себя средне. Но — верит сыну. Мы живём хорошо! А будем ещё лучше. Я заработаю. Так ей казалось. Тогда, в девяностые.

Надо ехать в Москву — подумала она. Разгонять тоску. Все деньги в Москве, все говорят об этом.

Деньги были в Москве, да. Текли и колыхались «финансовые потоки» — миллионы, миллиарды долларов. Москвичи и «гости столицы» были связаны и повязаны «бизнесами», «деланием денег». Гигантские журнальные корпорации с иностранными названиями и радио «Свобода», куда её порекомендовали, в принципе, охотно платили триста-пятьсот долларов в месяц за её «компетенции», а проще — за её русский язык. С небольшим условием: без русских вопросов, корней, смыслов. Или без своего имени. «Компетенции» и чистый русский язык не должны были иметь русского лица.

Русского языка в Москве ей самой стало не хватать как воздуха, — вместо него вокруг шуршало, звучало и светилось, давило на мозг и на клавиши нечто генномодифицированное.

Аня задумалась, как противостоять. Это была не личная, не частная проблема.

Сыну она успела вовремя привить вкус и любовь к русскому, и даже азарт в писании живых текстов. Попутно поняв, что вполне возможно, возможно — привить этот вкус. Даже самым упрямым и якобы не читающим детям эпохи информационного взрыва.

Сын взялся рецензировать компьютерные игры, и во многом благодаря своему экстремальному, «смеющемуся», ураганному русскому вскоре стал заметной фигурой в компьютерно-игровой журналистике. Его страсть нашла применение. Он стремительно уходил в интернет, умудряясь там находить работу и деньги.

Аня бродила по Москве, которая только кажется огромной. На самом деле, она маленькая, карликовая. Та самая, внутри Садового кольца, где все деньги, — она карликовая.

Финансовые потоки... что значит — финансовые потоки? — это когда всё время перемножаются друг на друга множество нулей. Множатся нули. Какая-то всё время блажь, глянцева лаж. Рекламируют на улицах бриллианты, иномарки, дорогой парфюм... Как можно, если кругом, и под этой рекламой, под билбордами, сидят нищие и бездомные?

Она отталкивалась, отторгалась от Москвы. Все деньги, что она зарабатывала, исчезали бесследно, растворялись, от них не оставалось ничего.

Нет, не всё обнулилось с мутными нулевыми. Особенно в глубине России.

Хотя её мать, пенсионерку восьмидесяти с лишним лет, ограбили, войдя через балкон, — связали, обыскав квартиру, забрали пенсию, половину которой она складывала в зимнюю шапку.

Но — оказывается, у матери было то, что отнять и украсть невозможно.

К ней до сих пор на «годовщины окончания школы» приезжали ученики, сами уже пенсионеры. Седые ученики, «мальчики и девочки», устраивали встречи, не позволяя старой учительнице выходить на кухню, сами всё готовили и накрывали. Усаживали её во главу стола и смотрели на неё с обожанием. «Наш класс!» — с гордостью и нежностью говорили они, — «Наша Мария Васильевна!»

Вспоминали её слова, уроки, спектакли, поставленные и увиденные с нею, — как же благодарно, с какой горячей памятью и любовью смотрели и говорили они...

За что они так любили и ценили её? За то, что она научила их русскому языку и русской литературе. Среди грузных и громких дядек и тётек были директора заводов

и директора школ, врачи, инженеры — все они состоялись как отличные специалисты. И когда мать «вызывала» каждого из них отвечать за накрытым столом — они, сияя от радости, рассказывали о своих работах, жизнях, детях, внуках... Они приезжали на эти встречи из разных городов.

Аня видела это своими глазами, возвращаясь домой. И поняла, что надо возвращаться.

Надо возвращаться, надо уходить от всего гигантского, искусственного, обманного, — от Садового кольца без садов, от казино, от англо-фени, от торговых центров, похожих на бесконечные вокзалы.

И сын вернётся тоже, обязательно вернётся из Москвы, вернётся из Луганска, и у него родится ребёнок, девочка.

Надо готовиться быть бабушкой. Это трудно, это очень трудно, но необходимо. И надо искать, что и как сказать маленькой девочке, которая просыпается то котёнком, то лисёнком, то мангустом, которая задаёт в четыре года спроноки самые неожиданные вопросы.

Она может спросить: «Что такое проценты?» «А у паука есть сердце?» Может спросить, слушая сказку: «Что такое — честь?..»

И надо найти, что ей ответить. Надо вести её на народные танцы.

Надо учиться с ней вместе — готовить и шить, стирать, мыть посуду, рисовать и читать, и считать, и любить, и терпеть.

Потому что ты — девочка.

«Мир в его минуты роковые...»

Сквозь минные поля воспоминаний

Ю. Ш.

Когда мне предложили написать в прозе что-нибудь по теме «История — в лицах», и я неожиданно для себя согласилась, то в сознании стали непроизвольно всплывать тютчевские строки из «Цицерона»: «Счастлив, кто посетил сей мир // В его минуты роковые! // Его призвали всеблагие // Как собеседника на пир».

По своему опыту я знала — это был своего рода сигнал, знак, вестник того, в каком музыкальном ключе пойти повествованию, в какой тональности — рассказу. «Минуты роковые» — это первые минуты Второй мировой войны — трагический звукоряд Бетховена; «призвали все благие» — это не Вагнеровская ли провиденциальность Судьбы, которая призвала тебя стать «высоких зрелищ зрителем», а — «пир» — грядущий свет Победы и скорбная тризна Лакримозы Моцарта?

Но статья «собеседником» на «пиру» не означает ли это, что ты не только можешь, но должен, обязан и согласен говорить с этим историческим временем, даже спустя много-много-много лет (80!), связать воедино автобиографию с воспоминанием, поэзию с прозой.

...Начну по порядку, собирая «прозы пристальной крупницы» — по осколкам запоздавшей памяти. В конце мая или в начале июня (точно не помню) я, мама и моя старшая сестра Нелля поехали погостить к бабушке в Белоруссию. Она жила в деревне Зазерье Минской обла-

сти, где учительствовала, была директором школы. Никто не думал и даже в самом страшном сне не предполагал, что здесь нас застанет война и мы окажемся четыре с половиной года на оккупированной фашистами белорусской земле, вплоть до полного её освобождения.

Слово «оккупация» — это слово более позднего времени, детское сознание тогда ещё его не знало. Мне было три года, сестра старше меня на год и семь месяцев, и не удивительно, что главным оказалось тогда открытие для себя и постижение неизвестного нам, городским детям, мира деревенской жизни. Таинственного, многообразного, волшебного.

Как я теперь понимаю, это была первая моя встреча с Природой. И то свежее ощущение её, которое спустя четверть века оказалось найденным в тютчевских строках: «Не то, что мните вы, природа: // Не слепок, не бездушный лик — // В ней есть душа, в ней есть свобода, // В ней есть любовь, в ней есть язык».

Да, в начале жизни почувствовалась именно «душа» природы — в её «свободе»: она была везде и всюду, тая неизъяснимую ни с чем радость соблазна её красотами.

Школа белорусской бабушки Надежды Иосифовны (Лобацевич — в первом браке, во втором — Шидлевской) — небольшой, если я не ошибаюсь, двухэтажный дом, стоял у самой дороги, ведущей в разные направления. А через дорогу росли красавицы-липы. Это была зелёная анфилада рослых лип — жёлто-медовых, в цвету, с пышными листьями — в них всегда что-то гудело, роилось, сияло. Это были никогда не виданные мной диковинные существа — огромные усатые майские жуки, бронзовые от загара с чёрными глазками. Я сбивала их с высоких деревьев палкой, приносила в дом, раскладывала бумажные коробочки разного размера — и ждала, когда из них кто-то вылупится, может быть, гусеница. Но ожидания не оправдывались.

Сразу же за липами начинался и долго-предолго тянулся сад. Он был прекрасен, потому что густо населён разноцветными мотыльками и бабочками, а также

шмелями с вечно недовольными лицами. Я ловила их руками и строила для них — из травы и листьев — крошечные домики с постелькой, чтобы им снились хорошие цветочные сны...

Сад тянулся, тогда мне казалось, бесконечно, вплоть — до озера... Это был воистину «целомудренной влаги кусок», «хрустальная чаша во мраке лесном» с синей-пресиней водой (похожее озеро спустя 40 лет мне покажет в ГДР известный переводчик русской литературы Томас Решеке). В принадлежащем мне тогда моём «детском» озере водились «котики». Так местные называли пушистые блестящие, с тёмно-коричневой позолотой камыши. Мы собирали их охапками и несли домой — для украшения.

Если от бабушкиной школы свернуть в левую сторону, то можно было выйти к конскому кладбищу. Там, говорили в деревне, согласно преданию или на самом деле, тогда это было мне не важно, захоронены мёртвые кони. Было очень страшно и странно — до жути — ступать на эту землю, засеянную трупами павших животных, но детский страх всегда преодолевался искушением — нарвать земляники, слаще которой не было ни в одном другом месте. Вкус этой ягоды связался у меня на всю жизнь с белорусской землей.

Рядом с конским кладбищем, хорошо помню, располагалось и человеческое, кладбище для людей, но завораживало по-настоящему и пугало почему-то первое.

Я не могу сейчас объяснить, почему детское сознание так к нему притягивало, может быть, потому что человек — это было уже тогда известное понятие, а мёртвая лошадь, удостоенная почести быть захороненной, как человек, — это из области ещё непознанного мира.

...Если от бабушкиного дома свернуть направо и пойти в этом направлении, то можно было выйти на дорогу, ведущую к совхозу. Я не раз ходила по этой дороге самостоятельно уже в четырёхлетнем возрасте с разного рода поручениями от бабушки, чаще всего с письмом к её знакомым.

Я любила эту дорогу, долгую, зелёную, волнистую. С двух её сторон набегали волны ржи — усатые колосья, разомлевшие от жаркого солнца и свежего ветра, перешёптывались друг с другом, обменивались своими тихими тайнами. А внизу, ближе к корням, скрывались, сверкая голубыми глазками, васильки; иногда я собирала их в небольшие букеты.

А ещё здесь водилось невиданное ранее лакомство — зелёный горошек; очистив его от нежных скорлупок, можно было добраться до маленьких гнёздышек — стручков, сладкой влажной вкусной мякоти, которая так и таила во рту.

Да мало ещё чего было! Казалось, такой богатой на чудеса, безмятежной природа пребудет всегда и вечно, — такой она и осталась в памяти на всю жизнь, но тогда я этого не знала. Я ошибалась...

...Война! С её страшным чудовищным ликом я впервые встретилась здесь, на моей любимой дороге, которую пытаюсь вновь пройти по памяти.

...Вот я иду с неизменной куклой в руках, вот только имени её не помню. Вдруг слышу странный звук позади себя — кто-то, похоже, обгоняет — то ли на велосипеде, то ли на тарантайке. Оборачиваюсь — и вижу: немец. Он спрыгивает с лёгкой двуколки-повозки, останавливается, снимает автомат с плеча — и молча, методично, сосредоточенно — целится. Он молод, рыжеволос, у него крепкие пронизательные руки и пронизывающий насквозь взгляд. Нас разделяет несколько шагов, но разделяет неизмеримо большее — Жизнь и Смерть. Человеческое и недочеловеческое.

Всё замерло вокруг. Затих ветер, закрылись колосья, запрятались васильки... Казалось, Природа мне говорила: «Ты тоже замри!» Я услышала её голос, ставший моим внутренним голосом, — и замерла. Я стояла как вкопанная, опустив куклу к ногам, она тоже замерла. Я не пыталась закричать, заплакать или на худой конец — бежать.

Теперь я думаю, что в этой ситуации это было самым правильным поведением, — подсказанным, быть может,

самим Царём Небесным, что эту «землю родную» «в рабском виде исходил, благословляя!» Ведь если бы ребёнок обратился в бегство, то стал бы такой привлекательной живой мишенью для «охотника» за дьявольским экспериментом. Минуты через три он убрал автомат, рассмеялся и — уехал: видимо, был в хорошем настроении.

Эти три «минуты роковые» я не доверила тогда никому, не рассказала ни бабушке с мамой, ни сестре о первой встрече со Страшным. Я отложила её в колодец Памяти, чтобы она бережно хранила это первое детское переживание Смерти. И сохранила его! Спустя 80 лет, когда уже нет в живых ни бабушки, ни мамы, ни сестры, оно ожило, задышало, захотело открыться. Стать Словом.

Так и случилось.

А тогда, после «происшествия» все шло как будто по-прежнему. Немцы нередко, особенно к вечеру, заходили в наш дом, стоящий у самой дороги, и с порога кричали: «Яйко!», «Млеко!». Бабушка держала корову с ласковым именем Пуня. Мы очень любили её и гордились ею. Она была нашей кормилицей, потому что давала молоко, вкусное, тёплое, пенистое, настоящее на обильных зелёных травах, растущих на белорусской земле. Я помню его неизъяснимый вкус до сих пор.

Немцы жадно пили наше молоко, часто произнося неизвестное мне слово «гут», очевидно, хвалили. Потом, раздобывшись, глядя на мою сестру, светловолосую и голубоглазую «мэдхен», вынимали из нагрудных карманов фотокарточки, на которых тоже были маленькие девочки, тыкали пальцем в них, говоря, что у них дома тоже есть своя Гретхен или Герлинд. Потом уходили.

Похоже, наступило затишье, но это оказалось затишьем перед бурей.

В один из дней бабушка вбежала в дом с обезумевшим от ужаса лицом, внезапно почерневшим, а она была цветущая, очень красивая, ещё очень молодая женщина, лет под сорок, и закричала: «Немцы везут грузовики с людьми, расстреливать их в нашем саду. Собирайтесь скорее, мы уходим!» Мы второпях собрались, наскоро

прихватив необходимые вещи и, выскочив из дома, побежали задами через вишнёвый длинный коридор, ткнувшийся за школой.

Помню, бежали так быстро, опасаясь погони, что у меня соскочил с ноги сапожок, и я, не останавливаясь, продолжала свой бег без него. Сколько времени мы бежали, не помню. Помню — в болота, где просидели несколько суток. У партизан — и с партизанами.

Бабушка здесь была своя, её называли Надей. Так в моё детское сознание вошло слово «партизаны» и понимание: это защитники, спасающие нас от фашистов. И открытие для себя истины: моя бабушка Надежда Иосифовна Шидловская и мама Галина Викторовна Лобацевич — тоже партизаны, они тесно связаны с партизанским движением; белорусские партизаны их знают, уважают, любят.

Так оно и было.

В 1966 году, когда вся наша семья жила в Воронеже, бабушка тоже жила вместе с нами, на её имя пришла заказная бандероль с книгой «Из истории партизанского движения в Белоруссии (1941–1944 годы). Сборник воспоминаний» (Государственное издательство БССР, Минск, 1961). Книга была примечательна подписью: «Моим дорогим и любимым Надежде Осиповне и Галине Викторовне на память. Саша». И приписка: «Дорогие! Откройте страницу 329 и вспомните наши партизанские дни».

Бабушка по-своему вспомнила то, что никогда не забывала: вскоре после этой весточки с родины собралась и поехала в Минск, чтобы успеть ещё, быть может, в последний раз повидаться со своими дорогими и любимыми, теми, кто остался в живых, партизанами. Потом, вернувшись, сказала: «Они подняли меня на руки и несли всю дорогу со станции».

Как я корю себя за невнимательность молодости: почему не расспросила бабушку подробно об этой памятной для неё встрече, почему не записала её рассказы об участии во всенародном сопротивлении фашистским

захватчикам, охватившем всю Белоруссию? Не было бы цены этим драгоценным свидетельствам бывшей «связной», за которую, когда она попала в плен, партизаны заплатили ведро золота (Правда это или легенда, — но какая!), и её отпустили...

Как я жалею, что с таким опозданием взяла в руки книгу «Из истории...» (она долгое время хранилась в семье сестры), открыла её на странице 329 и прочитала воспоминание о тех «минутах роковых» Саши, Александра Осадчего, бывшего командира партизанского отряда «Победа», где нашла следующую запись: «Неоценимую услугу оказывали нам партизанские связные. Среди них мне особенно хочется вспомнить Василису Васильевну Гуринович и Надежду Иосифовну Шидловскую, учительниц деревень Пережир и Зазерье. С приходом оккупантов они оставили преподавание и включились в партизанскую борьбу.

В один из мартовских дней 1942 года Пётр Кукареко, Владимир Муравский, Пётр Капчевский, Анатолий Олейник, Пётр Сачок и я, выполнив приказ командира отряда, направились в Руденский лес и Хозенинскую пушу.

Мы уже прошли значительную часть пути. До леса оставалось около 20 километров. Рассвет нас застал в Зазерье, где проживала учительница Шидловская. Это была смелая женщина. Каждый вечер она вывешивала белый материал, условный знак, который указывал народным мстителям, что гитлеровцев в деревне нет.

На квартире у Надежды Иосифовны я познакомился с учительницей соседней Пережирской школы Василисой Васильевной Гуринович. С того времени Надежда Иосифовна и Василиса Васильевна стали связными партизанского отряда „Победа“.

Через несколько дней учительницы сообщили в отряд, что связные Тоня Татур и Зина Савич из селения Ясновка достали наган, припасли для отряда медикаменты — всё это находится в Голоцке у нашего связного Ивана Багаревича...»

Вот она история — в лицах, именах, фамилиях... Конечно, она бережно хранится в музее истории, архивах, документах (когда Алесь Карлюкевич попросил меня прислать фотографию Н. И. Шидловской, я с благодарным чувством это сделала). Но никогда фотографии не заменят живых рассказов очевидцев, которые не только видели «мир в его минуты роковые», но и ценой своей жизни спасали — и спасли его — от «коричневой чумы» XX века.

И тех, кого мы ещё видели при их жизни, и тех, которых, увы! — уже никогда не увидим.

И тут рождаются мысли метафизического порядка.

Есть у Тютчева четверостишие на французском языке, горькое и мудрое, вызывающее желание остановиться и продолжить размышление поэта. Вот оно в переводе на русский М. Кудинова:

Как зыбок человек! Имел он очертанья —
Их не заметили. Ушёл — забыли их.
Его присутствие — один заметный штрих,
Его отсутствие — пространство мирозданья.

Стихотворение написано в 1842 году, за сто лет до Второй мировой войны, но если бы гениальный Тютчев смог «заглянуть» в XX век (а он прозорливо «заглянул» и в него), то он встретился бы с научной теорией Вернадского, подтверждающей его мысль: самовыражение каждой личности есть неслучайный и неизбежный факт в мироздании.

Подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне — это самовыражение всей нации в целом, но это и самовыражение каждой отдельной личности.

И это значит — в пространстве мироздания, именно там, а не только в нашей памяти, музеях и архивах, остались навечно Хатынь и Руденский лес, деревни Пережир и Зазерье, и сельские учительницы Гуринович и моя бабушка Шидловская...

«Счастлив, кто посетил сей мир // В его минуты роковые! // Его призвали всеблагие // Как собеседника на пир. // Он их высоких зрелищ зритель, // Он в их совет

допущен был // И заживо, как небожитель, // Из чаши их бессмертье пил!» Примечательно: в первоначальной редакции этого стиха стояло слово «блажен», а потом было заменено поэтом на «счастлив». По-моему, так лучше.

Да, я счастлива, потому что мне выпало увидеть не просто «мир в его минуты роковые», противостояние Зла и Добра, но и то, как Добро повергает Зло и утверждает победу Человека.

* * *

Последние дни своего пребывания в Зазерье помню смутно, как в тумане. Шли ожесточённые бои. Мы прятались в укрытии, подвале, не высовывая носа наружу: там все гремело, стреляло, ухало. Потом все стихло... Это было окончательное освобождение белорусской земли от фашистских захватчиков.

Через некоторое время в Зазерье приехал мой отец Иван Яковлевич Ростовцев — все эти годы он работал инженером на заводах Урала, на «оборонку» — и забрал всех нас с собой в Воронеж.

Девятое мая 1945 года — День Победы — я встречу во дворе нашего дома на Кольцевой улице, где мы тогда жили: всё вокруг ликовало, сияло, гудело разноцветными голосами, взрослыми и детскими, как те незабываемые майские жуки лета 1941-го.

Светит месяц

Светит месяц, светит ясный... Хорошо, когда кому-то что-то светит, а мне светит, если кто в глаз засветит, — Мадлен хохотнула, немало удивившись собственному каламбуру. Она сидела на автобусной остановке, привлекаясь к стеклянной стенке, ей было тепло изнутри и снаружи. Почти новый пуховик с капюшоном она нашла перекинутым через ограждение мусорки неделю назад. Сразу надела, даже спала в нём — мягко и тепло. Ватные штаны носила ещё с прошлого года — хахаль подарил — Жорка-Пират, с себя снял: «нельзя», сказал, «бабе жопу морозить». Она опять развеселилась, ведь в одних подштанниках остался, а холодно было — декабрь, как сейчас.

Ох, и погуляли они тогда — на все! Никак сам Никола Зимний заработать сподобил. С Вечерней заступили у церкви стоять. Ночь кое-как перекантовались в сараюшке подсобной, где лопаты всякие, да вёдра с тряпками. Сама убиралка и пустила, не Христа ради, конечно, но всё же взяла по-божески. А с утра снова-здоровая, уже целый день вахту держали — народ до самого поздна к Угоднику пёр. Зато потом оторвались, ещё бы: накануне-то сухой закон соблюдали. У Василь Иваныча рука тяжёлая, не забалуешь, так и сказал: «если вонять будете, да безобразить, урою вас, голубочки». И ведь правда — может, потому как не одна у него рука и не две, а много. «Многорукий Шива», — вдруг выдала одна из клеточек её мозга, где память хранила слова из прежней жизни. Она их запрятала глубоко-глубоко, утрамбовала и сверху ещё трёхэтажным завалила, но иногда они

вырывались, если б по одному, а то лезли и лезли. И голова пухла и лопалась от боли, она кричала так, что случайные люди пугались, а свои материли или валили с ног оплеухой.

Мадлен непроизвольно закрыла голову руками в мохнатых варежках — дуриком достались, дядька один обронил перед входом в «Пятёрочку», маску из кармана вытягивая, она и подобрала, и почесала оттуда скоренько, даже не стала канючить, чтоб «на хлеб» дали, всё равно вряд ли бы дали бы — сейчас редкость, разве что молоденькие девочки-мальчики денег считать не умеют, вот и сунут бумажку в 50 рублей. Да это не промысел, так — игра. Куда днём деваться? В халупони сидеть не станешь. Кто с «ночного» вернулся живой-здоровый — храпит, кто больной — стонет, душу выворачивает, кто скарб свой перетряхивает, хоть нос зажимай.

Я пошёл бы к Маше в гости, да не знаю, где живёт. Знать бы, где та девочка Маша — Машенька из хорошей семьи? По четвергам приходила к ней учительница музыки, Надежда Петровна, обучала игре на фортепиано. Машенька ленилась, не выполняла домашние задания, а Надежда Петровна, по слабости характера не умела требовать, и дальше «Сентиментального вальса» Чайковского музыкальное дело не двигалось. Занимались всегда после школы в дневное время, когда взрослые были на работе, и всякий раз учительница стыдилась, доставая из-под салфеточки на пианино предназначенные ей деньги за урок. Она краснела, но аккуратно складывала купюры в большой потёртый кошелёк и объяснения с мамой Машеньки оставляла на потом, оправдывая себя тем, что девочка любит петь и ноты все правильно берёт, и голосок-то у неё есть, и какие-никакие занятия музыкой в конечном счёте принесут пользу.

В особенности, девочка любила петь народные песни, подражая Лидии Руслановой, выучила весь её репертуар; сама Надежда Петровна подыгрывала, а когда повзрослевшую Машу — Марию — приняли в почти профессио-

нальный ансамбль Народной песни, даже выступала вместе с ней аккомпаниаторшей, получая свои, уже честно заработанные. Эти воспоминания всплыли и тут же унеслись в потоке забот насущных. *Подхожу я под окошко, а у Маши нет огня...*

Многое можно вспомнить, как начнёшь, так и не оставишься, да что толку, когда прошлого не вернёшь, о будущем загадывать не приходится, а настоящее — вот оно. Мадлен любовно погладила свою сумку, вернее, объёмистый короб, водружённый на хозяйственную тележку с большими колёсами и надёжно примотанный к ней широким скотчем в несколько слоёв. Здесь лежали все её пожитки. Некоторые были предназначены для обмена, но в основном, это была необходимая одежда на все сезоны. В самый низ она предусмотрительно уложила резиновые сапоги: надевались редко, служили амортизатором.

Среди разного рода вещей особое место занимал тугой свёрток, перевязанный крест на крест кручёным серебрястым шнурком, внутри находился синий шёлковый сарафан до пят и белая вышитая с широкими рукавами рубаха — сценический костюм, в котором солистка хора Мария выходила к публике. Мадлен его не носила, но продать, обменять или выбросить не могла. Сконфуженно улыбаясь, прикрывая рукой прореху в передних зубах, в шутку, а может всерьёз, наказывала товаркам похоронить её в этом одеянии.

Содержимое своего багажа Мадлен готова была отстаивать с яростью дикой кошки, никто и не покушался. Только однажды, во время большой пьянки, когда всем было море по колено, Дашка — Дарья-Искусница, получившая сказочное имя за то, что любого мужичонка могла раскочегарить на стояние, даже самого немошного, нагло залезла в неприкасаемый короб и, напялив сарафан, горланила похабные частушки.

Мадлен её убила бы, не выскочи между ними Жорка. Вот у кого стоит так стоит, на всех хватает, а уж ей —

в первую очередь. Хороший мужик, хоть и не везучий. Ещё в молодые годы из армии комиссовали по увечью — на учениях глаз повредил, перекрывал его чёрной косой повязкой, за то и прозвали Пиратом. Родные детки квартиры лишили, не заладилось у них, как мать померла, и пустили они папашу своего по миру. Но он обиды не держал, говорил, что всё им оставил по доброй воле. Единственный глаз его — яркий голубой — десятка друзей стоил. Вот и тогда от тюряги её спас, успел-таки отвести руку зазнобы своей, вооружённую кухонным ножом, от Дашкиного горла.

При мысленном воспроизведении жуткой картинки Мадлен передёрнуло — сидела бы сейчас на нарах, вместо удобной скамейки на остановке... «Ну, будь здрава, шалава!» — она достала из-за пазухи поллитровку — осталось на два глотка, выпила и пустую положила сначала в отдельный целлофановый пакет — этого добра в карманах всегда в избытке, а затем в сумку, заодно упаковав ещё одну, катающуюся по лавке, оставленную кем-то, будто специально для неё.

Реализацией тары, как в прочем и всего остального, занимался Сам — Василь Иваныч — сожитель Валентины, владелицы халупони, где вся их бездомщина перебивалась. Бабосы — так называли этих двух за глаза. Уж как удавалось им несколько лет поддерживать существование пришедшего в негодность строения, не знал никто. Да и пофиг. Втихаря матерясь, отдавали горе-постояльцы львиную долю случайных своих грошей оборотистой хозяйке не лично, а через Самогó — всегда гладко выбритого, казалось, с головы до ног — с постоянно торчащими из ушей проводками мобильной связи.

Стыдно, стыдно тебе, Маша, так ложиться рано спать. Гляди-ка, какая луна сегодня знатная и звезда ей под стать. Со своего места Мадлен видела кусок пространства, растянутый в проёме зубчатых многоэтажек, там сейчас и висели оба светила. Ночные небеса притягивали, заставляли чаще биться сердце, она заволнова-

лась, как перед выходом на сцену. Захотелось набрать полную грудь воздуха, выдержать паузу и подать голос, именно подать во всей своей полноте, но из гортани вырвался хрип, за ним сип, из носа потекли сопли, из глаз — слёзы. Твою мать!..

Пропила ты свой голос, Машка, прогуляла, от имени своего открестилась и Жорку, дружка верного, прозевала, а ведь могла б с ним как-то жизнь наладить. Он от работы ещё не совсем отбился, пристроился бы куда, поначалу хоть за харчи... и была бы с ним, если б за ум взялась. Видать, надоело ему с дурой нянькаться — ушёл раз и не вернулся.

Не пора ль тебе жениться, Машу в жёны себе взять? — она вздохнула. — Теперь уж не возьмёт, может, и в живых нет, многих за этот год не досчитались. А может, дочки жсжалились над непутёвым родителем — к себе позвали или куда пристроили? Ну, если так, то и ладно.

Удачное временное пристанище она себе выискала. Иногда здесь парочки, которым некуда деваться, останавливаются выпить и закусить перед тем, как разойтись в разные стороны. Прошлый раз обнаружила здесь открытую, почти целую коробку конфет с названием «Мадлен. От чистого сердца». Прежде видела такую в подвальном магазинчике у рынка, где Жорке обломилось товар разгружать, он хотел купить её для своей Мадлен, но она, равнодушная к сладкому, раскрутила его на дорогущую копчёную скумбрию. Посчитав эту находку прощальным Жоркиным гостинцем, — всплакнула, не жуя глотая один за другим приторные шарики «со вкусом шоколада».

Остановка эта глухая, автобус курсирует с большими интервалами с 10 до 22. Последний проехал — пустой, бесшумный, как привидение со светящимися глазницами. Мадлен встала размять ноги, поводя плечами и хлопывая себя по затёкшим частям тела, вышла из своего закута и задрала голову. Зияла чёрная бездна с плывущей луной, мерцающими звёздами, дышащая, неуловимо

меняющаяся, манящая. Виделся ей в декабрьском небе в серебристых одеждах с посохом то ли Дед Мороз, то ли Жорка-Пират, то ли сам Николай Чудотворец, глядевший на неё из-под заиндевелых ресниц пронзительными синими глазами.

Внутренним взором Мадлен увидела, как её лёгкие, расправляя свои лепестки, раскрылись красным цветком, из его сердцевины свободно вылетел и устремился ввысь чистый, звенящий в морозном воздухе звук. И полилась песня, знакомая и любимая с детства, завораживающая словами: *Светит месяц, светит ясный, светит белая луна...*

Термитник

Крик невесты

Ни зной, ни таежный гнус, ни едкий дым и явный жар от недалежного лесного пожарища не смогли остановить и образумить эту пару молодожёнов. Они хотели сделать свадебное селфи на краю утёса над Енисеем, с которого когда-то прыгнул на спор их однокурсник, спортсмен и спорщик Костя Малофеев. Он первым среди полунисшей студенческой братии заимел машину. Новенький Вольво сиял и лоснился боками под немытыми окнами общежития. Машину Костя выиграл на спор у директора лесопильной фабрики Лю Сяо Синя.

Руки спорщиков разбивал сын директора, только что вернувшийся с фронта Вовка Люсиянов. Так для удобства русских паспортисток была записана теперь семейная фамилия директорских чад и домочадцев. Ну так вот. Спор тогда был о том, выберут мэром города русского или китайца. Ставки были высокими. Костя против машины выставил свою жизнь в буквальном смысле слова: обещал зрелищный прыжок с утеса и то, что он отступится от директорской дочки и не поведёт её под венец. Китайским родителям этого очень уж не хотелось. Директор тогда проиграл. Костя выиграл машину, но и от дочки не отступился. Свадьба должна была состояться, как только сойдёт лёд с могучей сибирской реки и отойдут морозы, от которых невесту в её свадебном платье ни соболья шубка, ни кунья шапка не спасли бы. Вот и дотянули до макушки жаркого, как никогда, лета. Бесстрашный Костя, что ему, прыгнул тогда на глазах у всех

да и сгинул навеки. А Люся, эта китайская невеста его, Лю Си Ян в натуре, горевала не так уж долго. Девчонка была боевая, балованная. Она и затеяла это рискованное свадебное селфи как бы в память о первой любви. А жених для неё почти сразу нашёлся из своих, из китайских, на этот раз. Но по натуре наш, сибиряк, широкая душа. Друг люськиного брата. Все знали, что он на себе вытащил Вовчика под Соледаром, когда их засыпало в соляных шахтах. Три дня парни откапывались. Живы остались. Только Вовка теперь без ноги. Не суть. Хуже бывает. Так вот. Вышла вся эта молодая и шумная свадебная толпа на высокий откос над Енисеем. Фото у гостей, все потом видели, знатные получились. Невеста в белом, жених в камуфляже, не успел ещё обжиться да приодеться. В центре фото брат невесты в инвалидной коляске последней модели. И дым таежного пожара на подступах к реке хорошо получился, как в кино о катастрофах и катаклизмах. Типа, природа страху нагоняла, предупреждала подвыпившую молодёжь. А селфи... Что селфи... нету никакого селфи. Жених, казалось, зависший на мгновение над бездной, сколько ни пытался ухватиться за воздух да за чахлую, тщедушную осинку, торчавшую из каменной щели, не удержался-таки и полетел в никуда вместе с телефоном.

Получается, что уже второй жених не успел стать её мужем!

Крик невесты был долгим и матерным настолько, что даже эхо постеснялось его повторить.

Чужой чих

Молодой худощавый англичанин в лёгкой ветровке, явно не по этой промозглой погоде, чихнул ей прямо в лицо, когда она выбирала коробку с яйцами. Магазин был полупустой, и почему он подошёл к ней так близко,

объяснить можно было только тем, что ему этого хотелось. Поступил он при этом как заправский ковид-террорист. Английские газеты давно уже писали об этом. Особенно часто освещала такие истории любимая британцами бесплатная газета *Metro*, с подробностями описывая подобные случаи в транспорте, в метро и магазинах. Да что там! Часто просто в толпе, на улице! Мелкие капли его слюны попали Анне на лоб и щёки, не закрытые спасительной, довольно плотной маской. И через пару дней, несмотря на две вакцины и маску на лице, она заболела. Слегла. Тест оказался положительным — её закрыли дома на карантин. Никаких специальных лекарств от ковида тут отродясь не выписывали, врачи по домам не ходили, лишь по телефону посоветовали пить парацетамол. И прислали с курьером мини-аппаратик для измерения сатурации. «Вот если будет уровень кислорода меньше 80, вызывайте скорую», — сказал «домашний врач». В её стране таких врачей звали «участковыми».

Почему она всё же решила, что это был англичанин? Потому что белый? Так, может, он прибалт какой-то или поляк. Нет-нет, поляки всё же католики, в Бога верят в большинстве своём. Они не могут вот так по-хамски чихать, брызгая прямо в лицо людям заразной слюной. Совесть может не позволить. Единственная страна в Европе, где ещё Бог живёт, а значит, и совесть там должна водиться. Англичанин, точно. Они и сезонным гриппом пренебрегают, в транспорте кашляют и чихают. И дети у них распускают сопли на публике едва ли не до земли. Сопливые в школу ходят, и это не считается тут болезнью. Но заболели ведь не они, а она! Странная страна. Привыкнуть невозможно.

«Не нравится, так и не живи там! А возвращайся обратно, в Горловку. Тут тебя быстро вылечат!» — сказала по Скайпу близкая подруга. И добавила: «Тут не от чужого чиха и не от ковида люди погибают. Нет, не от ковида...»

Сувенирная чашка

Гости в этот раз были какие-то неудачные. Всё съели до крошки, как говорится. Даже выскребли ложкой казан с пловом! А она любила, чтоб оставалось на следующий день. Подъедать завтра с утра остатки застолья был бы самый смак, да вот нечего будет. Один доброхот и казан вымыл, и миску глубокую из-под лобию. А остальная посуда была одноразовая, как сейчас принято во многих домах, её место не в раковине, а в мусорных мешках. Фарфор и фаянс, если они есть, пылятся в шкафах, хрусталь тем более давно к столу не подают. Да и стол под красивой скатертью и столовые приборы отсутствуют во многих современных семьях. Едят и пьют стоя, как лошади. Привыкнуть было непросто, но со временем стерпелось и даже показалось удобным. Стало нормой подавать гостям одно основное блюдо и салат, от силы два. Вспомнилось, как в молодые годы она порой готовила к застолью до десяти закусок, плюс горячее блюдо и на сладкое к чаю торт или сладкий пирог. Потом полночи мыли посуду. Да, нечего Бога гневить. Упростились законы гостеприимства. Настолько, что вот уж и нет предложения некоему «ему» остаться после ухода гостей, чтобы помочь хозяйке «посуду помыть».

Так ведь когда-то и случилось. Помогал ей убирать посуду, приобнял полушутя за талию, её с головой накрыла внезапная волна неодолимого желания — и он остался у неё на долгих десять лет. Был страстен, силен и скрытен. Часто уезжал в командировки. И однажды не вернулся. На память о нём ей остался только рецепт вкусного плова.

И большая сувенирная чашка с морским пейзажем и надписью: «Привет из Мариуполя».

Сколько жизнь всего вместила

— О матка боска, Боже ж мой! — доносилось из-за двери, то ли всхлип, то ли смех, не разобрать, голос грудной, тёплый, обволакивающий. И долгое шарканье ног о половичок, всегда, даже летом в сухую погоду.

Тётя Зося Лихтман, мамина лучшая подруга, чистюля. Её все так называли — Зося Лихтман, хотя никакой другой Зоси рядом не было. Дело не в этом. Дело в том, что фамилия тёти Зоси по паспорту Кузина, а настоящая фамилия Лихтман. И никуда ей от этого не деться, приклеилась навсегда. И её дочку Наташку, худосочную, длинноносую молчунью, дразнили то Лихтман, то Рахелькой, несмотря на то, что в школьном журнале синей ручкой по белому было записано — Наталья Кузина и что по отчеству Васильевна.

Наташка вздрагивала, боязливо озиралась, выходя из дома во двор. Проходу не давали. Со всех сторон несло: Лихтман! Лихтман! Рахелька! Рахелька! Больно, больно, будто камнями побивают. А она Наташа Кузина. И папу зовут Васёк, Вася, Василий.

Она просыпалась в слезах. И Рахельку ненавидела. Бежала к отцу, прижималась к нему, вздрагивала от горя — у него искала защиты. Не у мамы Зоси, у него.

А он на её слёзы и Зосины увещевания поговорить в школе, шугануть ребят, припугнуть как следует, чтобы отстали от девочки, совсем загоняли, покачивал головой и говорил:

— А что я им скажу? Они же её жидовкой не дразнят. И матом не ругают. Что я скажу? Ты сама зачем её

Рахелькой называешь? Нету Рахельки, схоронили мы её давно, про неё в Москве никто бы не узнал, если б не ты.

И то правда. Она сама соседке Тоне про Рахельку рассказала и про другое тоже, не удержала в себе, как провало. Зося свою вину понимала. Нет ей оправдания, нет.

На этом разговор прекращался. Васёк уходил из дома угрюмый, расстроенный.

Наташка чутьем своим детским чувствовала — не из-за неё, из-за Рахельки расстраивается отец. Не её, а Рахельку свою любит, рыжую, зеленоглазую, кучерявую. Не свою — мамину, от первого мужа Сенечки, один в один на него Василия Кузина похожую. Так природа с ними поиграла. Рахелька — копия Васькá, а он почти как брат родной — на Зосинога Сенечку похож. Как такое возможно — уму непостижимо: один — корнями одесский еврей, другой — по отцу из казачьего рода, из станицы Тамань. Только Чёрное море объединяло, так оно исторически и географически кого только не объединяло, в позадревние времена дикие враждебные племена населяли берега — что с того? Всех роднёй считать? Непонятная сложилась картинка, но с очевидным фактом не поспоришь. Рахелька похожа на Васькá. Да и на Сенечку тоже. Но его же никто не видел, а на маленькой чёрно-белой фотокарточке, которую Зося от всех прячет, не видно ни цвет глаз, ни цвет волос, само собой, и кудрей под бескозыркой с надписью «Черноморский флот» нет, коротко острижены волосы по армейским правилам.

С Наташкой — ещё туманнее, как говорится, ни в мать, ни в отца, ни в заезжего молодца. Только Зося видит, что девочка похожа на деда своего, её отца, и ростом высоким, и длинными худыми ногами большого размера, и унылым носом, загнутым вниз, и добрыми, тёплыми, цвета спелого миндаля, глазами. Но кто в них заглядывает? Она головы не поднимает, всё куда-то вниз смотрит, будто что-то ценное потеряла и знает: не найдет — жизни не будет. В общем, нездешняя какая-то девочка; Зося иногда побаивается заговорить с ней, и молчание Наташ-

кино пугает, и обнять поцеловать стесняется, не то что Рахельку — тискала, мяла, обцеловывала с пяточек до макушки и в обратную сторону, без остановки. Душа присила. Она сама к таким нежностям не приучена.

А она, бывало, Наташку назовет Рахелькой, чтоб пересилить преграду, что меж ними была невесть откуда, и ну обнимать, гулить, ласкать без удержу дочурочку свою, кровиночку родную, а она хнычет, увертывается. Это когда малышкой была, а подросла — и всё, никаких нежностей не допускала, а услышит «Рахелька» — убежит в какой-нибудь тёмный угол и плачет там тихо, беззвучно, горько; сердце у Зоси разрывалось. А что у неё с Наташкой от самого рождения не заладилось, как правильно вести себя — не понимала. Она ведь и грудь не брала, выплевывала, а у Зоси молока было — залейся. Ничего от неё брать не хотела Наташка. Зосино сердце кровью обливалось от тоски по Рахельке и страха за Наташку. И перед Наташкой.

А однажды Наташка зашла в истерике, головой о спинку кровати билась: «Достали вы меня со своей Рахелькой! Ненавижу её! Не-на-ви-жу!»

Зося оцепенела от ужаса и полного своего бессилия, себя не помнила, размахнулась и ударила Наташку по щеке. «Прости, мама», — услышала сквозь гул в ушах и потеряла сознание.

С того дня у Зоси на сердце рубец остался. И отношения с Наташкой изменились. Внешне к лучшему, а глубже посмотреть — совсем замкнулась от неё Наташка, будто повзрослела от её удара и что-то своё в уме затаила, Зосе не доступное. А Ваську тем более, не нашла Наташка у него того, что искала, а искала любовь.

Такая история. Вот откуда Лихтман. Вот почему Рахелька.

Итак.

По национальности Зося еврейка, с какой стороны ни посмотри. Родилась в Одессе в семье Шуни Лазаревича Лихтмана, еврея по всем линиям и ветвям генеалогиче-

ского дерева, и Мани-Шимы Зусмановны Люксемберг, польской еврейки с путанными родовыми корнями.

Шуня Лихтман, портной по вторичному пошиву мужских пиджаков и брюк, точнее сказать, спец по подгонке, перекройке, перелицовке. Где заплату наложить, где штопку аккуратно сделать, — любая женщина позавидует — руки ловкие, чуткие, как у хирурга. Может, и получился бы из него хирург, может быть. И сердечный был, с вниманием относился к людям, даже незнакомым, и мимо чужой беды не проходил, помогал, чем мог, в любое время, даже в Субботу (в исключительных случаях разрешено еврейскими законами). Он их соблюдал с детства, не выпячивая перед людьми, так приучен был. Иначе не мыслил себя.

Маня-Шима Люксемберг, младшая дочь в семье, было ещё три мальчика, все получили хорошее образование и стали от младшего к старшему — адвокатом, врачом и даже артистом ГОСЕТа, под другой, правда, фамилией. Может быть, не артистом — статистом, но знаменитого еврейского театра в Москве. Впрочем, Маня ни с кем из братьев никаких отношений не имела по причине дурного неуживчивого характера, чем славилась в близких и дальних родственных кругах. Друзей у неё тоже не было, одна гимназических лет однокашница Лидка из многодетной украинской семьи любила её всю жизнь до самой смерти, чуть не молилась, как на икону. Понимала — нельзя, а всё же маленькую фотокарточку своей Манечки носила в нагрудном кармашке всегда, они у неё на любой одежке были специально для этой надобности. Не расставалась с Манечкой, как с крестиком своим латунным.

Один только раз нарушила этот порядок, когда узнала, что Манечка и все её родственники, все одесские евреи, кто не успел, не захотел, не смог уехать из города, расстреляны или сожжены заживо в селе Дальнике, где жили когда-то её дед и бабка, прадед и прабабка, куда их всех забрасывали гуртом на лето, на парное козье молоко, на ягоды и фрукты из родового сада-огорода. Всех Манечкиных родных, как в кино, увидела Лидка, про-

плыли перед ней один за другим, все, с кем Манечка всю жизнь в остром конфликте состояла, или в вяло текущей ссоре без всякой серьёзной причины. Всегда одна, даже когда все свои рядом, сама себе не рада. Может, в смертный час сроднилась с ними по-настоящему, не только общей кровью, последними слезами, последним вдохом и выдохом. «Простите, простите», — шептала Манечка, шершавым языком царапая пересохшие губы. «Простите», — шептала в темноте барака под плач и стоны, под длинные оглушительные автоматные очереди.

Лидка услышала. И не выдержало сердце. Только и успела крестик снять, чтоб легче было грех самоубийства совершить, и налила в банку дихлофос, чтобы выпить залпом и больше не дышать. Боялась божьей кары, а всё же решилась, поняла, что жить, неся в себе такое горе, не сможет, сил не хватит. А их и не хватило — даже дихлофос выпить не успела, разорвалось сердце от боли. Никто Лидкину мýку не понял, крестик на холодное тело надели, предали земле, и дихлофосом клопов потравили, чтоб добру не пропадать.

Из всей родни Зося одна эвакуировалась из Одессы. Четырнадцатого октября в пронзительной ясности, в день бабьего лета, простилась со всеми родными, как никогда остро, горько до удушья, так, что слóва сказать не могла, будто навсегда, хотя мыслей таких не было. Сталин сказал по радио: «Одессу не сдадим». Ему верили. Мама распаковала собранные уже чемоданы, повесила занавески на окна, положила скатерть на стол и из того, что было в доме, испекла коржики к чаю. Сталин сказал: «Не сдадим». Зося всё же отправили с больным ребёнком подальше от войны, в тыл, мало ли что как обернется здесь, а Рахельку лечить надо, спасти, чтобы жила долго и счастливо. О matka боска, Боже ж мой! Любимая присказка мамы Мани, не молитва, не мольба — на все случаи годилась.

Отплыла Зося последним морским транспортом из порта родного города под непрерывными бомбёжками

вражеской авиации. Последним, на предыдущий опоздала, который не доплыл до Керчи, потонул. Уберёг Бог. Телом своим прикрывала Рахельку, девятимесячную, слабенькую, желтушную; жизнь едва теплилась в маленьком тельце, а у неё и молоко, как назло, пропало, перегорело от всех свалившихся переживаний. Проводила Сенечку своего на войну, только-только мореходку окончил, диплом судомеханика получил с отличием — и героически погиб при обороне Одессы, сражаясь в составе десанта морской пехоты Приморской армии. Эти подробности Зосин отец узнал в районном военкомате, откуда был призван Сенечка. Без него победили, отогнали врага от города, без него трофейные орудия торжественно провезли по улицам, а на них написали: «Больше по Одессе стрелять не будет». Без него, без Сенечки, теперь всё без него, одна только Рахелька, кровинушка родная, у Зоси от мужа осталась.

Спасти, спасти Рахельку, об одном думала Зося, только эта мысль билась в голове и днём, и ночью, всё отступило, всё стало второстепенным. Девочку рвало и поносило, она уже почти не дышала, когда доехали до Куйбышева, тут их и ссадили, попутчики категорически требовали. Проводник пожалел её, дал адрес своей сестры, санитарки, в эвакуогоспитале. Сердобольная оказалась женщина, неизвестная ей Маруся, к себе пустила в старый дом на окраине города, а у самой две комнатки, разделенные временной перегородкой, мать больная не ходячая, умом тронутая, и муж пропал без вести, только-только извещение получила, ещё все слёзы не выплакала. Ничего, сказала, вместе мы твою девочку выходим, что ж мы не сможем что ли, одного ребёнка на ножки поставить. Выходим! Я тебе говорю.

Зося поверила ей. И выходили. Из пипетки кормили, как котенка маленького, по капельке, по глоточку, по ложечке, клизмочки ставили. Маруся из корней и трав отвары готовила, каши варила, всё время на это тратила, свободное от дежурств в госпитале и ухода за матерью. Всё успевала и дух к жизни в Зосе поддерживала, её сил

на них на всех хватало. Рахельке в большом тазу каждый день омовения делала, поливала из ковша душистой водичкой, поглаживала, похлопывала, пощипывала и шептала что-то нежное, разговаривала. Зося прислушивалась: «А вот мы сейчас с тобой... А водичка живая как в сказке, здоровенькой будет девочка моя... Нравится тебе, малышка моя?..»

«Моя! Моя!» — кричала без голоса Зося, помешать боялась. И до Рахельки дотронуться боялась, как отдала её Марусе в первый вечер, будто оторвала от себя. Маруся ей руки с трудом разжала. Ревновала Зося Рахельку к Марусе до спазмов в животе, днём и ночью ревновала, не расслабляясь ни на миг. А поделывать ничего не могла, сказать — тем паче. Маруся её девочку на глазах у неё с того света вытаскивала, не щадя себя, преданнее человека ей не отыскать. И отводила глаза, как накатит до нестерпимости, стыдно было. И страшно. За себя, за Марусю, за Рахельку.

Маруся всё понимала. Они друг друга насквозь видели. Подошла как-то в такой момент, обняла за плечи и сказала:

— Твоя, твоя доча, Зоська, не ревнуй, я её у тебя не отыму. Но и ты мою любовь к Рахельке не отымешь, не в твоих силах, я её как свою выхаживала, только что молоком своим не кормила, так у меня ж его никогда не было, а теперь уж, поди, и не будет. Без мужа-то.

Выходили они Рахельку. Зося в себя пришла, в госпитале санитаркой с Марусей в смену работать стала, день одна, день другая — дома с Рахелькой и с матерью. Поздно ходить начала девочка, ножки слабенькие, кривенькие, а всё же Марусины процедуры помогли, в три годика уже бегала сама без оглядки, и они за неё перестали бояться. Всё как-то налаживаться стало.

Муж Марусин внезапно нашёлся. Долго сидели они на крыльце, обнявшись, голова к голове, и плакали, держа на коленях бумажку в жёлтых пятнах от Марусиных слёз: «...муж ваш пропал без вести в боях за социалистическую Родину». Тяжелораненный в голову, всё позабыл,

по госпиталям долго маялся, а когда ходить начал, при очередной транспортировке из санитарного эшелона вышел и потерялся; не сразу нашли его и в Оренбург отправили долечиваться, там и комиссовали по ранению головы. Так вкратце рассказал Паша Марусе, путано как-то, уклончиво, и документы, сказал, потом пришлют, в военкомате заберу. О довоенном всё помнил в подробностях, а где жил так долго, кто нашёл, как память вернулась — пробел. На все Марусины вопросы один ответ: «Война, Маруся, война», — коротко, со значением. А что имел в виду, какой секрет от неё прятал — так и осталось загадкой. Маруся его, конечно, пустила, а как же — живой вернулся, она столько слёз по нему пролила, такой тоской переполнилась. Пустила. Только радости не было, что-то разладилось про меж них. И Рахельку не любил Паша, и всем видом своим давал понять при каждом удобном случае.

Такой поворот случился. Не последний для них для всех.

Зоя весной сорок пятого с Васьком сошлась, по документам — с лейтенантом в отставке Василием Федоровичем Кузиным двадцати девяти лет. Думать не думала ни о чём таком после Сенечкиной гибели, а вот случилось — пожалела, так нестерпимо больно сделалось за чужого совсем человека. Совсем чужого — не еврей, не одессит — москвич, спортсмен, футболист, кандидат в мастера. Ни в чём не пересекались они в прошлой жизни, ни в чём. Мама Маня с детства пугала: «Не будешь учиться музыке — за футболиста замуж выйдешь!». В детстве для неё футболист был как серенький волчок, который ухватит за бочок. Она училась музыке, училась прилежно, но без радости. Лучше бы с ребятами во дворе играла в круговую лапту. Только с мамой Маней не поспоришь — целый год три раза в неделю ходила Зоя домой к учительнице музыки, гаммы разучивала и простенькие пьески. Не получалось у неё, по клавишам не попадала, сбивалась, путалась и с мольбой смотрела на

строгую Цицилию Леопольдовну в тёмно-синем платье в пол с широким поясом и высоким кружевным воротником на длинной тонкой шее. Она всегда была в этом платье и в правой руке всегда держала веер из перьев павлина, в любое время года. Фея волшебная, ни одной такой женщины Зося не видела в жизни, только один раз в театре царевну-лебедь, такую же длинношеюю. Цицилия Леопольдовна легонько ударяла её веером и говорила: «Спинка... локти... кисти... пальцы, пальцы... не болтай ногами...» Зося цепенела перед ней от страха и восхищения, не до музыки было. Цицилия Леопольдовна неожиданно и спасла её от этой муки, сказала маме: «Не мучьте, дитя, Маня Шуневна, музыка не для неё, я это вижу». Мама Маня спорить не стала, не ровня она Цицилие Леопольдовне, чтобы вступать с ней в переговоры, объяснять свои резоны. Большое спасибо только сказала, за что сама не поняла, и увела Зосю из мира музыки навсегда; только на пороге и потоптались. Так потерпела крах попытка мамы Мани сделать из Зоси музыканта. Свою мечту хотела в дочке воплотить — не получилось.

Зато в пророчестве своём не ошиблась, сказав, замуж выйдешь за футболиста. Со второго раза сбылось.

Почти перед самой победой Зося в госпитале Васька первый раз и увидела в своё дежурство. Красивый, с могучим торсом, с копной рыжих непослушных кудрей и зелёными глазами. У неё сердце в низ живота ухнуло, чуть не закричала: «Сенечка!» Нет, не он. Глаза дерзкие, хоть и затуманенные болью, а у Сенечки — кроткие, печальные. Только с первого взгляда спутать можно. Тем более после ампутации, подавленный, измученный болью, тоской и страхом перед будущим, — как жить? что делать? — Васёк был сам не свой, места себе не находил, метался по постели, и внутри всё бушевало. Он не хотел жить, так и говорил прямо и врачам, и медсёстрам, и санитаркам: «Ничего не надо, жить не хочу».

Зося вся извелась, покой и сон потеряла. С чего вдруг — не могла понять. Сколько тяжелораненых, изувеченных, обожжённых, с исковерканными телами прошло через её

руки, обихаживала, жалела, помогала, чем могла, никого не выделяла. Иногда и имени не помнила: «миленький, миленький» — каждый думал, что это ему одному.

— А если бы мой Сенечка так? — не удержалась, поделилась с Марусей.

А с кем ещё? Вроде просто рассказать хотела, чтоб в себе не носить. Или всё же посоветоваться.

— Представляешь? Молодой, крепкий, здоровый, а без ноги? Я бы его никогда не бросила, вместе бы осилили беду. Вместе всё можно осилить. Одной трудно, когда опереться не на кого, а? И так похож на Сенечку. А? Может, знак свыше? А? О матка боска, Боже ж мой! А, Марусь?

Маруся без слов пустила Васькá в дом. Перегородили комнату шифоньером, с одной стороны — кровать Маруси и Паши, с другой — матрас на доски положили для Зоси и Васькá. Хуже, чем в коммуналке — даже дверью отделиться нельзя, каждый шорох слышен, каждый вздох. И всё на виду — нет закутка, чтоб спрятаться. Одно облегчение — сутки через сутки, Маруся и Зося поочередно отсутствовали. Впрочем, грех жаловаться, жили они дружно, как-то легко притёрлись друг к другу, вроде сроднились.

Кроме Паши, он особняком стоял, не одобрял Марусино гостеприимство. Пора кончать с этим общежитием, повторял без устали, жилплощадь всё ж таки наша. Маруся отмалчивалась или отмахивалась от него — да погоди ты. Будто ждала чего-то.

А день шёл за днём. Уже и победу начали праздновать, пока ещё официально не объявленную, и раненых стало меньше, и общее настроение изменилось, мирной жизнью повеяло из затаенных уголков памяти, из закров былого. Женщины платья нарядные достали, постирали, погладили, по фигуре подогнали, кто в какую сторону, на видное место в шкафу повесили, чтоб под рукой были, волосы накручивать стали, кто на бигуди, кто на бумажки, кто на палочки, не забыли пальцы, ноги тоже не забыли — танго, фокстрот, вальс, пока в одиночку и не

под музыку — раз, два, три, раз, два, три, раз... Скоро и на танцы можно будет пойти.

В праздничный день 1 мая сорок пятого года все в доме были, кто чем занимался, обедать собирались и не заметили, что Рахелька выбежала на улицу. Только резкий визг тормозов услышали, и в тот же миг всё поняли, будто знали, что так случится. Рахелька под машину попала и сразу насмерть, никто бы не смог помочь, а Зося с Марусей убивались и себя не то что корили, руки готовы были наложить. Маруся из-за матери удержалась, не на кого было оставить, не помирать же заживо родной матери без всякой помощи.

А Зося — из-за Васькá, она поклялась ему, что никогда не оставит. Он сколько раз в госпитале вены резал, из окна палаты пытался выброситься, она уговаривала, увещевала: нельзя, мол, жизни себя лишать, грех перед людьми и Богом, перед вдовами и девушками, не состоявшимися невестами... Много чего говорила взволнованно и за руку его держала. Он смотрел куда-то в сторону, казалось, не слушал её — и вдруг спросил: «Замуж за меня пойдёшь?» И посмотрел прямо в глаза с последней надеждой, так ей показалось. «Пойду», — ответила. — «Не обманешь?» — «Не обману». С этого дня он пошёл на поправку. Вот и выходит, что она клятвой своей его удержала. Не смогла нарушить. Неживая совсем, а всё-таки обет дала живому человеку.

Да как могла она его обмануть. Он Рахельку крепко любил, не каждый отец своих детей так любит, с рук не спускал, все качал на коленях, она уж сама бегала, не догонишь. А ему-то трудно, не успевал на одной ноге с костылями. Рахелька всё понимала, ластилась к нему, нежилась, папик мой, мяукала, папулечка. Он в её рыжие кудряшки пальцы запустит и гладит, гладит, а она головку на левое колено ему положит и целует, у папика ножка болит, приговаривает, жалко папика... «Евреечка моя... маленькая... моя», — со стоном выдыхает Васёк, едва дышит от счастья и слёзы смахивает.

Такая идиллия.

Рахелька была бесценным сокровищем и для Зоси, и для Васькá, и для Маруси. Не привечал её только Марусин муж, Паша, не замечал и Марусю одергивал: «Не гоношись ты так вокруг девчонки, не *наша* она, — говорил с особым нажимом. — Не *наша*. погоди чуток, оклемаюсь, свою сделаем». Маруся молчала, переводила глаза с Паши на Рахельку, с Рахельки на Васькá, будто прикидывала что-то, задумывала. А что? Так для Зоси тайной и осталось.

Со смертью Рахельки всё изменилось. Почти не разговаривали, да как бы и не замечали друг друга. Девять и сорок дней, однако, справили, Маруся и Васёк всё сами сделали, её не спросили. Зося сидела, ни жива ни мертва, мысленно прощения просила у родных, что нарушает веками заведенный порядок. Но что она могла возразить — моя, мол, дочь, не положено у нас. Нет, так она обидеть их не могла, не заслужили. Да и что дурного в том, что поминают они девочку маленькую, безвинно погибшую Рахельку, всеми любимую, а Зося ещё про себя оплакивала всех еврейских детишек, убитых в войну немецкими фашистами, своих и чужих. Хотя перед лицом смерти никто не чужой.

На поминках она впервые увидела Васькá пьяным. Испугал он её, не ожидала. Но деваться было некуда, забеременела вторым ребёнком. Она этого не хотела после смерти Рахельки, не готова была, видит Бог. Всё за неё кто-то решает.

Маруся сразу после сорока дней сказала Зосе не своим железным тоном и словами, словно не своими:

— Пора и честь знать. Зажились вы тут у нас. Всё.

А глаза в сторону отводила, не глядела на Зося. На Васькá и подавно.

Они быстро собрались, наспех, да что собирать-то? Всех пожитков — два чемодана да две кошёлки. Даже не присели на дорожку по старому доброму обычаю. Молча спустились с крыльца, Зося поклонилась дому, плакала навзрыд, будто Рахельку здесь оставляла навсегда. А так оно и было.

Маруся словно подслушала её мысли:

— Могилку оберегать буду, пока жива, о том не беспокойтесь. Прощайте. Бог вам в помощь.

Перекрестила не их — себя, повернулась и пошла в дом, не оглядываясь. Не обнялись на прощание, не расцеловались. Как чужие простились, будто не прожито, не пережито всё, что выпало им на двоих в эти страшные годы, будь проклята война. Зося как окаменела, с места сойти не могла, всё вслед Марусе глядела затуманенными от слёз глазами, понять не могла — почему *так*.

Ничего со временем не разъяснилось.

Москва.

Долго ехали, трудно, тесно и голодно, в другом, правда, настроении, чем четыре года назад: не из дома — домой всё ж таки, в свои стены. Надеялись, ждали, мечтали, по ночам кто плакал, кто вскрикивал — беспокойство не покидало. Горе общее отлетало назад, как деревья, избы и речки за окнами вагона, как облака в небе, как густой дым паровоза, как выплаканные слёзы, бессонные ночи. Победу ждали сообща, а теперь радость у каждого своя и ожидания, и надежды на будущее. И горе у каждого своё, его ни с кем не разделишь, с ним теперь жить. Так думала Зося, неотрывно глядя в окно, и жалела себя. Как жить? Куда ехать? Своего дома у неё нет, и родных никого не осталось. Никого. Все погибли, и Рахельку она не уберегла. И неожиданный ребёночек затаился в животе, будто боится напомнить о себе, будто понимает её смятение. Васёк тоже чувствовал её настроение, ни о чём не спрашивал, только повторял под стук колес на стыках: «Всё будет хорошо, всё будет хорошо...» Зося вдруг успокоилась и уснула у него на плече. До Москвы ещё двое суток... Всё будет хорошо...

Квартира в двухэтажном деревянном доме была многолюдная, уклад коммунальный — делили всё, что есть: и еду, и беду, и радость, и ремонт мест общего пользования делали сообща, а заодно и в комнатах, кому что подправляли по крайней необходимости, и место у плиты уступали, конфорок на всех хозяек не хватало. Первое

время после войны особенно ладно жили. Хотя списки всё же завели и за графиком уборки, мытья в ванной, и прочими правилами общежития стали следить. Порядок есть порядок, без него никак нельзя. Без ссор, конечно, не обходилось, но как в любой семье — без худой брани нет доброго мира.

Васькá соседи-старожилы любили с детства, покойных родителей его помнили и бабушку Полину Никаноровну, даму надменную, строгую, из «бывших». Судьба занесла её в коммуналку, и она достойно доживала свои последние годы вдвоём с внуком. В коллективной ванне не мылась, раз в две недели посещала Селезневские бани, а другие омовения осуществляла в большом эмалированном тазу, который держала под кроватью в комнате, в нём же и бельё своё стирала, а в туалете накрытый полотняной салфеткой стоял её ночной горшок. Посмеивались, конечно, но уважали. И она со всеми была приветлива и на вы, её считали справедливой и к мнению её прислушивались. Васёк хорошо помнит отповедь, которую бабушка устроила всем детям квартиры за то, что обижают соседку Фиру Яковлевну, Фирятину, еврейку. «Не обижайте её дети, нельзя. Евреи тоже люди разные, плохие... хорошие... умные... добрые... — Она с трудом подбирала слова. — Не люблю я их. Но это так». Дети мало, что поняли, но оставили Фирятину в покое.

Полина Никаноровна из Москвы не уехала. Крысы бегут с тонущего корабля, сказала, насмешливо кивнув головой за окно, а Москва не утонет, выстоит. В бомбоубежище не ходила, так и умерла однажды в своей комнате, когда в квартире никого не было. Соседка написала Васькú — похоронили, мол, как могли, место на кладбище покажу, как вернёшься.

И вот он возвращается. Подъезжая к Москве, вспомнил бабушку и подумал: «Хорошо, что её нет, пусть пухом будет земля, прямо завтра на кладбище пойду, крест поставлю деревянный, как она хотела». Но он не один ехал, с Зосей и дитём своим, общим с ней, не рождённым пока. Бабушка *их* не любила, а он любил. Беззаветно лю-

бил Зосю, Рахельку и будущего ребёнка своего, мальчика или девочку. А какие *они*, спроси кто-нибудь, за что любит, затруднился бы сказать. Сам-то он знает, про себя, не для постороннего слуха.

Зося спасла его, если б не она, давно бы уже не жил, наложил на себя руки. И некому было бы вспомнить его — ни поругать, ни оплакать. С Рахелькой часть его души умерла, но луч света остался, как лампадка в углу тёмной комнаты. А кто родиться вскорости должен — единственное продолжение на этой земле его, отца и матери, и бабушки Полины Никаноровны. Как ни крути — никуда не деться. Любишь — не любишь, это так.

Зося знала, что Васёк её любит, без него бы она не справилась: чужой дом, чужой город, чужие люди. Свой только Васёк. Так судьба определила, ей было спокойно с ним, надёжно — не обманет, не бросит в беде, всегда рядом будет.

Если б Васёк не пил! Всё с ног на голову переворачивалось, тут самое больное для неё и происходило. Стакан гранёный, прозрачный как хрусталь, дореволюционный, дедов выпивал по большим календарным праздникам и на Пасху — это святое дело, не обсуждалось, так заведено было с первого дня их совместной жизни. Со стакана расходился без удержу, бить не бил, орал отборным матом, чего по трезвости не позволял себе не то что с ней, с Зосей, ни с кем вообще, ни в доме, нигде; на улицу выгонял с Наташкой маленькой на руках, за ручку, и когда совсем подросла тоже. И упаси Бог, у соседей спрятаться, он и у них в доме всё разгромит и из квартиры выпихнет за ней следом. Силен был, не обуздать его в таком виде, женщины побаивались связываться, а мужики не хотели — инвалид всё ж таки. Его все любили, видно было, зла не держали, хотя скандалов этих побаивались, благо не часто впадал он в бешенство неуправляемое.

Больше всего Зосе выпадало, лично, её чаша раз в году переполнялась так, что через края выплескивалось, и испить её до дна нужно было, не захлебнуться, чтобы дальше

жить, не для себя, её жизнь давно закончилась. Для Наташки жить, стараться и для Васькá своего горемычного.

Двадцать седьмого января из года в год приходил он домой раньше обычного, хмурый и тихий, шагал ни на кого не глядя в их каморку в углу длинного коммунального коридора с аппендиксом вправо, доставал из кармана две бутылки водки, пол-литра и четвертинку, и выпивал стоя прямо из горла... Всё! Всё! Готов!

— Зоська, — шептал угрожающе, — ноги мыть, живо!

У неё уже таз горячей воды, мыло и полотенце наготове, на колени перед Васькóм опускается, ноги моет, здоровую и ниже колена ампутированную. Он культёй в лицо ей тычет:

— Целуй, евреечка моя ненаглядная... Моя! — цедит сквозь зубы. — Целуй, я ногу свою из-за вас, евреев, потерял, когда Аушвиц освобождали, вы все мне ноги целовать должны! До победы сто два дня оставалось! Я жив и целехонек был, ни одна пуля не достала за четыре года! А тут осколком ногу оторвало. На одном сухожилии болталась, не сумели пришить. Целуй! Целуй!

И она целовала — страшно, стыдно, жалко до слёз. Себя, конечно, себя, но Васькá ещё жальче. У неё руки, ноги на месте, сердце вынули давно, а как-то приспособилась, вроде бы неживая, а живёт. Он же, молодой, красивый, полный сил, безногим инвалидом после войны остался, протез по бедности плохонький сделали, жмёт, натирает ногу, боль пронзает при каждом шаге, хромает, а стон сдерживает. Она-то видит, как трудно ему, не привыкает обрезанная нога к протезу, сколько уж лет прошло, мается и душой, и физической болью. А всё ж не спился, только по праздникам позволял себе и 27 января, в день освобождения Освенцима.

А у неё как раз день рождения. Свой отмечать смешно и грешно было бы, но и Рахелька маленькая родилась в этот день, она её себе подарила. Кто ж знал, Господи, чем этот подарок обернётся. Господи!

А всё-таки чай с наполеоном был на столе в этот день всегда. Наташка с детства знала, чей день рожде-

ния отмечают мама и отец, и под любым предлогом увилвала: то тошнит, то горло болит, то уроков много, а подросла, так чётко и ясно — не хочу, без всяких объяснений. Не хочу. Тем более отец в этот день всегда выпивший к столу садился, тихий, покорный, печальный. А отчего печальный-то? У мамы день рождения, веселиться надо.

— По кому тризну справляем? — насмешливо спрашивала Наташка. — Чур, без меня. У меня сегодня хорошее настроение и без вашего наполеона. Я чай с сухариками у себя выпью.

И уходила в свой уголок за ширмой. А оттуда всхлипы слышались. Или им так казалось обоим?

Так и жили. Вроде всё в порядке. Со стороны, наверное, так и казалось — образцовая семья. Ваську́ его слабости прощали все. А так что — всё в норме, лучше, чем у многих других. А на самом деле Наташка держалась отчуждённо, близко к себе ни мать, ни отца не подпускала ни по какому случаю, ничего с ними не обсуждала, ни о чём не просила. Все сама, сама. У Зоси душа изболелась, а как исправить? Не нашла она пути к дочке, ни к разуму, ни к сердцу, так ей казалось. Когда Наташка, ничего не объясняя, уехала в Ленинград учиться, словно бы в Москве институтов мало, Зося побарахталась немного, не могла придумать, чем заняться: салфетки и шляпки, которые вязала и всем без разбора дарила, чтобы радостью поделиться, давным-давно уже вышли из моды; чайный гриб, королевой которого она считалась долгие годы, вообще позабыт, мало кто вспомнит, что это было. Больше она ничего особенного делать не умела, что вызывало бы к ней интерес, а так ведь с бухты-барахты не станешь предлагать себя в помощники, неловко. Не сразу, но Зося сдалась окончательно, ни сил, ни смысла больше не было в её жизни, пустота внутри, пустота вокруг. Может, так бывает за чертой, когда всё земное отринуто навсегда. Но почему так тяжело, почему? Ответа она не знала, да и вопрос ни к кому обращён не был, висел закорючкой внутри пустоты.

Жизнь в доме остановилась. Тихо сделалось, пыльно, нежилым запахом всё пропиталось. Васёк делает сам всё, что успевает, а Зося сидит, сложив руки на коленях, и смотрит в одну точку. Шторы задёрнуты, в комнате всегда темно, день, ночь — не разобрать. Молчат оба. А о чём говорить? Всё давно сказано.

Последний их разговор оба помнят. Зося вдруг заговорила, и слова её в устоявшейся тишине прозвучали как-то особенно резко:

— Все, кого я люблю, покинули меня. Все!

Васёк долго молчал, будто не услышал её.

— Выходит, меня ты не любила никогда. Только не меня.

И посмотрел на неё ясными трезвыми глазами, полными боли и застарелой печали. А ей нечего было возразить ему. Нечего. И взгляд этот выдержать не могла.

— Задвинь шторы, пожалуйста.

Всё, погрузились во тьму и тишину.

Васёк от неё не отходил, кормил, поил, массаж делал, руки крепкие, добрые, по комнате за руку водил, по пять кругов каждые три часа, чтобы в лёгких застоя не было, по утрам зарядку показывал нетрудную, чтобы смогла сделать. Все средства испытал, про Марусю не раз вспомнил, вот бы кто помог Зосе. Да где же её взять? Жива ли — не знает. Не общались они, как уехали.

Так Маруся и сказала, когда пришла к нему ночью в Зосино дежурство, огорошила, никак не ожидал:

— Сделай мне девочку, Васёк, лисёнка рыжего, как Рахелька. Назову Настей, как маму, а про себя Рахелькой звать стану, пусть живёт себе здесь, где заново родилась... Васёк! Она на тебя похожа будет, я знаю. Сделай, прошу, Зося никогда ничего не узнает, я вам от дома откажу, как сороковины Рахелькины справим. И всё, больше никогда обо мне не услышите. Я молиться за вас всю жизнь буду, пока жива, и оттуда тоже. Васёк!..

Он пожалел её, от всей души, как мог, очень постарался. И вроде как отблагодарил за всё, что она для них сделала. Не знал ещё, что Зося понесла от него. Она сама ещё не знала. Выходит, и Наташку они зачали в Марусином доме. А может, и Настя-Рахелька рыжая младшень-

кая живёт с Марусей в добре и здравии. Он бы посмотрел, тянуло, конечно, перед собой зачем лукавить — как там у них жизнь продвигается? Да нельзя, нельзя ни в коем случае — Зося никогда не предаст, и Марусе слово дал, поклялся. Она там сама разберётся, раз такое решение обдуманно приняла.

А вот Наташке всё ж таки про мать написал. Она ему адрес оставила, «до востребования», сунула в руку и сказала: «Если что с мамой случится...»

Случилось, решил он, пора. И вот она приехала без предупреждения. Он в комнату зашёл, шторы раздвинул.

— Ну, — говорит, — Зося, вставай, Рахелька приехала. Вставай, вставай!

— Васёк, ты что несёшь? Что за глупости? О, матка боска, Боже ж мой!

А взгляд насторожился, знает — он не шутник, зря болтать не будет.

Тут Наташка и вошла, а на руках ребёнок — одеяльце розовое, чепчик розовый. Девочка?

— Рахелька? — прошептала Зося.

— Рахелька, мамуля, Рахелька, — весело сказала Наташка, а сама улыбается. — Рыжий лисёнок, вся в папу. — И на Васькá посмотрела.

Зося встала, руки тянет, улыбается им навстречу:

— Девочки мои дорогие, любимые мои... Васёк, Васёк, смотри, Рахелька — вылитая ты.

Он посмотрел — правда, вылитая...

Наташка вдруг заторопилась:

— Мамуля, папуля, я вот что, я вам Рахельку пока оставлю на время, у меня сейчас дел невпротык, диплом, работа, то да сё. Пускай у вас поживёт, а то заскучали совсем. Сейчас генеральную уборку проведу, и живите-радуйтесь со своим лисёнком.

Васёк согласно кивал головой. Зося прижимала к груди Рахельку. Кольнуло в сердце: радость, грусть, боль, потери, печали — сколько жизнь всего вместила. Кажется, всё испито до дна.

Ан вот как внезапно обернулось. Вроде снова к началу. О, матка боска, Боже ж мой!

Валька, Римка, Ирка, я

(Общая фотография на фоне исторических обстоятельств)

— Не знаю, не знаю. Война, ясно дело, это война, а... Может действительно, оттого что закончилась, по контрасту. Вот было ощущение радости, счастливого детства. Да! Хоть кол тебе на голове теши — счастливого, и всё. Не бурди! Сто раз говорила, и сто первый скажу.

Как в чём выжалось? Ну, ощущение счастья, и всё. Например? Например. Хоть первое марта, например. Что происходило? Не знаешь! Тогда сиди-помалкивай.

Первого марта — ежегодное снижение цен на промышленные товары! Решением партии и правительства. С утра во дворе — пш-пш-пш... Все, праздничные, счастливые, ждут. Шепчутся. На что? На сколько? И — после перерыва на радио, часа в три, что ль... Взрыв! Выскочили, загомонили, хлопают друг друга, радостные. Обнимаются прямо. Бурно. Потому что — на ткани! На обувь! Верхнюю одежду! Шляпы, швейную фурнитуру. Меха! Кто б за ними побежал немедленно, за этими мехами, но всё равно! Пусть будет.

Снижение на копейки, ясное дело. Но не это ж главное. Как что? Не придуривайся. Забота государства! Партии и правительства. Именно! И — да, у товарища Сталина душа болит о нас — ежесекундно, неустанно.

Не закатывай глаза, не хочешь, не слушай. Сначала просишь, потом начинается. Я ж тебе не как на самом деле, а ощущение...

Или вот в школу идёшь! Хоть и войны уж нет, а всё равно пока голодно. Домой приходишь — никто не спрашивает: будешь то или это. На стол ставят, чего в погребе есть — картошка варёная, капуста кислая. Да хоть три

раза в день одно и то же, чего есть, то и ставили... Поел — и всё. А в класс-то на большой перемене миску с сахаром несут — ложечку сыплют на листочек бумаги каждому. Бесплатно. А через какое-то время вместе с сахаром уже четвертушку сайки стали давать, булочка такая. И мы радостные, смеёмся: макаем её в песок, счастливые. Вкуснота! Забота! Думают о нас. До сих пор как вспомню — в горле комок.

Про смерть какого-такого упыря? Гос-споди... Так и говори, а то — упыря! Как завернёшь... Искренне горевали все, как объявили. Ни про какие репрессии ничего не знаю. Все люди — кто на фронте, кто работал. Не слышала тогда, это уж после, сейчас говорят. А тогда — нет, не было ничего. По радио — Русланова с валенками и «Сталин — нашей юности полёт».

Когда объявили — вся страна в горе, ясное дело. В школу пришли, говорят: построиться на траурный митинг памяти нашего вождя, незабвенного товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Как всегда в коридоре все классы. Я в каком? В девятом, пятьдесят третий же. Выстроились, ждём. Так, налево, в торце — раздевалка, так — окна, напротив — классы. Я, Валька, Ирка. Римки не было почему-то. Дома, видать, горевала.

В центре боком к нам — начальство. Директриса, парторг. Пионервожатая. Напротив — так — учителя... Все ревут! Один Александр Иванович Менжинский, литератор, помнишь, я рассказывала, в гимназии раньше преподавал? Вот он — с каменным лицом. И угол рта дёргается.

Не дребезжи! Сейчас-то ясно, что не просто так. А тогда — и мысли не возникало.

Короче. Гул задушенный, плачут все. Тут парторг заговорит, митинг открывает: «Разрешите начать... Огромное горе, постигшее советских людей... Великий вождь великого народа...» — И так далее. И даёт слово директрисе.

А эта... Скифская баба. По коридору, бывало, идёт — сваи каблуками заколачивает. Пиджак сидит, как трансформаторная будка. Не влезай, убьёт! В смысле, на

опорах? Ну, пусть на опорах написано, а не на будках, а у неё на груди горит! И череп с костями. Чуть чего — так шандарахнет, своих не узнаешь. Что ты! Боялись смертельно, ясное дело. Женская ж школа, девчонки одни, как мыши сидели.

Ну и вот. Берёт слово директриса. Чего говорит — не помню. А голос такой — с рыданиями. Начинает вроде своим, женским, высоким, а потом: быбы! Сваливается в какой-то басовый рокот с замедлением, как пластинка на тридцать три оборота, если пальцем придержать. Звук такой: аааоооуууыыы. И я стою: смысла нет, а только картинку и звук понимаю. Голова как череп! Волосы прилизаны, пучок сзади. Челюсть нижняя с зубами туда-сюда ходит, верхняя неподвижная. Ааааоооуууыыы!!! Щёки от слёз мокрые. Вдруг! Блеснуло чего-то под носом. Сопля! Огромная соплица по верхней губе медленно ползёт. Раз! В луче света блеснула. А губа длинная, ползти далеко... Ааааоооуууыыы! А она ползёт и сверкает, как бриллиант. Я — глядь — налево, направо, на Вальку с Иркой! Обе замерли с выпученными глазами. По лицам читаю: видят то же, что и я...

А я уже не могу! Дикий, безумный смех в себе еле сдерживаю! Задохнулась! Не могу-у!!! И не смотрю на выступающих, а всё равно мысленно соплю эту вижу! Гляжу: Валька щёки надула, зенки из орбит вылезли, сейчас прыснет! Ирка с непроницаемым лицом, а сама трясётся мелко-мелко-мелко.

Благо мы во втором ряду всё ж стояли, за спинами — никого. Да и начальство боком расположено, в торец линейки смотрит, где знамя и почётный караул.

Ну и... Рванули в раздевалку, конечно. Влетели — мордами в первые попавшиеся пальто! И давай закатываться. Задыхаемся, руками машем друг на друга, а остановиться не можем! Ужас накрывает. Ужас! Вдруг зайдёт кто? Но не можем остановиться. Истерический смех, ненормальный. Глубже внутрь раздевалки забрались, прямо душим себя, топим хохот в чужом ватине, вроде и успокоимся немного, а как глянем друг на друга — опять!

Еле-еле успокоились, слышим — линейка заканчивается, барабан загрохотал, горн запел, все задвигались расходиться. Ну и мы из раздевалки выскользнули скорей, пока нянечка туда не вернулась. Красные все, растрёпанные, глаз не поднимаем. Удачно в общий поток влились, и — в класс...

Стыдно было, не говорили об этом никогда. Но уж и не забыли, это точно!

Выпускной ничем особенным не запомнился. Платья, конечно! Нет, не белые фартуки с крыльями. Хоть и нищие, а на платья уж деньги выкроили, да и шили-то сами, раз-раз, за ночь и платье. У меня — крепдешин вроде, нежный, букетиками. Вырез — так, и сверху воротничок. Смутно, смутно помню.

Да, и танцы, всё как положено! Шерочка с машерочкой танцы, ясное дело. Но! Разрешено тем, у кого есть кавалеры, пригласить индивидуально. Что ты! У нас ни у кого не было, мы скромные были. Да, Валька тоже! Конечно. И Валька, хоть около неё многие крутились. Валька удирала прямо от одного, который провожал и целоваться захотел. Валя, говорит, поцелуй меня! Ну, Валька и драть, через забор лезть пришлось. Лезла, что ты! Вот такие мы были.

Потом поступали. Пединститут, ясное дело, он и единственный. Ирка — хим-био, Римка — физмат, математика у неё хорошая была, Валька на географию. Ну и я... И — сами не заметили, как взрослая жизнь началась.

Валька, она ж какая? Огонь! И — ухо с глазом. Родители в Германии, её здесь в школе оставили, у одной тётки угол снимать. За партой с Римкой рядом; бывало, как контрольная по математике: «Римка, мне сначала! Мой вариант реши! Мне тройки хватит, а потом себе сама, как хочешь». Римка — тыр, пыр. Деваться некуда. Решает два. А она ж медлительная, да переживает ещё. В результате — три и той, и другой. Валька довольна, Римку дома мать лущует.

Или вот за пять минут до конца урока: «Александр Иваныч, можно выйти?» — «Погодите, Лаврикова, я ещё домашнее задание не дал!» — «Ну Александр Иваныч...» — И глаза свои как закатыт, прям чего с ней сейчас страшное случится. Александр Иванович сморщится весь, очками по кафедре стучит, но отпускает. Ясное дело, понимал, куда Лавриковой надо! В буфет, пока очереди нету. Ну и только звонок прозвенел — а Валька уже за дверью, в руках пирожков вот такая пирамидка. Как подумаю, прямо в глазах стоит. Валька. И пирожки.

У неё какая установка была? Жить богато и с удовольствием. Чтоб всего навалом. Вот прямо будет всё — ковры, хрусталь, квартира, и тогда жизнь удалась. Желательно, конечно, за границу поехать, как родители, а это за военного надо. Колька — сын той тётки оказался, у которой она угол снимала. Курсант. Охмурить — раз плюнуть, только глазами повести. Раз — и всё. Размышлять не в её правилах. Колька — ступенька к мечте, прыг на неё, долго что ли? Может, конечно, и на кого поперспективней метила, но не получилось, этого она нам с Римкой не докладывала.

И — в Германию!!! И в Чехословакию потом. Жизнь — разлюли малина: костюмы кримпленовые, мебельная стенка, ладьи какие-то хрустальные с золотыми ручками. Сервис «Мадонна»! Парик. Парик этот лет в тридцать пять напялила, воронье гнездо какое-то. Но! Производство Германия. Импортный. Отвалите все! Так и не сняла до смерти. Любовники! Всю жизнь. Чего? Как-к-ая нравственность? Вихрь удовольствий. Семья? Причём тут семья? Семья отдельно. Для семьи она — всё: ботинки немецкие, югославский трикотаж. И себе, конечно, вот гнездо воронье. Мужики прямо кидались на него — сами как... воронье это самое.

Колька алкашом оказался. Может, конечно, понимал, чувствовал чего про Валю свою, хотя Валька в этом смысле голову не теряла — вряд ли какие разговоры бы про себя допустила. На партсобраниях — с серьёзным лицом! Руку вверх, не придерёшься. Попробуй кто скажи

чего. Колька пил, отставал по служебной лестнице в силу алкоголизма. Она его дома — и матом, и по мордам, а чего сделаешь? Алкоголик есть алкоголик.

Домой вернулись, квартиру шикарную слепила: своё жильё да материно, мать как раз померла, — четырёхкомнатная в центре города, в новом доме, о таком и не мечтал никто, что ты. А для Вальки никаких преград в этом смысле не было. Ремонт! Обстановка! Закачаешься. И Валька-пава посреди всего. В вороньем гнезде своём. Олег подрастал, в девятом что ль тогда был. А помнишь его в это время? Красоты неописуемой. Рост! Улыбка. Смуглость какая-то нежная и румянец на лице. Улыбнётся — всё в мире отдашь. И отдавали, и мать первая, ясное дело. Он не задумывался, просто брал. Валька вся извелась — военным его хотела и за границу опять же. Но для Олега — воля важней, он за забор и в форму — наотрез: нет и всё.

И вот она его — в пед, в институт культуры, туда-сюда. Туда поступил, оттуда перевёлся — всё получалось. А потом надоело. Взял и пошёл в военкомат. Сам. А чего? Прикольно, сказал... Прикольно ему! Мать в обмороке, но в своём репертуаре: в какую-то элитную часть под Москвой запихнула. А он полгода прослужил, и — заявление в Афганистан! Добровольно. И — фьють! — туда. «Мам, — сообщил, — не переживай, я тут писарем в Кабуле, при начальнике...» Я говорю: «Ну вот Валя, а то ты прямо с ума сходила — посидит там полтора года, вернётся». А она как глянет на меня: «Рай, ты чего... Думаешь, правда, что ль? Что я, своего Олега не знаю?..»

В жизни взгляд этот не забуду.

...Вернулся Олег горьким законченным алкоголиком — хуже Кольки в сто раз. А? Чего говоришь? Да ясное дело, не просто так... Но! Ни одного слова, никогда. Что видел, как воевал... «Кончай, мать, не парься», — вот и весь сказ. Ответ на все вопросы.

Вот и вот-та, головушка моя горькая. Колькины алкогольные гены и война. Жизнь коту под хвост.

Неслось, как... Валька голову не успевала поворачивать: запои, притоны, лечение. Колька совсем с круга

сошёл — плакал тихонько, бессильно, и всё. А Валька всё ж верила, что победит. Зарабатывала, крутилась, кодировала. Когда одного, когда обоих. Олег шатался везде, пил. Он не бессовестный, понимал всё. А сделать ничего не мог. Друзья, бабы... Прямо рвали на куски — всем нужен был.

Чего, чего... Жизнь профуканная, говорю. Вот тебе и портрет поколения. Всё тебе — и юность наша, и Победа, и надежды, и сытая жизнь. Как говорится, вперёд к победе коммунизма, как на каждом столбе писали. Вот Вали уж... сколько? Семнадцать лет нету. Колька первый убрался, а через сорок дней Валя, говорит, хватит мучиться, давай ко мне. И Олег после неё недолго прожил. Они с Колькой посовещались там, видать, и...

Ирка? Самая красоточка из нас. Хрупкая, нежная, глаза... Людмила Крылова в фильме «Сверстницы», помнишь такую? Вот вылитая. А судьба не приведи Господи.

Андронов её как один раз увидел, прямо поразился. И присох! На всю жизнь. Где это случилось, не помню, память отшибло. Но не в школе, это точно. На школьные вечера к нам мальчишки из первой ходили, они — мужская школа, мы — женская. Так положено как-то там, территориально. А Андрон — пятьдесят первая, железнодорожная, что ль? Ну и кодла с ним кой-какая, уже не помню, разные всегда. Как уж там подстраивалось, что мы всё время с ними сталкивались — то на набережной, то на Степана Разина — загадка. Телефонов? Телефонов не было. Жили мы с девчонками в разных дворах. Но как-то там невидимый телеграф работал. Андронов — личность в определённых кругах известная. Что ты! Папа — рубщик мяса на Центральном рынке. Сам такой — не то что красавец, но видный. И кодла — всегда. К нам с уважением, всё порядочно, ни боже мой. Мы знаешь, какие девочки приличные были? Один раз только... Гос-споди, как вспомню. Дуры и дуры! Да мы с Римкой, кто ещё. Вот почему-то именно мы с ней, без Ирки, договорились с Андроновым и его другом каким-то на танцы. В клуб — то ли Знамя труда, а может, Авангард. С ними малолетка пришёл —

чей-то вроде как младший брат. Мне сразу показался... Да ничего не делал! Куплеты какие-то гнусил и плевался всё время. Песенку до сих пор помню, не понравилась мне песенка, как и он сам. Погоди-погоди, сейчас:

— Я усики не брею,
Большой живот имею.
Хожу по ресторанам
И шарю по карманам...

Глупость одна. Но придраться особо не к чему — взяли его с собой, значит, так надо, наше какое дело. Сели в автобус. Народу не очень много, но кое-кто стоит. Пацаны пошли за билеты платить, а Римка вдруг меня — в бок!!! И глазами показывает. А сама уже трясётся. Я смотрю — а этот малолетка! Его рука то есть! Уже у кого-то... В чужом кармане, в общем. Мы обалдели! А тут остановка, дверь открылась. Чего, чего? Драть, конечно! Выскочили, и бежать бегом за угол, к Набережной. Римка отдышалась, глаза вытаращила и давай рассуждать. А вдруг нам показалось? Или, может, случайно? Ага, говорю. Свой карман с чужим перепутал. Дура! И я дура, ясное дело. Попёрлись...

Ну да, дальше. Про Андрона. Только школу закончили — бабах!!! Новость. Они с друзьями чего-то там, без подробностей. Какие-то золотые часы, с кого-то снятые, деталей не скажу теперь. Короче, пять лет колонии ему. Как — много? Конечно, совершеннолетний! Школу аж на девятнадцатом году заканчивали, не забывай! В восемь шли плюс одиннадцать. И потом — кодла его эта... Мы ж не знаем, может, за ними ещё какие хулиганства числились, может, на учёте? Да наверняка.

Паровозом? Это что такое? Как руководитель шайки, всё взял на себя?.. — Может и так, и поэтому много дали. Я ж говорю, подробностей не помню. — Паровозом!!! Что за блатной жаргон у тебя.

Ладно-ладно, не отвлекаюсь. Короче, вышел через год, пять не сидел. Как? А вот так! Всё вам Советская власть плохая. А она — шанс давала, заботилась о малолетних преступниках. Исправляла. Не дребезжи!!! Как

невозможно? Вот Андронов ведь исправился. И — мало того — в такой институт поступил. В Ленинграде! Из нашей провинции. То ли мясо-молочный, то ли консервный, то ли холодильной промышленности. Ирка — да, дома, уж где-то на старших курсах. Наверно, думал, куда не денется, подождёт, пока он там самоутверждается. А это надо было! Как не надо? Ну и вот вышло: у Ирки распределение уже, а он-то ещё студент, да в другом городе. Она по-честному на Кавказ куда-то распределилась, тогда ещё такой моды не было по благу фальшивые открепления делать. Вот она и по-честному... А слабая ж такая, нежная, тихая, Ирка наша. Не успел Андрон оглянуться, как тот *брунет* её и прихватил! Какой? Сейчас, погоди, вспомню. Аварец, вот. Аварец он. Учителем труда в их школе работал. А? Взял нашу красоточку за поводок — и в стойло.

Мы с девчонками, как громом! Ирка! Наша! За... Ты что, Ира, говорим, чокнулась? Совсем того? Или уж любовь какая необыкновенная? стыдобища. А она глаза опустила и тихо так: «Да, конечно. У вас у всех мужья, вы и не знаете, что такое в холодную постель ложиться». Мы так и брякнулись в обморок! Коллективно. Ну хоть бы к Андронову в нехолодную постель, а то — это ж надо! Как студентка была, и без Андрона кавалеров навалом — и лётчики, и из артиллерийского училища. Все жениться мечтали. А она для *этого* себя берегла, видать. Не дребезжи!!! Мало ли что не толерантно! Чего хочу, то и говорю, я же не для прессы... Могу себе позволить, мне сто лет в обед.

Чего-то я... Там таблетки в тумбочке, в синей пачке, принеси. Ффух, погоди. Теперь давление три дня будет.

Чего — ну? Вот и ну. Двух девок родила, друг за другом. Пока до пяти лет — нежненькие, беленькие. А дальше — аварская порода лезет. В плечах раздаются, темнеют. Носы откуда-то берутся! Ирка смотрит, вздыхает. Как придет — ничего не говорит, плавает, как водоросль аморфная. Мы к тётъ Вере: «Тётъ Вера, как так?» А она руками разводит: «Сама ничего не понимаю, слова из неё не выдавишь!» Летом придет с дочками, дышит полной гру-

дью, всё хорошо, а как к 1 сентября назад — ревёт, рыдает, прямо трясётся вся. Орёт в голос, а едет. Раз как-то решила остаться, Андрон всё для неё, на работу устроил, девчонок в детский сад... А к середине сентября муж явился — увёз.

Андронов — да — на всю жизнь по ней с ума съехал. Как это — «не женился»? Очень даже женился, жена, двое детей. А любил Ирку всю жизнь. Да уж знаю, не просто так говорю. Как Ирка летом приедет — он рядом. Он же этот мясо-молочный свой в Ленинграде окончил — и домой. Карьеру моментально сделал. Что ты! Директор мясокомбината, величина. Да... чуть ли не первый человек в городе, у секретаря обкома небось таких возможностей не было. А тут Ирка, чужая жена, что ты будешь делать? Вот и вот-та... На всю жизнь к ней приговорённый. Всё для неё, что мог. Сначала дочек устраивал — она как девчонки начальную школу оканчивали, сразу к матери, домой! Видать не хотела им своей судьбы... Это к твоим предположениям, что она счастливо со своим басурманином жила.

Ну? Вот и ну. Много чего происходило. Сначала тётка Вера ушла, Андрон всё на себя взял — а как же? Ирка приехала — никакая. Потом муж её помер — не знаю, может, намного старше неё был? Ирка здесь оказалась. Вместе они старшую дочку Ирину хоронили — скоротечный рак, терминальная стадия. Внукам помогал. А ей уже, истерзанной, и самой недолго оставалось. Андрон вот и её... А самое интересное, знаешь, что? Не знаешь. Пришли мы с Римкой на Иркины похороны — а там с этого их Кавказа два молодых красавца-мужика приехали, рядом с гробом стоят. Рост! Одеты! Прямо изо всех выделяются. И Римка мне вдруг шепчет: «Рай... А ведь это сыновья его старшие. ЕГО, понимаешь? Точно тебе говорю». И на меня столбняк напал: Римка-то Иркиного мужа хоть мельком и один раз, но видела! Когда он за своей семьёй приезжал. И нам как в голову ударило: Ирка наша — ВТОРАЯ ЖЕНА! И поэтому про свою жизнь — ни словечка... Вот прямо сердцем мы с Римкой почувствовали! Попала к басурманам, и живи по-ихнему. Так ведь?

Конечно трагедия, как не трагедия. Ира, Валя. Казалось бы... Социализм в стране, благосостояние. Да, да. Правильно говоришь, история советского периода. Валька в Афганистан вляпалась, Ирка в межнациональный брак. Жизнь свою погубили, мало на Земле погостили девочки наши. Только веточки живые, слава Богу, от них остались: Валина внучка и Ириных трое. Счастья им желаю и молюсь за них.

Да, мы с Римкой пожили. Работали, как лошади, ясное дело, в школу как с утра войдёшь — к ночи только в полной бессознательности вывалишься. Работа адова, но спасает от всех бытовых бед. Дверь школьную открыл — всё личное забыл. Таков закон.

У Римки всё по фильму «Весна на Заречной улице». Учитель математики в вечерней школе, муж — ученик с производства. Нормальный парень, потом в вечерний институт пошёл. Да разве её мать дала бы хоть с каким мужиком жить! Суровая бабка была Александра Александровна. В войну за спекуляцию отсидела, Римка по родственникам скиталась. Вышла, дворником устроилась, а гонору как у министра. По двору плавала, не здоровалась, сквозь зубы еле цедила. Римке не разрешала с голытьбой водиться, как царской дочери. Ну, а дочь с тоской на нас из окна! Одна радость, что не зажила бабка Александра, только у Римки через неё вся жизнь уже была смятая, как банка алюминиевая из помойки. Молодая разведёнка, самый цвет, а замуж не за кого: с одной стороны, мать, с другой — всех разобрали достойных, свободные одни алкоголики да дураки остались! Любовь же нужна, хоть немного, хоть в молодости, хоть в воспоминаниях: мужское тепло, крепкая рука, смеющиеся глаза. Слова. Слова, только для тебя сказанные. Не было всего этого у Римки. А дочка чудесная получилась — умненькая, спокойная, послушная. «Она вся как тихое лето», — Римка как-то в душевную минуту сказала. Тихое лето. Уронила, и сама забыла, а осталось это в памяти моей. Моей!

Дальше сама всё знаешь. Зять-король, благосостояние. Вечный зуд душевный, беспокойство: не верилось,

что всё наконец-то по-человечески. И бессознательное: нельзя отрываться от своего дома, от детства, от юности. От крошечной квартирki-скворечника с уборной во дворе. Так и стоял этот скворечник до самой смерти Римной, непроданный, а хозяйка из шикарной своей квартиры прямо на его окна каждый день смотрела. И на двор пустой, как кладбище... Потому что не было детства у Римки, а так, лишний рот в чужих семьях, чокнутая мамаша со своим гнётом. И юности не было, и счастливого замужества, и любви. А было?.. Дочка, зять, внучки. Здесь-то всё сложилось. Благосостояние, шмотки. Дары социализма сначала, а потом раннего капитализма. Это было. Я иногда молюсь, когда вдруг нахлынет — прямо слёзы из глаз. Прости меня, говорю, Римма. За что? Да уж есть за что. За то, что в окно на нас с такой тоской смотрела, на нашу дворовую, счастливую, шептунную команду. А как выпросится у матери ведро помойное вынести — мы её задницей в снег! И валяем там. О, Господи. Прости меня, Римма!

Да я ничего... Просто. Просто так слёзы набежали. Просто — вот и Римки нет уже, а я... Сердце её слабее моего оказалось. Это я, выходит, железобетон. За всех четверых одна живу. В окно смотрю — то зима, то лето. Всё вижу, всё понимаю. В эркере сижу, окна в парк. Электросамокаты, доски эти, как их! Да, они. Телефоны. Все идут, в телефоны тычут. Глаза бы не глядели. А голову отвернул, глаза закрыл — всё.

Белые носочки, туфли с ремешком, косы-ленты. Стоим вокруг стола, пластинке подпеваем:

— Ай-о, мама,
Мне под крышей не сидится.
Ай-о, мама,
Не к лицу тебе сердиться...

Проигрыватель в чемоданчике, пластинка на семьдесят восемь:

— Чернокрыла,
Летела птичка,
Пела-пела,
Снесла яичко.

Горсад, билетёрша, синие прямоугольнички в руке. Андрон смеётся, на Ирку смотрит; стрижка полубокс, куртка-москвичка в два цвета, коричневый и песочный.

— Если денег
В карманах куча,
И если ходишь ты
В нарядах лучших...

Красный песок на дорожке, аллея: пограничник с собакой, мать и дитя, футболист с мячом, девушка с веслом, сирень-черёмуха.

— Что в том проку?
Какая польза?
Куда важнее
Друга отыскать!

Пончики с повидлом, с пылу с жару, сразу четыре штуки на гнутой вилке, ай, горячо! Пальцы в масле, повидло текучее. Берите, девочки! Кавалеры угощают. А впереди — жизнь, как эта аллея, прямая и прекрасная, вся в фиолетовой дымке, в сиреневом запахе, лёгкая и сладкая, прямо течёт в рот, как яблочное повидло...

Как? С кем? Когда? Не знали! Знали только, что прекрасное. Любовь! Счастье. Впереди.

А дальше была просто история страны. И Афганистан, и межнациональные браки, и подростковая преступность, и тюрьма, и мужской алкоголизм, и мужская смертность, и бабья работа с утра до ночи, хоть и не в поле, а в школе, всё равно работа до седьмого пота. Жизнь наша, просто жизнь на фоне исторических событий. И мы в ней. Потерянные дети, похороненные мужья. Сталинизм, волонтаризм, застой, перестройка. И чего сейчас — затрудняюсь объяснить.

А память — женского рода существительное. Не мужского же? Всю историю бабы на своих плечах вынесли. Хранитель памяти — я. Женщина. Я! Больше никого в живых не осталось.

Валька, Римка, Ирка...
Я.

Приговор за любовь

* * *

Настольная лампа чётко очерчивала круг на поверхности письменного стола. Очертания комнаты прятались в полумраке. За столом сидела двадцатилетняя Таня Бельская, полгода назад окончившая педагогический институт. Она заполняла аккуратным почерком журналы учёта. Изредка Таня поднимала голову и с тоской смотрела в окно, темневшее чёрным квадратом. Ни звука, ни писка. Глухая тишина. Таня судорожно подтянула ноги под стул. В полуподвальном помещении не так давно завелись крысы. Одну она уже видела. Та совершенно беззастенчиво обнюхивала Танины сапоги, не обращая внимания на присутствие в помещении людей. Таня громко закричала, а когда у неё спросили, что с ней, трясущимися руками указала в угол, где мелькнул крысиный хвост.

Танины коллеги лишь усмехнулись. С новоиспечённым лейтенантом они обращались довольно бесцеремонно. Всю грязную и трудную работу старались спихнуть на неё, полагая, что вновь принятая сотрудница не станет оспаривать выделенное ей место в служебной иерархии. Впрочем, Таня понимала, что никакого места у неё ещё нет. Она не заработала пока ни имени, ни авторитета. То ли дело, сослуживицы — уже носят капитанские погоны, играючи справляются с подучётным контингентом, службу несут исправно. И всё-таки, когда у них появляется возможность спихнуть с себя должностные обязанности, делают это с превеликим удовольствием. Когда все уходили, Таня продолжала сидеть за столом, постигая азы милицейского оформления документов, до судорог

скручивая ноги под столом. Эта привычка появилась у неё в первый же день несения службы. Таня и не подозревала о способностях своих суставов переплетаться в тугую жгут. Теперь ей придётся жить с этим.

Сегодня было совсем плохо. Таня не хотела идти домой. На службе ей выделили комнату в коммунальной квартире. Узкую, как пенал, но с балконом. В жилище имелся лишь один плюс: дом стоял рядом с отделением милиции. Ходу до детской комнаты пять минут. Коллеги по привычке называли инспекцию по делам несовершеннолетних детской комнатой милиции. И Таня повторяла вслед за ними.

С недавних пор милицейское ведомство сотрясали министерские скандалы. В Москве кто-то застрелился, кого-то привлекли к уголовной ответственности. Звучали фамилии, которых Таня никогда не слышала, зато сослуживцы многозначительно подымали указательные пальцы и закатывали глаза, указывая взглядом вверх. Девушка была далека от служебных бурь и стихий. Ей не до министерских склок. Она изо всех сил пыталась постичь науку сложной профессии. Ведь если её уволят, отнимут жильё. Даже такой узкой и не совсем пригодной для жизни комнатёнки не будет.

Таня ещё ниже склоняла голову над столом. Вчера она ушла домой поздно ночью. Утром явилась на службу пораньше, надеясь, что никого ещё нет. Раннее утро выдалось солнечным. Таня улыбнулась. Она теперь так редко улыбается. Жёсткий контроль со всех сторон угнетает. Вчера прошло комсомольское собрание, сегодня инспекторов по делам несовершеннолетних пригласили на партийное собрание в районное управление, а ещё совещание в отделении, в отделе и управлении. Всё, что планировала сделать днём, снова придётся перенести на вечер.

Таня вошла в помещение и замерла. Два инспектора-женщины сидели за столами и что-то усердно писали. Одна подняла голову и рассеянно произнесла:

— Задерживаемся, Татьяна Анатольевна?

Таня прикусила губу — а ничего, что пришла на службу раньше на полчаса? — но промолчала. Она решила отмалчиваться. От всего: от замечаний, от разносов, выговоров, предупреждений и других страхов. Никому на свете Таня не смогла бы признаться, как ей страшно. Она боялась всех и всего. Боялась опоздать, сесть на стул раньше начальства, вымолвить слово против, даже согласиться на что-то и то было страшно.

Вокруг все говорили, что время такое. Полгода назад умер один генсек, второй занял его должность. Все вокруг верили, что именно он наведёт порядок железной рукой. Народ молился на твёрдую власть. И новый правитель оправдал ожидания. С утра всех сотрудников отправляли в рейды по кинотеатрам. Нужно было выявить всех, кто пришёл на утренние киносеансы, потом задержать их, проверить документы, оформить протоколы и выписать штрафы. Всё это проделывалось, чтобы победить тунеядство. Таня и не подозревала, сколько в городе бездельников. Они шатались по городу с раннего утра до позднего вечера. Нет, это не были асоциальные люди: одни работали в вечернюю смену, многие не работали, но отговаривались, что находятся в поисках лучшей доли и заработка.

Сегодня Таню должны были направить выявлять несовершеннолетних, прогуливающих школу, но что-то вмешалось в ход событий. Таня не сразу поняла, что именно. Женщины за столами заговорщически переглядывались, о чём-то шептались. Таня тщательно готовилась к рейду. Положила в папку бланки протоколов, стопку бумагу, положила запасную ручку и карандаш.

Она всегда была собранной и аккуратной. Форма на ней сидела ладно, серая юбка за колено, китель по размеру, свежая рубашка с галстуком. Сияющие погоны на плечах. Волосы убраны в пышный узел. Туфли на низком каблуке, как положено по уставу. Особой красотой Таня не обладала, но в ней таилось что-то неуловимо-притягательное. Никто не мог понять, что за секрет такой. На Таню заглядывались не только мужчины, но

и женщины. Тайна оставалась нераскрытой, поэтому именно женщины изводили Татьяну особенно люто. Просто так. Без причины.

Татьяна повернулась на каблуках, искоса оглядывая себя в зеркале. Всё в порядке. Подростки не прощают мелких недостатков. С ними надо чувствовать себя уверенной на сто процентов, иначе высмеют, и будет ещё хуже. Один из трудных подростков поднял руку на инспектора. Убил мать двоих детей. Советская общественность сплочённо выступила за смертный приговор убийце. Таня присутствовала на собрании, где все подписывались за расстрел. Она тоже поставила подпись, хоть и не совсем осознанно, ведь по советским законам малолетнего убийцу нельзя расстреливать, но судьи признали его особо опасным преступником и приговорили к высшей мере. Всё это не придавало романтизма выбранной профессии.

Таня часто плакала в своей крохотной комнатке, впереди брезжила безысходность и тупик, но Таня держалась достойно. Она вставала раньше соседей, чтобы воспользоваться местами общего пользования — так в ленинградских коммуналках называли душ, туалет и кухню. С кухней ещё можно было справиться, Танин стол стоял в дальнем углу, но с туалетом и душем было сложнее. Бывшая барская квартира, построенная в начале двадцатого века, оборудованная канализацией и по тем временам современными достижениями цивилизации, давно обветшала вместе с достижениями. Мыться приходилось в старой ванне с облупившимися боками. Днище ванны было застелено клеёнкой.

Татьяна всячески скрывала врождённую брезгливость. После первых обходов квартир неблагополучных ленинградцев она поняла, что с выбором профессии жестоко просчиталась. Жители второго города в стране жили неопратно, особенно в центральных районах. Коммунальные квартиры, отдельные, комнатки, полуподвалы, мансарды, чердаки — всё было заселено и уплотнено без стеснения. Люди жили, и не жаловались, радуясь, что

отхватили хоть сколько-то метров у государства. В тесноте рождались дети, росли, выросли, но метры не увеличивались. Городская очередь на улучшение жилищных условий почти не двигалась, но оставляла надежду хоть когда-нибудь устроиться поудобнее, а пока люди перебивались тем, что есть. Неблагополучная среда обитания порождала неблагополучие в жизни.

Татьяна должна была вести профилактическую работу с детьми, подростками и неблагополучными семьями. То есть, с взрослыми людьми, а самой-то всего двадцать лет. Ни семьи, ни детей, ни мужа. Выросла у чужих людей и втайне молилась, что судьба поможет избежать детдома. Вполне счастливый финал, могло быть и хуже. Теперь нужно сделать первые шаги, чтобы не оступиться. Шаг вправо, и ты на обочине. Шаг влево, и ты на дне. Из милиции уйти нельзя. Здесь ты служишь до заслуженной пенсии, либо тебя увольняют. Тогда всё! На работу нигде не примут. Только дворником. Годы учёбы и скитаний можно вычеркнуть за ненадобностью.

Татьяна встрепенулась и пристально посмотрела на своё отражение, не прячась от женщин-коллег. Этот рейд будет очередным, но не последним.

— Татьяна Анатольевна, сегодня из Колпинской колонии освобождается Серёжа Лисиченко. Вам нужно встретить его.

Таня медленно отступила от зеркала. Она ещё ничего и никого не знает, но список подучётных лиц выучила наизусть. Там нет такой фамилии.

— Да, это не ваша территория, — слегка побагровела старший инспектор, рыхлая женщина за пятьдесят с испытанным до багровости лицом. — Это с соседнего участка. Инспектор заболела, ехать за Лисиченко некому.

Бельская прикусила губы. Появилась новая дурная привычка. Скоро от губ ничего не останется. Чуть что, первым делом прикусить самоё себя.

— Слушаюсь, — прошептала Таня и покраснела. Снова невпопад. До сих пор не усвоила служебную этику. Отвечать нужно громко, ясно и чётко.

— Так-то, — улыбнулась старшая. — Мы пройдем по вашей территории. У вас два кинотеатра. Посмотрим!

Женщины отвернулись, оставив Таню пребывать в недоумении. Скомандовали и потеряли интерес. А куда ехать, где эта колония, что с собой брать — не объяснили. Таня почувствовала себя последней тупицей. Спросить не у кого. Впрочем, в дежурной части есть хорошие и симпатичные ребята. Можно спросить у них. Татьяна вышла из инспекции и повернула за угол. Дежурная часть находилась в центральной части здания.

— А-а, наша Таня пришла! — воскликнул дежурный, искренне радуясь появлению молодой девушки. У него за спиной находился «аквариум». В просторечии так называли камеру предварительного задержания. За стеклом корчились пьяные и грязные люди. Мужчины и женщины попеременно. Сильно несло тухлым перегаром и ещё чем-то зловонным.

— Не обращай внимания, Танюша. Только что старуху доставили, а у неё сифилис. Безносая, смрадная, — горько посетовал дежурный, сморщив нос.

Таня пугливо посмотрела на «аквариум» и отвернулась. Если бы не жилищная проблема, ни за что бы не пошла работать в милицию. После пединститута была одна дорога — в сельскую школу, но из города уезжать не хотелось. Приходится теперь платить дорогую цену за целевое распределение в городе.

— Сергей Геннадьевич, мне нужно ехать за Серёжей Лисиченко в Колпинскую колонию, — обратилась Таня к дежурному, — дайте машину!

— Ты что, Танюшка, какая машина? Горюче-смазочные материалы на строгом учёте. Старшина каждый выезд за пределы района регистрирует и докладывает начальнику РУВД, если что не так. Сама доберёшься. Не маленькая! Возьми документы и поезжай! Вот здесь, в папке. А ты в курсе, кто такой Серёжа Лисиченко?

Бельская прищурилась, чтобы сдержать слёзы. Она чувствовала, что попала в какую-то нелепую передрагу.

— Не в курсе, — сочувственно изрёк дежурный. — Это атомная война, а не Серёжа!

Младший сержант, что-то писавший за соседним столом, едко усмехнулся:

— Его весь район знает, еле упаковали когда-то. А теперь он на свободе, значит!

— Не пугай девушку! — прикрикнул дежурный на помощника. — Наша Таня справится. Не бойся, Танюша! Лисиченко, насколько я помню, шкет ростом в полвершка, тощенький, изворотливый. Глазки хитрые. В общем, дитя притона. Ты его не бойся. Они чужой страх нутром чувуют.

Дежурный отдал папку с документами, и Таня вышла из отделения. Солнечное утро не радовало. Сидевшие во дворе мальчишки, заметив её расстроенное лицо, мигом освистали и заулюлюкали. Таня покачала головой и направилась к трамвайной остановке. В Колпино путь долгий. Через весь город. В колонии дальше КП Таню не пропустили. Стерильная чистота в сочетании с унылой обстановкой действовали угнетающе, но Таня держалась храбро. Она уже не боялась малолетнего преступника.

Его специализацией были квартирные кражи. Серёжа проникал через форточки, умудряясь взобраться до шестого этажа. Оттуда его и сняли, когда он пробирался по выступу. Отсидел три года. До восемнадцати лет ему остался ровно месяц. Ничего, думала Таня, месяц пролетит быстро. Не успею заметить. Потом сниму с учёта и прощай, Серёжа Лисиченко!

Дежурный инспектор колонии, полная женщина лет сорока, вышла, оставив Таню в раздумьях. На стенах портреты вождей, плакаты, призывающие подростков в светлое будущее, чьи-то фотографии. Наверное, исправившихся подопечных колонии. Таня хотела подойти, чтобы внимательно рассмотреть повзрослевших колонистов, но в это время дверь открылась и в помещение контрольного пункта вошёл Серёжа Лисиченко. При виде него Татьяна Бельская чуть не умерла. Если бы сейчас

появился граф Дракула, она бы не дрогнула. Но перед ней был субъект, затмивший своим видом всех известных чудовищ. Таня вытянула вперёд руки, словно защищаясь от наваждения. И добро бы, перед ней стояло страшилище. Нет. Совсем нет. Серёжа Лисиченко блистал юной красотой — нервной, тонкой, той самой, особо ценимой мировым кинематографом. Он мог бы быть актёром, моделью, просто красивым юношей, но его глаза смотрели презрительно и нагло. Так смотрят самые последние циники, прожжённые, прожившие на свете не меньше пятидесяти лет. Юноша внимательно осмотрел Татьяну и слегка прищурился, что означало: девушка ему понравилась. Симпатичная. Сойдёт.

— Получайте вашего Лисиченко, лейтенант, пишите расписку, — сказала женщина-инспектор и протянула журнал учёта.

Татьяна выронила журнал, нагнулась, и папка с бумагами выпала из-под мышки. Всё рассыпалось, полетело по углам.

— Дайте машину! — жалобно протянула Таня, пытаясь собрать разлетевшиеся предметы.

— Что вы, что вы! — энергично замахала руками инспекторша. — Какая машина? Одна она у нас, и ту в управление забрали. У них сегодня смотр служебных машин.

Татьяна чуть не повалилась набок. Она не могла представить, как поедет через весь город с этим долговязым юношей, наповал поражающим своей наглой красотой. Как же так? Дежурный сказал, что он шкет, которого из-за стола не видно, а в этом Лисиченко метр восемьдесят росту. И выглядит он не на восемнадцать лет, а на все двадцать восемь. Потрепала его жизнь, нечего сказать.

Татьяна собрала бумаги, завязала тесёмки на папке, выпрямилась и молча направилась к выходу. Одобренный Лисиченко последовал за ней. Женщина-инспектор облегчённо выдохнула. Татьяна смутно помнила, как они ехали. У неё бесплатный проезд, а у юноши нет денег на билеты. Приходилось демонстрировать документы кон-

дукторам, те с восхищением глядя на Татьяну, пропускали их вперёд, не требуя оплаты. До отделения добрались поздним вечером. Начальство разъехалось по домам, в дежурной части было спокойно. Не толпились дружинники, не ругались оперативники, в «аквариуме» находилось несколько человек, вполне себе мирных. Татьяна с размаху бросила папку с бумагами на стол.

— Товарищ дежурный, принимайте вашего Лисиченко! Привезла!

Сергей Геннадьевич мило улыбнулся. Татьяна ему нравилась. Наивная девушка, совсем не знает, что такое милиция. Дежурный вздохнул и покачал головой.

— Не могу принять вашего Лисиченко, Танюша. По закону он несовершеннолетний. Должен находиться по месту прописки.

— Так отправьте его по месту прописки, — не скрывая раздражения, буркнула Таня, очень уставшая от конвоирования.

— Не могу, — засмеялся Сергей Геннадьевич, — квартира Лисиченко опечатана. Его мать неделю назад посадили. Инспекторша как узнала об этом, сразу на больничный ушла. Причём, надолго. Вот на тебя и повесили подростка. Он ведь по закону подросток! Мучайся теперь!

— Да куда же я его дену? — искренне изумилась Таня. — Не домой же мне его брать?

И тут встретила с жадным взглядом Серёжи. Он словно подсказывал ей: да, да, да, домой, домой надо брать. Татьяна нервно передёрнулась. Стало нестерпимо противно, словно её увидели обнажённой посреди белого дня.

— Не знаю, куда ты его денешь, — продолжал смеяться дежурный, — но девать куда-то надо!

От его смеха, от сального взгляда Лисиченко, от решёток на окнах, от синей краски на стенах Татьяне стало дурно. Она пошатнулась, но успела схватиться за край стола.

— По закону мы не имеем права оставлять его на улице. Так что решай, лейтенант Танюша!

Помощник дежурного усмехнулся настолько едко, что это заметил даже Лисиченко. Он грозно надвинулся на сержанта, но тот пугливо увернулся. Татьяна сжала кулаки. Впервые ей стало страшно от собственной несостоятельности. Она ничего не может и не умеет. Да и как можно научиться этому? Таня не понимала, что она вкладывала в понятие «этого». Что входило в него, какие решения, какие действия.

Она оглядела дежурную часть и решительным шагом направилась в подсобное помещение. Там только что прошёл ремонт. Пахло краской и известью. Таня нашла в куче старого обмундирования, приготовленного к утилизации, две потрёпанные шинели и бросила их на пол.

— Товарищ дежурный, Лисиченко останется ночевать в дежурной части. На утреннем совещании я доложу начальнику отделения, и он примет решение, куда определить несовершеннолетнего до достижения им восемнадцати лет. Мой рабочий день давно закончился. До свидания. Утром увидимся.

На прощание Татьяна успела перехватить гневный взгляд Лисиченко. Он смотрел на неё, как свирепое, но тяжело раненое животное. Она его бросала в дежурной части, почти на произвол судьбы. Бельская скривилась и быстрым шагом ушла из отделения.

Ночь прошла спокойно. Дежурный не звонил, значит, всё в порядке. Утром на совещании слышались приглушённые смешки. О вечернем происшествии знали все сотрудники. Оперативники пересмеивались, женщины шептались. Начальник отделения сидел за столом, разбухший от ярости. Татьяна уже знала, что ночью Лисиченко сбежал из дежурной части. И где его искать, никто не знает. Все его дружки разбросаны по колониям, мать в следственном изоляторе, а квартира опечатана. Бельская исподтишка наблюдала за полковником Мишиным. Сейчас начнётся. С одной стороны, она ни в чём не виновата, с другой — провинилась по всем статьям. Подросток ничего не совершал, только что освободился, а что негде его содержать, так в том вины государства

нет. Татьяна улыбнулась. Всё сходится. Наказывать её не за что.

— Лейтенант Бельская, удостоверение на стол! — приказал полковник Мишин, раздуваясь до немислимой степени. Казалось, ещё мгновение, и кровь брызнет из него, как из спелого помидора.

— Не вы мне его вручали, товарищ полковник! — сказала Таня и сжала губы в тонкую полоску. Мысленно она обозначила границу своих возможностей. И поняла, что выдержит испытание на прочность.

— Вы нарушили устав! — продолжал полковник. — Вы не проследили за Лисиченко. И мы не знаем, где его искать. А ведь это спецучёт! Спецконтингент!

— Сама найду, — бодро, но без вызова ответила Таня. — Придёт. На учёт поставлю. Профилактическую беседу проведу. Помогу с трудоустройством. Всё будет исполнено, товарищ полковник!

То ли от того, что Таня разговаривала с ним как с обычным человеком, словно они тысячу лет знакомы, то ли от её лукавой улыбки, но полковник посветлел лицом и успокоился.

— Василий тебе в помощь, — кивнул полковник на оперативника, — а то опять упустишь подростка.

Таня вздохнула. Видел бы полковник Мишин того подростка. Под два метра ростом, красавец-мужчина. Хорошо, что Вася будет напарником. Одной как-то неловко бегать за Лисиченко.

Она оглянулась на Василия. Тот подмигнул. Таня повеселела. Уже не страшно. Есть надежда, что всё наладится. Новый день начался неплохо.

* * *

Они гонялись за Лисиченко вторую неделю. За это время слухи распространились по всему управлению, не только районному, но и городскому. Оперативники откровенно смеялись над бедной Таней, если не сказать больше. Уже все знали, что Лисиченко вымахал в богатыря, но по документам он малолетний недоросток, и за ним

требуется контроль конкретного инспектора по делам несовершеннолетних лейтенанта Бельской. Татьяна не знала, куда деваться от стыда. Василий молча сочувствовал Тане, вслух же обещал разыскать строптивного Серёжу.

— Он ведь почти сирота при живой матери, — объяснял Василий, краснеющей Татьяне. — Ему и жить-то негде.

— А я при чём? — почти кричала Таня, сжимая кулаки. — Это не моя территория!

— Да ты ни при чём, — перепугался Василий. — Территория чужая, но инспектор заболела. Так что это твоё поле. Временно, но твоё. И ты при чём. И жизнь при чём. Судьба! Пошли, проверим чердаки и подвалы.

— Пошли, — покорно кивала Таня и они в очередной раз обходили значные места района, где любили прятаться неблагополучные подростки и ещё более неблагополучные взрослые. Бродили долго, до двенадцати, до часу ночи. Потом шли по домам, молчаливые и измотанные.

С утра не хотелось вставать. Таня вскочила с кровати, мельком взглянув на часы. Кажется, опоздала. Вчера поздно вернулась домой. Быстро собралась. Хорошо, что форма приготовлена заранее. Всё выглажено, вычищено, сияет. С первого дня службы выработалась хорошая привычка: что бы не случилось, всё нужно подготовить к встрече следующего дня, начиная от белья, заканчивая обувью и верхней одеждой. Часто подготовка отнимала драгоценные минуты сна, но утром можно было спокойно нырять в чистое и наглаженное. Таня заплела косу и посмотрела в зеркало. Отличный вид, словно проспала все законные девять часов, а не пять с половиной.

У входа в инспекцию она остановилась. Что-то не то. Что-то случилось.

— У нас пожар был, — устало пояснила старший инспектор. — Только что пожарные уехали.

В помещении пахло дымом, горелой бумагой. Сгорело, впрочем, не всё. В середине комнаты тлели остатки

журналов учёта несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. Это были журналы Татьяны Бельской. Таня тихо заплакала.

— Да не плачь ты, — рассердилась одна из женщин. — И без тебя тошно.

От злого окрика, от неудачного начала дня, от всеобщей безысходности стало нестерпимо горько. Вместо того, чтобы успокоиться, Таня разрыдалась.

— Ооо, приехали! — возмутилась вторая сослуживица. — Началось!

Из-за угла дома выглянул дежурный и крикнул, не вынимая папиросы изо рта:

— Начальник желают видеть. Всех и повсеместно!

Довольный, что удачно сострил, дежурный скрылся. Три женщины, не глядя друг на друга, поплелись к центральному входу.

В вестибюле было шумно и многолюдно. Толпа дружинников, много гражданских лиц, сотрудники из патрульно-постовой службы — все переминались с ноги на ногу в ожидании приказа. Совещание объявили секретным и только для средне-начальствующего состава. Остальные рассосались по коридорам. Таня приготовилась к самому страшному. Она чувствовала нечеловеческое напряжение. Откуда это скотское ощущение вины, если ничего постыдного она не совершила? И тем не менее, стыд выжигал внутренности.

— Товарищи офицеры! — бодрым голосом провозгласил заместитель начальника РУВД. В зале притихли. Перестали сопеть, сморкаться, перешёптываться. Если на совещание прибыло столь высокое начальство — быть беде.

— Товарищи офицеры! У нас в районе ЧП! ЧП, товарищи, в квадрате. На территории района два поджога.

Таня тихо ойкнула. Значит, чувство вины равномерно распределяют по личному составу. Хорошо это или плохо, она не поняла, но приободрилась.

— Какой-то негодяй поджёг дверь квартиры на набережной. И сегодня уже второй случай — поджог инспек-

ции по делам несовершеннолетних в вашем отделении. Это из рук вон плохо! Мы обязаны найти и обезвредить преступника! И сделать это надо в течение суток! Работать будут все, начиная от постового милиционера вплоть до начальника РУВД. Да-да, я не оговорился. Товарищ полковник уже работает по данным происшествиям. Ответственным назначаю товарища Мишина, все доклады через него. Любая информация, представляющая интерес, срочно докладывается в район. И, помните, эти два ЧП на контроле в министерстве!

Застучали набойки, каблуки, зашуршали подошвы. Сотрудники безмолвно заструились к выходу. Никто не кричал, не стыдил, не побуждал к действиям, но сказано было так, что все поняли. К утру надо найти поджигателя. А почему рядовые поджоги вызвали интерес у министра? Об этом все старались не думать. Вызвали и вызвали. Значит, так надо!

И снова рейды, обходы, чердаки, подвалы. Таня уже не боялась крыс — ни живых, ни мёртвых. После восьмого подвала она пошатнулась и с трудом удержалась на ногах. Работа на износ. Почему кто-то решил, что поджигатель сидит в подвале? Или прячется на чердаке? После совещания куда-то исчез Василий. С ним легко работать. Если в подвале она наткнётся на Лисиченко, ей несдобровать. Может, попытаться найти Васю? А как его отыскать? Эх, было бы как в сказке, вытащил из кармана телефон, набрал номер и позвал Василия. И он бы тотчас прибежал. Но так бывает только в сказке. Все рации в отделении наперечёт. Они есть у постовых милиционеров и оперуполномоченных уголовного розыска. Василий тоже из угрозыска, но у него нет рации. Не положена по инструкции. Он с детьми работает. Как плохо без Василия. Таня тихо заплакала. Слезы катились по щекам и сползали за ворот рубашки, щекоча кожу. Таня передёрнула плечами и вздрогнула. Она вдруг представила, как из чердака непринуждённо выпархивает коварный Лисиченко. И слёзы покатались энергичнее. Тане стало страшно.

* * *

Огромный стол подавлял собой всё живое. Составленный из полированных кубов и квадратов, он был готов с точностью снайпера поразить любую мысль, случайно залетевшую в душное помещение, откуда, казалось, был выкачан весь воздух. Тупые углы блестящего чудовища обладали сотней глаз и ушей, насильно проникая в посетителя из другого мира. Здесь царили другие законы. Здесь была другая реальность. Василий униженно втянул голову в плечи. Над столом висел портрет генерального секретаря. Новенький, свеженький, только что из типографии, портрет поражал явной безликостью, но глаза смотрели на вошедшего с привычной суровостью, словно заранее обвиняя во всех мыслимых и немыслимых грехах.

— Присаживайтесь, — неожиданно ласково прозвучал голос из глубины стола. Не утробный голос, не рокошующий. И не обвиняющий. Неожиданно ласковый.

— Спасибо, — прошептал Василий, и робко присел на краешек массивного стула в самом конце конструкции из кубов и квадратов.

— Не туда, сюда, поближе, — слегка раздражённо пропел голос и добавил чуть мягче, — пожалуйста!

Василий, с втянутой глубоко в плечи головой, пробежал мимо стола и неуклюже приткнулся на стул, стоявший сбоку от портрета.

— Правильно, — похвалил ласковый голос.

Василий знал, что в милиции не говорят «садитесь», только «присаживайтесь». Это негласное правило соблюдается с давних времён. Василий вздохнул. Только что назначенного нового начальника районного управления все боятся, абсолютно все — сержанты, старшины, оперсостав управления, и больше всех сам Василий. С одной стороны, чего и кого ему бояться? А с другой — новый генеральный секретарь, тот, что на новеньком портрете, едва «взошёл» на должность, как сразу призвал бороться изо всех сил именно с детской преступностью. Василий борется с ней давно, ещё с молодых лет. Но

победить никак не может. И это его пугает. Сейчас новый начальник перейдёт на грозный тон и спросит, почему в районе выросла детская преступность. Ответа на этот вопрос Василий не знал, поэтому на всякий случай ещё больше втянул голову в плечи и стал похож на карлика.

— Василий Петрович, вы ведь давно в управлении? — поинтересовался голос из-под портрета.

— Давноооо, — неловко взмахнул рукой Василий и задел рукавом какие-то бумаги на столе. Послышалось лёгкое шуршание и Василий тоскливо проводил взглядом полёт бумажной массы. Кто-то писал, старался, потел, а он одним взмахом рукава отправил чужое томление духа в свободное паренье.

— Ничего-ничего, — хохотнул голос, — подберут.

И добавил после недолгой паузы: — Кому надо — подберут!

Василий кивнул в ответ и вздохнул. Его утомляла длительная процедура перед беседой. Новый начальник лица не показывает, прячется в тени, а сам будто издевается. Но не так, как тот, прежний, иначе.

— Василий Петрович, а что это вы десятый год в старших лейтенантах застряли?

Лицо высунулось из тени, и Василий обомлел. Ничего грозного в этом лице не было. Симпатичное такое, приятное, под стать голосу. Василий внутренне приободрился. После прихода нового генерального секретаря из органов государственной безопасности в районы для усиления откомандировали свежие силы. Свежие силы на «земле» слегка оторопели. Работа в районе трудная, выматывающая, грязная. Здесь приходится возиться с сумасшедшими, больными, сифилитиками, преступниками всех мастей, попрошайками, бездомными и, разумеется, тунеядцами. Это вам не государственная безопасность, где законы нарушают сплошь и рядом интеллигенты с бородёнками. Здесь ад.

— Товарищ полковник, сам не знаю, почему, — промямлил Василий и замолчал. Наверное, кадровики затягивают оформление следующего звания. А почему, кто

ж их разберёт. У кадровиков всегда сложности. У них политика превыше всего.

— А я знаю, — сказал полковник и вышел из тени. Выше среднего роста, моложавый, подтянутый, в милиции начальники порыхлее, с животами вперёд. Василий испуганно дёрнулся. А вдруг новый умеет мысли читать? Там у них, говорят, опыты проводят по чтению чужих мыслей.

— Всё про вас знаю, Василий Петрович, — полковник тучей навис над стулом, и Василий ощутил приятный запах импортного одеколona. — Вы скромны, не любите высовываться, очень стеснительны, вот все и пользуются вашей добротой. Поэнергичней надо, поэнергичней. Время требует перемен! Оно не стоит на месте.

— Товарищ полковник, что надо сделать? — глухо произнёс Василий и ещё глубже ушёл в сиденье стула. Ему хотелось слиться с предметом мебели, раствориться в воздухе, так невыносимо было находиться рядом со столом, покрытом густой полировкой. Не стол, а катафалк.

— Рад слышать, рад, что вы понимаете меня, — оживился полковник. — Дело в том, Василий, что в вашем районе — теперь в нашем с вами — завелись поджигатели. И не просто любители костров и пикников, а более изобретательные и ушлые, чем нам с вами хотелось бы.

Василий насторожился. Он знал, что не все правонарушения попадают в сводку. Некоторые остаются за кадром. Что-то случилось, где-то сгорело, а что и где, дежурный оставил для доклада руководству. Это информация не для личного состава. Тут тоже политика. Как у кадровиков.

— Недавно сожгли входную дверь дочери секретаря горкома, она у вас, хм, у нас в районе прописана и проживает. То же самое случилось у секретаря парторганизации завода имени Блохина. А сегодня подожгли детскую комнату милиции. Или, как она теперь у вас называется? У нас...

— Инспекция по делам несовершеннолетних, товарищ полковник! — бодро отчеканил Василий.

— Вот-вот, товарищ оперуполномоченный по несовершеннолетним, — засмеялся полковник и дотронулся до плеча Василия. Это был жест старшего товарища. Жест высокого доверия.

Василий слегка подрос на стуле, понимая, что исчезнуть не получится. Искать пиромана поручат ему, и ещё заставят держать язык за зубами. Но какая связь между дочерью секретаря горкома и детской комнатой милиции?

— Разрешите идти, товарищ полковник? — приподнялся Василий, но был жёсткой рукой возвращён на место.

— Экий вы быстрый! — раздражённо упрекнул полковник и отошёл в тень. Василий вздрогнул. Доверие легко потерять, заново обрести невозможно.

— Товарищ полковник, так я чтобы по горячим следам, — пролепетал Василий и прикусил язык. Лучше молчать в тряпочку. Пусть сам говорит.

— Работайте, но, — полковник помолчал, подыскивая нужные слова, — но, чтобы ни одна живая душа не узнала, кому поджигают двери. Если вы проболтаетесь, я лично вас задержу. Видите, что у меня есть!

Начальник управления подбросил на стол наручники. Яркие, блестящие, как игрушка для подростков. Василий с интересом посмотрел и улыбнулся.

— Разрешите идти, товарищ полковник?

Они помолчали. Василий чувствовал, что не угодил новому начальнику. Тот уже борется с приступом раздражения. Покраснел, побагровел. Глаза выкатились из орбит. Лицо расцвело пятнами.

— Давление разыгралось, — буркнул начальник управления и полез в стол, поочерёдно выдвигая ящик за ящиком.

— У меня есть в-в-валидол, т-т-товарищ полковник, — от волнения Василий начал заикаться.

Комната накренилась и поплыла в подземное царство. Вот так и умирают от инсульта, — подумал Василий и на миг потерял сознание.

* * *

Никто не знал, что пережил Василий в кабинете начальника РУВД. И какой разговор там состоялся. И как детский опер чуть на тот свет не отправился, но полковник его спас, щедро поливая водой из стакана Васину головушку. Всё это тайна. Искать поджигателя двери дочери высокого начальника бесполезно. Выйдя от полковника, Василий уже всё знал, кто виноват, зачем и почему. Начальнику РУВД он ничего не сказал. Утром доложит, когда будет результат.

Василий издали увидел бедную Таню. Он искренне сочувствовал девушке. Жалел её. На кой она попёрлась в милицию. За версту видать, что профнепригодна.

— Ну, не плачь, Таня! Мы сейчас пойдём искать Лисиченко. Заодно проверим адресную программу по пожарам.

Василий развернул огромный свиток бумаги. Рулон размотался почти до асфальта.

— Видишь, сколько у нас проживает лиц, склонных к совершению поджогов. Не ленинградцы, а сплошные пироманы! И Лисиченко — один из них.

— Я его боюсь, — прошептала Таня, умываясь слезами. — Откуда он взялся на мою голову. Это он, он поджёт инспекцию.

Она густо покраснела. Вообще-то, она не была уверена в том, что инспекцию поджёт Серёжа, но из-за него она переживала самые горестные моменты жизни. И сейчас утверждала, что поджог совершил Лисиченко, чтобы убедить окружающих в собственной компетенции.

— Конечно он поджёт, Таня, даже, если не он! — загадочным тоном сказал Василий, и они заспешили в поисках первого адреса.

Иногда они встречали на пути знакомые лица. То постовой встретится, то паспортистка, то районный оперативник. Ещё недавно опера числились штатными инспекторами уголовного розыска, но власть сменилась, и вся служба стала снова уполномоченной, как когда-то.

Усталости у ребят не было, не хотелось есть, пить, посещать туалет. Организм переключился в аварийный

режим и работал без сбоев. Уже совсем вечером парочка следопытов, сносившая до мозолей ноги, решила посетить отделение милиции, чтобы узнать новости. Адресная программа была выполнена. Ни одного поджигателя они не обнаружили. У входа в отделение толпились сотрудники. Одна инспектор по делам несовершеннолетних, вторая, третья... Э, да их тут около десятка. Плотные женщины в кителях и галстуках. Таня поёжилась. Хорошо, что Вася рядом. Он добрый. Заступится, если женщины набросятся.

— Вась, ты где бродишь? — спросила одна из женщин.

— По адресам, по адресам, — усмехнулся Василий. — Враг затаился и не дышит. Мы с пустыми руками.

— Да это Лисиченко поджёт, — усмехнулась вторая.

Таня вскинулась, но промолчала. Почему сразу Лисиченко? Он не мог! Серёжа только что из колонии освобождился. Там с ним проводилась воспитательная работа. В стране власть поменялась, усиление бдительности на местах, повсеместная борьба с преступностью и тунеядством, ну не мог Лисиченко поджечь милицию! Он всё знает про усиление. Ему в колонии для несовершеннолетних объяснили. Серёжу надо найти, чтобы на учёт поставить. Он не способен поджечь милицию.

Таня ничего не сказала. Ей было страшно. Любое слово могло вызвать смех. Она ещё ничего не понимает в людях, чтобы делиться своим мнением. Женщины засмеялись, и столько было в смехе жёсткого удовольствия, что она растерялась. Все устали, лица серые, как смазанные, а эти смеются, довольные. С другой стороны, сгорело только то, что хотел сжечь Серёжа Лисиченко. Таня крепко сомкнула губы. Лучше помолчать. Пусть само собой уладится.

— Таня, иди домой, — сказал Василий, — тебе отдохнуть надо!

— А тебе? — спросила в ответ Таня.

— Я знаю, где прячется Серёжа, но тебе туда нельзя. Потом когда-нибудь будет можно.

В его тоне было что-то такое, от чего Таня внутренне сжалась. С виду неказистый, но в голосе стальная твёрдость. Она повернулась и пошла, чувствуя спиной испе-

пеляющие взгляды доброго десятка разъярённых женщин в форменных кителях.

Этим же вечером Лисиченко задержали. Серёжа прятался в одном из старинных притонов, благополучно переживших все режимы и революции. Юноша сдался Василию молча, без агрессии. Словно ждал этого момента. Серёжа был с детства знаком с опером Василием, уважал его, в проделках сознавался легко. На допросе показал, что поджёг дверь квартиры, потому что был уверен, что там живёт Таня. Да, Таня жила в доме на набережной, но в крохотной комнатёнке, а Серёжа выбрал дверь побогаче, самую красивую. Василий покачал головой и дал ему протокол на подпись. Лисиченко небрежно расписался.

С того дня Таня ходила, прячась от сотрудников, делая вид, что временно ослепла и оглохла. Теперь над ней смеялись все, начиная от помощника дежурного и заканчивая начальником отделения. Она ничего не могла сделать. Что тут скажешь? Нечего сказать.

Через месяц ей позвонила судья райнарсуда Ирина Сергеевна. Она вела дела подростковой преступности.

— Татьяна Анатольевна, приглашаю вас на процесс в качестве свидетеля. Мне нужно вас допросить.

— Не пойду! — разрыдалась в трубку Таня.

— Почему? — удивилась Ирина Сергеевна. — Что вы мне предлагаете? За что я ему вынесу приговор?

— Не знаю, — продолжала рыдать Бельская. — Я ничего не знаю. Я видела Лисиченко всего один раз в жизни. Это не моя территория. Мой участок на другой стороне.

— И что? Что я-то должна сделать? Вы ни при чём. Инспекция ни при чём. Воспитательная колония, вообще, отказывается комментировать. А мне что, за всех отдуваться?

— Я не знааааю, — ещё громче всхлипнула Бельская.

— Ладно! Приговор за любовь. Зато очень красиво. Три года общего режима!

Судья бросила трубку. Татьяна заголосила вслух, благо, в инспекции никого не было. Над ней ещё три дня посмеялись, а потом забыли. А Таня иногда вспоминала эту страшную историю, объяснить которую так и не смогла.

Ламбада

Джанибек

...Стены нашего кафе были стеклянным, от пола до потолка, только одна — кирпичной. Чтобы не били стекла, стеклянные же двери оставили открытыми, и через них ворвались погромщики с улюлюканьем, сметая всё на своём пути. Увидев чаны с заготовками для мороженого и заготовленные вафельные стаканчики — их мы делали заранее, несмотря ни на что, несмотря на предупреждения о грядущем погроме, — потребовали немедленно мороженого в креманках и в стаканчиках и много-много разных коктейлей. И уселись у стойки.

Коктейлей им хотелось цветных и непременно в высоких стаканах, и с соломинкой. Видать, наслышаны были они о нашем кафе-мороженом предостаточно. Мы же, едва сдерживая улыбки, начали их обслуживать как ни в чём ни бывало, как говорится, на высшем уровне, а иначе никто и не умел.

Большинство погромщиков были ребята аульные, и поедание мороженого из креманок, и потягивание коктейлей через соломинку уносило их в бог весть какие дали. Их «главный», сёрпая коктейль через соломинку, непрерывно повторял одно и то же:

— Шешенынде, куштэ! Менде-де болады осындай бар, коресіз, жігіттер!*

— Болады, болады!**

Но оказалось, что главный не этот, а другой, плечистый и с короткой шеей, сидевший на самом краю стой-

* Мать вашу, классно! У меня тоже будет такой бар, вот увидите, парни! (казах.).

** Будет, будет! (казах.).

ки. Он подозвал к себе хохлушку Люду и начал говорить с ней по-казахски:

— Балмуздак барма?*

Он, видимо, надеялся услышать: «Не понимаю!» — И начать уж наконец погром нашего кафе, но услышал в ответ:

— Бар, балмуздак бар!**

И — добавила по-русски:

— Ты-то его сейчас и жрёшь, голубчик!

Ошеломлённый погромщик улыбнулся, сощурил и без того узкие глазки и ответил ей так же по-русски:

— А вы тут ничего такие собрались! Ладно, мы будем вас защищать от всяких там дармоедов, а вы нам будете платить дань каждый вечер, и каждый вечер мы будем есть у вас мороженое.

— Знаешь Чингис-хана? — обратился он уже к корейцу Эдику, только что окончившему истфак МГУ. — Так вот, я потомок его, а ты мой подданный. Понял?

— Понял, — ответил Эдик.

— Ты казах? Глаза-то у тебя, смотрю, ещё уже, чем у меня.

— Нет, я кореец, — ответил, почему-то смущаясь, Эдик.

А глаза у него были и правда уже некуда, хоть спички вставляй.

— А! Это вы торгуете на базаре семечками и арбузами, — оскалился потомок Чингис-хана. — Ну ничего, скоро мы вас всех отсюда погоним.

— Слышал, что мы сделали с хачиками в Новом-Узене? — продолжил он, но тут же осёкся, увидев стоящего рядом Серика с красной папкой.

Прав был Амиран Акакиевич, говоря, что красная папка Серика действует на всех просто-таки магически — каждый принимал Серика за мента в штатском. Потомок Чингис-хана повнимательнее оглядел Серика и, поняв свою ошибку, разозлился.

* Мороженое есть? (*казах.*).

** Есть, мороженое есть! (*казах.*).

— Я тут главный, и зовут меня Джанибек. Обращаться ко мне будете Джанибек-мурза*.

Мы с Эдиком перемигнулись. Его имя и так звучало как властитель, а тут ещё и аристократический титул прибавился. Ого, неплохое начало, подумалось мне.

И мурзу понесло. Наевшись мороженого, насосавшись коктейлей, Джанибек соскочил с высокого стула, схватил со стойки пустой стакан, явно собираясь запустить им в зеркало над стойкой, но тут с улицы на наше счастье забежал чумазый казачонок лет шести и заорал:

— Там хачики дерутся с нашими.

И погромщики вмиг умчались из нашего уютного и милого кафе.

— Мурза с пацанами забыл расплатиться, — сказал Серик, раскрывая папку и делая вид, что вносит обгрызенным карандашом важную запись в свои секретные бумаги. — Ничего, я его ещё достану, он мне не только за мороженое заплатит.

На соседней улице, неподалёку от кафе, шла настоящая битва. В драку уже были втянуты многие жители посёлка. В ход пошли не только дубинки и цепи, но и ножи. Местные тихие менты, относящиеся ко всем по-соседски, не знали как себя вести и что вообще делать в такой ситуации. Они решили вообще ничего не делать. Сели в свой «газик», проложили путь через толпу дерущихся, доехали до своего отделения и там заперлись.

Двух раненых — казаха и армянина, — притащили к нам какие-то тётки. Казахом оказался один из погромщиков, ещё недавно так мирно поедавший мороженое, его пырнули ножом, как потом выяснилось кто-то из своих. Случайно. Он-то и помер потом в местной больнице. Умирая, он требовал, чтобы ему подали мороженое и соломинку для коктейля.

Армянину повезло куда больше — у него была всего-то разбита голова.

* Мурза — аристократический титул у тюркских народов.

— Шнорхакалутюн*, — только и повторял раненый армянин, пока мы обмывали его раны и перевязывали. Благодарил он нас на своём языке, но общался на русском.

Потом раненые начали поступать, словно у нас было не кафе, а пункт первой помощи на поле боя. Мы вскрыли автомобильную аптечку, которую купил Амиран Акакиевич и всё собирался забрать. Тех, у кого были просто синяки, мы не принимали. Или смазывали синяки йодом — кто-то сказал, что это поможет. Йода в аптечке было аж два пузырька. Бинты быстро кончились. Серик оглядел новенькую рубашку корейца Эдика и сказал тому снять рубашку и порвать её для перевязки. Вместо этого Эдик сбежал в аптеку на соседней улице и принёс бинты. Серик был этим даже расстроен — ему хотелось проявлений — понятное дело, за чужой счёт, — героизма.

Несомненно, языком общения был русский, но в «аховых» ситуациях все начинали почему-то говорить на своих языках. Вот и во время погрома весь посёлок превратился в Вавилон. Кричали, стонали на всех языках республик свободных. А вот матерились все по-русски, и лишь на казахском всё время слышалось «Шешенынде!»**

Коран-Эли

Через много лет после Кульсары в одном электронном справочнике я нашла данные по переписи 1926 года. По её результатам в посёлке Коран-Эли было 48 дворов, население составляло 199 человек, из них — 198 русских. Одного записали в разряд «прочие». Интересная национальность.

Мои предки, которые жили в Коран-Эли несколько веков, каким-то образом в переписи учтены не были. Помимо них, в Коран-Эли было ещё много татарских семей. Про них тоже почему-то забыли. Бабушка рассказывала, что дружила с семьёй греков. Греков тоже не учли. А были

* Спасибо! (арм.).

** Мать твою! (казах.).

ещё немцы, так бабушка и её родители называли живших подальше от моря, у самого начала холмов и степи, потомков остготов. Бабушка говорила, что во время войны эти немцы не подлаживались под нацистов, были как все, но вспоминала, что старики у этих немцев ещё помнили свой остготский язык. Совершенно на немецкий не похожий.

Потом всех «прочих» депортировали. И татар, и греков, и немцев, которые были потомками остготов. Коран-Эли зачистили, что стало с теми русскими, которые там жили, мне неизвестно. Когда я побывала на родине предков, то не нашла никого, кто бы сам или его родители, бабки-деды жили в Коран-Эли до войны. Возможно, плохо искала. Был пляж, ларьки с пивом и вином, ресторанчики, ленивое несвежее море. Знаменитый золотой феодосийский песок был грязен, из песка выглядывали окурки, из урн несло подгнившими арбузными корками. Со своим спутником я выпила кислого белого вина, мы съели по порции шашлыка, обсыпанного кружками очень едкого белого лука. Когда пришло время уезжать, на автобусной станции мы сторговались с частником, казавшимся молодым, высоким, с висящим животом и тремя подбородками. Частник был местным, жаловался на отсутствие клиентов. Мы уже ждали, что он запросит высокую цену, но он согласился на предложенное нами и безропотно повёз нас почти через всё побережье, почти к Севастополю. Он рассказал, что его бабка приехала в Коран-Эли, сменившее после войны название на Береговое, из Воронежской области с тремя детьми. Дед погиб на войне, от дома оставалась лишь печь и погреб, в котором и жили. Здесь его мать вышла замуж за участкового, здесь частник и родился.

Мы попросили показать его нынешний дом. Он указал на видневшийся вдалеке трёхэтажный кирпичный. Мы спросили про дом, в который поселилась его бабка. Он сказал, что тот дом не сохранился, что отец, участковый, старый дом снёс, построил на его месте новый. Мой спутник спросил, знаю ли я, где был дом моей бабушки? Я ответила, что нет, разве что бабушка часто вспоминала

шум ручья, вид на море, персиковые деревья. Частник сказал, что мы едем в противоположную сторону от ручья, что ручей теперь не впадает в море, а пополняет озеро на территории пансионата.

— Развернуться? — спросил частник.

— Нет, пожалуйста, не надо! — сказала я.

По дороге частник рассказал, что только его бабка была вдовой простого солдата. Все прочие, кто получал направление в Коран-Эли, были или вдовы энкавэдешников, или сами сотрудники органов. Мы ехали по узкой дороге, водитель легко шёл на обгон, его руки спокойно лежали на рулевом колесе. Оно упиралось ему в живот. Меня укачивало. Я думала о том, что сюда, на расчищенное место, приехали люди с холодным сердцем и чистыми руками, они сами или их родственники. Это был успешный опыт селекции. Нет, не Мендель, мушки-дрозофилы, лже-наука генетика. Здесь всё прошло по академику Лысенко. Так мне позже объяснил мой друг профессор-генетик. Он сказал, что в науке Лысенко потерпел полный крах, а в социальной жизни победил. Ему виднее. Я не сильна в генетике. Меня только всегда поражало то, какие безличные и некрасивые новые названия давали тем местам, которые веками имели свои. Все эти Краснознаменски и Гвардейски, Солдатовы и Ленинские призывы. Краснобогатырские, Лазурные. И Береговые. Отнять имя иногда значит даже больше, чем убить, не помню — кто это сказал. И возвращать Береговому имя Коран-Эли не надо. Для живущих в нём, приезжающим сюда полежать на песке с окурками и съесть жёсткого шашлыка, сгодится и нынешнее имя.

Серик

Выпускник МГУ Эдик, вернувшись из аптеки с бинтами, имел неосторожность заметить, что русский мат пришёл не из тюркских языков. Все прямо застыли с открытыми ртами. Ведь давно стало как-то привычным —

мат принесли на Русь татары, те, которые были в монгольском войске. Мат и азиатчину, понимаемую в широком смысле — произвол, продажность, власть силы. До татар всё было идеальным. Войну начинали словами «Иду на вы!» Все ходили в белом, девушки в венках, молодые люди в чистых рубахах, подпоясанных ремешками с серебряной нитью.

— Вон, кричат же матюгами казахи на своём языке: «шешенынде», а по-русски это и будет «мать вашу», — сказал Эдик. — Да и все остальные слова звучат иначе.

— Ты тут не понтуйся, умник, — осадил его Серик. — Лучше пойдёшь и вымой пол. Видишь все кровью залито?

А на полу было немало крови. Пострадавшие во время погрома испортили наш пол. Их разная, по группам и по национальностям, кровь местами смешалась в единые лужицы.

— Я только что защитил диплом истфака, а ты мне говоришь, чтобы я мыл полы! — обиделся Эдик.

— А ты хочешь, чтобы я, выпускник милицейской школы, мыл полы? — обозлился Серик. — Взял тряпку, ведро и бегом.

Эдику ничего не оставалось, как подчиниться. Он знал, что с этим выпускником милицейской школы лучше не связываться, хотя Эдик мог в два счёта его уложить. Эдик был не типичного для корейца огромного роста, да к тому же обладателем чёрного пояса каратэ. Серик же был маленьким, с кривыми ногами, толстым и некрасивым. На большой лысой голове Серика имелось родимое пятно, и за это он получил кличку «Горби». Если Серик замечал, что кто-то рассматривает его родимое пятно, то начинал злиться. Тех, от кого он слышал слово «Горби», ненавидел. Больше всех он ненавидел того же «Горби». Ненавидел за то, что Михаил Сергеевич затеял Перестройку, за то, что остался без работы, вернее без работы остался его тесть, а Серика тут же уволили с огромным удовольствием. Буквально на следующий день. Уж больно он был всем противен. Обвинял Серик Горбачева во всех своих бедах. Даже за то, что Ал-

лах никак не хотел дать ему сына, а только дочерей. Пять дочерей!

Глазки у бывшего милицейского сержанта были маленькие и абсолютно круглые. Но взгляд этих глазок был колкий, обжигающий, и никто, кроме Амираана Акакиевича, его не выдерживал. Серик имел некоторые связи местного значения, да и те благодаря родственникам жены, отец которой был когда-то председателем поселкового совета. Но Серика боялись — боялись менты, боялась шпана.

Амиран Акакиевич за это и держал его при себе, понимая, что толку для бизнеса от Серика никакого, но для острастки Серик вполне годится. Официально его должность звучала «заместитель директора». Серик тут же, для солидности, потребовал у хозяина красную папку и «козлика» для передвижения по посёлку. Папку Амиран Акакиевич выдал с преогромным удовольствием, а вместо «козлика» посоветовал передвигаться на верблюдах, благо их в окрестностях водилось вдоволь.

В нашей интернациональной команде — хоть мы все и были очень разные, но, как говорил наш Амиран Акакиевич, чертовски обаятельные и добрые, — Серик очень сильно выделялся. Он был злым и угрюмым. Пьянел от двух стопарей, но бузил так, что даже Амиран Акакиевич порой его побаивался.

— Ничего-ничего, — говорил хитрый сван, — врагов надо держать рядом. Его ж никто не берёт в свою команду, даже со своими ментами он не уживался, нам он будет по гроб жизни благодарен, а за красную папку делает, что хочешь для нас, хотя, что он может-то, бедолага!

...Когда Амиран Акакиевич приехал в Кульсары, чтобы вступить во владение кафе, то первым, с кем он познакомился, сойдя с поезда, был местный милицейский начальник, капитан милиции. Этот капитан помог с оформлением нужных документов и свёл с нужными людьми. Звали капитана Марсель.

Кафе

Кафе перешло Амирану Акакиевичу в счёт карточного выигрыша. Выигрыш был велик, проигравший — из серьёзных уголовников. Играли вчетвером, двое других тоже были уголовниками, такими же серьёзными. Проигравший мог спокойно не отдавать карточного долга, мог просто убить Амирана Акакиевича, до которого ему, конечно, дела не было никакого. Но проигравшему надо было держать марку перед своими. Которые якобы и затеяли всю игру, чтобы проверить кореша на соответствие законам чести. Амиран Акакиевич для них не был всё-таки фраером. Но не был и своим, хотя был человеком известным. С ним знали люди из Нефтегазгеологии, из облисполкома, его приглашал поохотиться на сайгаков главный областной милицейский начальник. Всех денег у проигравшего не было, и он предложил Амирану Акакиевичу кафе в посёлке Кульсары.

Кооперативное, но кооператив принадлежал проигравшему. Кафе приносило одни убытки. Персонал воровал, не стеснясь. Уголовник наказал кое-кого, но воровство не прекратилось. Теперь кафе стояло закрытым, а располагалось в помещении, построенном вовсе не для предприятия общественного питания. Ничего этого уголовник не сказал. О том, чтобы получить весь выигрыш, предлагалось забыть, но об этом никто не должен был знать. Разговор шёл с глазу на глаз. Амиран Акакиевич и проигравший вышли на лестничную клетку, якобы покурить, хотя за игорным столом и курили, и выпивали. Водочка. Балычок. Икорка.

Амиран Акакиевич, понятное дело, согласился. Они вернулись за игорный стол почти лучшими друзьями.

О соглашении знала только Сонька. Теперь, получалось, секрет был доверен и мне. Этот секрет был посильнее секрета с куском пересаженной с задницы чёрной кожи. Сонька говорила, что в Кульсарах оставались бывшие работники прежнего владельца — Амиран Акакиевич переделал кафе, где жарили шашлыки и наливали

водку, в кафе-мороженое, — и среди них был кто-то, кого оставили следить за перешедшей к Амирану Акакиевичу собственностью. И по возможности не допускать какого-либо ущерба. Некоторые из бывших хотели устроиться на работу к Амирану Акакиевичу. За кого-то просил сам уголовник — мол, человек бедствует, семья, детки, — но Амиран Акакиевич смог каким-то образом отказать. Сонька же советовала смотрящего на работу взять. Соглядатаев надо держать под рукой. Амиран же Акакиевич говорил, что они проявятся сами. Правда, когда в Кульсарах случился погром, никто из соглядатаев не проявился. Все попрятались. Справляться с погромщиками пришлось нам самим...

Наше, точнее Амирана Акакиевича, кафе находилось в десяти минутах ходьбы от пятиэтажек. Через пустырь, мимо вагончика — «Опорный пункт охраны общественного порядка», — мимо хозяйственного магазина, где на втором этаже было ателье, мастерская по ремонту бытовой техники, а за магазином, в синем приземистом бараке — видеосалон.

Шик по-кульсарински — в видеосалоне было два зала. В одном — вечные бруссы ли и греческие смоковницы, в другом — детские мультфильмы. Тот, что с мультфильмами, давал хорошую прибыль. На пустыре было несколько загонов. В маленьких жили козы, принадлежавшие по большей части жителям пятиэтажек, в большом — сбивались в кучу похожие на ожившие комочки пыли пугливые овцы. Овец уводил пастись в степь придурковатый отставной милицейский старшина Арман. Он был чёрный-чёрный, глаза узкие-узкие, удивительно белые ладошки, белые зубы и вечный смешок — «кхе-кхе-кхе!» Арман был и за сторожа, говорил, что его контузило бандитской пулей, а на самом деле, выпал из люльки мотоцикла, когда ехал на станцию за голландским спиртом во время горбачевской борьбы с алкоголем. Арман упал на дорогу, прижимая к груди две бутылки. Они не разбились. Да и голова в общем-то осталась цела. Только на затылке Армана выросла большая шишка,

которая потом несколько уменьшилась, но волосы на ней расти перестали, а сама шишка стала малиново-красной...

...Кафе называлось незатейливо — «Солнышко». «Куннушко» ласково называли его местные, что в переводе с казахского и означает солнышко. Вернее, «кун» — это солнце, а русский уменьшительно-ласкательный суффикс образовался как-то сам по себе.

Местный художник, который делал афиши для видеосалона, взялся оформить и кафе, и начал с вывески. Удобно расположившись во дворе, он стал выписывать большие, красные буквы на фанерном листе. Когда вывеска была готова, я увидела, что мороженое написано с двумя «н», на что ему и указала, но художник ответил, что я не права и что никаких ошибок в написании нет и быть не может. Амиран Акакиевич сказал, что умеет писать только по-грузински, а русским владеет только разговорным, ну и немного знает английский, потому как всегда может отличить классические «Мальборо» в мягкой пачке от «Честерфильда» в твердой. Все остальные же сказали, что с двумя «н» смотрится солиднее. Выпускник истфака МГУ Эдик сказал, что с грамматикой у него не очень, но он знает точно, когда отменили крепостное право на Руси. «Ты, блин, нам ещё про монгольское нашествие расскажи!» — зашикали все хором на Эдика.

Так и осталось наше кафе-мороженое с двумя «н», никто этого не замечал, даже Сара, выпускница то ли философского, то ли филологического отделения. У неё к сдвоенным согласным было своё, трепетное отношение. Никто также не обратил внимания и на то, что художник накануне сделал афишу к фильму, написав «Одиножды влюблен».

Торжественное открытие нашего кафе состоялось в жаркий, апрельский день. Открывали с размахом. Перерезание ленточки, шары, сирень и тюльпаны, за которыми в цветущую степь сгонял Эдик с придурковатым Арманом. Всё местное начальство с аксакалами пришли

на наш праздник. Все чумазые детишки были одарены соломинками для коктейлей. Первая порция мороженого в вафельных стаканчиках раздавалась бесплатно. Ламбада, любимый танец жителей одной шестой планеты Земля, оглушала верблюдов и коз, мирно пасшихся неподалёку. Ламбада стала гимном Перестройки. Во всех городах, деревнях, посёлках городского типа, а теперь и в аулах, ламбада объединяла людей, доставляла невероятную радость, сравнимую разве что с радостью пацанов из аула, которым доставались соломинки для коктейлей, через которые они посасывали дома и свой национальный напиток — куже*. Рис вечно застревал в соломинках, но они ловко его оттуда выдували и продолжали дальше наслаждаться жизнью.

Ламбада уносила жителей Союза в неведомые дали. Все становились в круг, положили руки на плечи впереди стоящего, и начинали выписывать эти невероятные восьмёрочки задницами. Ламбада давала какое-то ощущение свободы, ещё не совсем понятной, далекой, едва уловимой, но свободы, они понимали, что что-то останется уже в невозвратном прошлом. Но что они оставят там, в доперестроечном мире, никто не знал.

Амиран Акакиевич, когда глядел на танцующих ламбаду, вспоминал своё детство в далекой Грузии, и у него всегда наворачивались слёзы. «Когда я был мальчишкой, мы с отцом как-то были в ущелье и слышали, как конское ржанье разносилось над горными вершинами, а потом видели, как лошади галопом мчались через перевал и спускались к озеру», — рассказывал он какому-то местному жителю, слегка захмелев от выпитого и от радости, которую он испытывал, открывая своё кафе. «Вот, когда я вижу танцующих ламбаду, я всегда вспоминаю этих несущихся галопом лошадей. Почему? И сам не знаю, — продолжал он изливать душу плохо понимавшему его мужику. — Они, когда танцуют, становятся такими же независимыми, как те лошади».

* Напиток из варёного риса с кефиром и прокисшим молоком.

Но мужик его не слушал, он потягивал через соломинку молочный коктейль, глядел на задницы своих земляков, на верблюда, который важно разлегся недалеко от танцующих, — казалось, что даже верблюды и те не могли уже обходиться без ламбады. И был вполне счастлив. Из услышанного от Амирана Акакиевича мужик кроме слова лошади, ничего и не понял...

Дело потихоньку налаживалось. Мы научились делать отменные вафельные стаканчики на очень дорогом немецком оборудовании. Кореец Эдик раздобыл кучу рецептов и смешивал превосходные коктейли. Вечерами он для нас готовил коктейли с алкоголем. За эти коктейли Эдик как-то раз был похвален аж самим Сериком. Амиран же Акакиевич со свойственной ему иронией сказал: «Если Серику хорошо, то и нам пойдёт. Продолжай, сынок, в том же духе». Эдик соперничал со мной — мои вафельные стаканчики выходили такими хрустящими и поджаристыми, и запах у них был такой сногшибательный, что Эдику приходилось пыхтеть над коктейлями и придумывать все время что-то новое.

Мороженое шло на ура, что в стаканчиках, что в креманках. Коктейль был в диковинку, к нему привыкали, не понимали. Принюхивались, как говорил хозяин нашего кафе. Но коктейли очень любили дети. Их манили цветные соломинки, высокие стеклянные стаканы — после пиал, оно было и понятно — они так важно поглощали напитки, приготовленные Эдиком, но уходили всегда с моими хрустящими стаканчиками, наполненными мороженым, которое так щедро выдавливал из другого немецкого механизма наш бармен, аварец Гаджи, за что не раз получал нагоняй от Амирана Акакиевича.

Малхаз

В благообразном облике высокого крепкого Малхаза иногда проступал какой-то невидимый изъян. Аккуратный, скупой Малхаз был брезглив, после каждого руко-

пожатия подолгу мыл руки с мылом. Лишь после рукопожатия Амирана Акакиевича он руки мыть опасался. Он вообще Амирана Акакиевича побаивался. Побайвался его полукриминального круга картёжников, связей с ментами, заискивал, боясь потерять того, кто легко мог разрулить любую, самую сложную ситуацию, и со всеми мирно договориться.

Малхаз был очень подозрительный. Ему казалось, что все вокруг что-то затевают. Шепчутся, обговаривают направленные против него козни. Кое-кто считал это осторожностью, но Амиран Акакиевич был убеждён, что подозрительность Малхаза не что иное, как тупость. И в глаза называл Малхаза тупым. Малхаз в ответ улыбался — мол, как это я тупой, если у меня всё тип-топ, и видеомэгнофон я купил раньше всех?

Если бы не раннее брюшко и намечавшаяся плешь, Малхаза можно было бы назвать красавцем. Нос прямой, глаза большие и сверкающие, губы полные. Когда Малхаз выбривался начисто, он становился похожим на глянцевого молодого человека с висевшего в подсобке плаката с рекламой одеколона «Богарт». Сходство было поразительным, вот только в подсобку имели доступ не все, и когда Амиран Акакиевич как-то назвал Малхаза Богартом, Малхаз обиделся — мол, Амиран, друг дорогой, забыл как меня зовут? — а прочие не поняли — кто такой Богарт, почему Богарт?

Малхаз считал себя честным, открытым, добрым. Мне вот никогда не доводилось встречать людей злых, которые признавались, что они злые, глупых, соглашавшихся, что глупые. Тут то ли какой-то сложный механизм, то ли хитрая маскировка, то ли просто свойство человеческое. Наоборот — самые злые всегда убеждены, что они добряки, глупцы — что они умницы. И любят поговорить об этом. Малхаз же так часто распространялся о своей доброте, открытости и честности, что стоило ему сесть на своего конька, как вокруг образовывалась пустота.

Если бы о погроме как о предстоящем событии объявили по радио, по центральному или республиканскому

телевидению, Малхаз не поверил ни одному слову. «Врут! — сказал бы он. — Отвлекают внимание!» Если бы рассказали вернувшиеся из школы дочки — их было три, худющие такие, Малхаз, как и Серик, очень хотел сына, — если бы вернувшаяся от соседки жена, то Малхаз бы только кивнул, сложил бы на животе руки и начал бы крутить пальцами. Что означало — ну-ну, всё вы врёте. Если бы о погроме сказал кто-то из тех, с кем Малхаз делал дела, то он бы подумал: эти хотят обвести вокруг пальца, распускают слухи, строят против него заговор, цель которого одна — поживиться за счёт Малхаза, отнять нажитое тяжёлым трудом.

Такие люди как Малхаз доверяют одним им известным приметам. Чему-то, что другие не видят и не слышат. Или чему-то, что могут распознать и другие, но чему такие люди придают свои, особенные значения.

За несколько дней до погрома в воздухе разлился какой-то особенный аромат. Пахло в Кульсаргах чем-то странным. Чем-то горьковато-пряным, с нотами шерсти, сухих цветочных лепестков. Через много лет похожий запах я ощутила в бедуинской палатке, куда нас пригласили выпить чай, пока бедуины и водитель джипа пытались выпрямить левое переднее крыло — при езде по руслу высохшей реки мы врезались в скалу, крыло как-то так изогнулось от удара, что заклинило колесо. Чай был очень крепкий и, мне показалось, солённый. Я отпила глоток и вспомнила Малхаза. По какому-то признаку Малхаз увидел, что и я ощущаю тот запах. Неясную угрозу. Для меня она всегда исходит от любого человека с оружием. Бедуины и водитель не могли справиться с крылом. И тут подъехал тяжёлый джип с увешанными амуницией военными. Они спросили: «Что случилось?» — достали маленький специальный домкрат, выпрямили крыло, дружески нам помахали, и уехали. И запах — хотя это были очень расположенные и добрые солдаты, — ушёл...

Тогда Малхаз даже спросил: «Чем пахнет, а?» — и отвернулся почти сразу — разговаривать с женщинами он

считал ниже собственного достоинства, разве что сквозь зубы, отдавать распоряжения...

...Я спрашивала бабушку, каким был тот запах, что разлился по Коран-Эли перед тем, как солдаты выбили дверь её дома? Получалось, что таким же, горьковато-пряным, с сопутствующими нотами. Но почему так пахло в бедуинской, продуваемой жарким ветром палатке? Почему этот запах насторожил Малхаза, считавшего батона Иосифа величайшим правителем после царицы Тамары, щёлкавшего пальцами — мол, всё вы врётё, — если кто-то при нём говорил о депортациях?

Мне этого не понять, я знаю только, что Малхаз, уловив тот аромат, решил действовать и нашёл экскаваторщика, который был прикомандирован к одному из кульсаринских СМУ. Срок командировки давно закончился, но куда-то запропастился водитель трейлера, и экскаваторщик проводил время в бытовке, где или спал, или закусывал водку зелёным луком и воблой.

Несмотря на скупость Малхаза, они быстро договорились. За двадцать пять рублей, порцию шашлыка и тарелку харчо в «Бригантине» экскаваторщик согласился завести экскаватор и поехать в степь. Малхаз ехал впереди, указывая дорогу. Правда, он не знал где остановиться. Он сидел за рулем «Москвича»-каблучка, всматривался в катящиеся по степи перекати-поле, в перламутровое волнение ковыля. Вдруг впереди показался участок словно выжженной земли, почти идеально ровный, круглый. И Малхаз остановился. «Здесь!» — решил он и открыл дверцу «каблучка».

Ковш экскаватора легко вошёл в землю, и через каких-то сорок минут была готова объемистая яма. Да ещё с пандусом, по которому Малхаз загнал «каблучок», вылез из ямы и скомандовал: «Засыпай!»

Обратно они ехали молча. Экскаваторщик поглядывал на Малхаза и думал, что этот тип может запросто убраться его, экскаваторщика, как свидетеля. Мало ли что он там оставил в своём закопанном в степи «каблучке»!

Малхаз же запоминал дорогу, не надеясь найти свой «каблuchок» по следам от протекторов экскаватора.

Утром следующего дня объявился водитель трейлера и экскаватор вместе с экскаваторщиком покинули Кульсары. А ещё через два дня случился кульсаринский погром. Когда всё успокоилось, Малхаз нанял четырёх землекопов и на старом бортовом ЗИЛке поехал откапывать своё добро. И не нашёл. Оказалось, что таких круглых участков словно выжженной земли разбросано по степи немало.

Так где-то в степи и по сей день похоронен принадлежавший Малхазу «Москвич»-каблuchок, гружённый всем самым ценным: два ковра, позолоченные серебряные ложки, телевизор «Шарп», видеомагнитофон «Акай», кассеты с Брюсом Ли и «Звёздными войнами», диснеевскими мультфильмами и эротическим фильмом «Греческая смоковница». Жена Малхазу не сказала ни слова. Дочки очень были расстроены. Малхаз спрашивали: «Где „Москвич“-каблuchок?» — «Продал!» — «Зачем покупаешь видик? У тебя же уже есть!» — «Надо! Дочкам!» — «Зачем покупаешь телевизор?» — «Дочкам...» Только Амирану Акакиевичу он признался, что запутался в выжженных участках, что с землекопами пришлось расплатиться, да те выкопали в степи четыре огромные ямы, а деньги взяли за пять.

— Ну, князь, ты точно Богарт! — сказал Амиран Акакиевич.

— Ну, какой я Богарт, Амиран! Откуда ты это взял? — и Малхаз чуть не расплакался.

Запахи

Понять, что означает предшествовавший погрому аромат, мне помогла генетическая память, которая передается, как объяснил через много-много лет один приятель, специалист по молекулярной генетике, по ещё неизвестному науке механизму. Присутствовавший при

разговоре психолог высказал предположение, что по такому же механизму передаются и юнговские архетипы. Генетик и психолог начали спорить о вещах, в которых я слабо разбираюсь, но подумала, что действительно — такая память у меня имелась. Переданная мне от бабушки. Через маму, понятное дело.

Обонятельная индивидуальная память у меня сильна. Я помню запахи детства, комнат старого дома, в котором мы жили. Помню, как пахла квартира моего друга-соседа-одноклассника Кирилла: книгами, газетами, журналами, старыми географическими картами, которые собирал его отец. Самый сильный запах детства — это запах керосина зимой, на базаре, и запах пыли после дождя.

Запах керосина вызывает в памяти добродушного горбатого, с лицом испещренным оспинами, Гариполлы-аги. Он много лет сидел в лавке при Большом базаре в центре города. Сидел на бочке с керосином, беспрерывно курил «Шипку». Гариполла дошёл до Берлина, домой вернулся героем. Весь город им гордился. Неизменный чёрный пиджак на застиранную майку, на пиджаке — орденские планки и медаль «За отвагу». Приволакивал ногу. Когда кто-то ужасался, что он курит «Шипку», прямо в лавке, на рабочем месте, Гариполла-ага успокаивал — мол, керосин не бензин, могу прямо в бак кинуть окурочек, ничего не будет. Очень смуглый, морщинистый, носатый, Гариполла-ага говорил на всех языках. Каким-то образом определял национальность любого из покупателей. К нему обращались по-русски, а он отвечал на родном языке обратившегося. Причем даже если родной язык был русский, но человек был, по рождению, скажем, узбек, Гариполла-ага говорил с ним по-узбекски. Его часто не понимали, он же качал головой — мол, стыдно не знать своего языка, ай-ай.

Помимо керосина, Гариполла-ага благоухал шипром. Выливал на себя каждое утро по половине флакона. Брился каждый день, по утрам, но к вечеру его впалые щёки покрывались пегой щетиной. Когда не было покупателей — а керосин покупали все меньше и меньше, —

Гариполла-ага выходил из лавки, натягивал на гладко выбритую голову кепку с пуговкой, вставал на самом солнцепёке. Это он называл точкой корректировки. Так или несколько иначе назывались те позиции, которые Гариполла-ага со своими товарищами занимал во время войны, с которых он вёл корректировку артиллеристского огня. В самом конце войны то ли сам Гариполла-ага, то ли кто-то другой что-то напутал, и артиллеристы, те самые, которым Сталин дал приказ, вдарили по своим же корректировщикам. Гариполла-ага выжил, долго лежал в госпитале. Медаль «За отвагу» он получил за ту самую путаницу. А ещё, помимо ранений, контузию, из-за которой временами терял слух и ему приходилось читать по губам. Так он и по губам читал на всех языках. Когда Гариполлу спрашивали — откуда он знает языки? — пожимал плечами. Закатывал глаза кверху — мол, это дар, дар свыше, хотя ни в какого бога Гариполла не верил, говорил, что если бог и есть где-то там, в выжженном солнцем степном небе, он бы не допустил и миллионной доли того, что довелось Гариполле увидеть во время войны. Да после неё тоже. «Мы казахи не должны убивать других», — вздыхал он, сидя на бочке с керосином. А однажды, дождавшись когда уйдёт последний покупатель, бросил окурочку любимой «Шипки» в бочку с керосином — и сгорел вместе с лавкой...

...Это случилось весной, когда задул казахский хамсин — бескунаки. Правда, хамсин сопровождается жарой — и это буря песчаная. Бескунаки наоборот связаны с резким похолоданием и снежной бурей, которая начинается после полторы-двух недель тёплой и сухой погоды. Но между ними есть что-то общее, скажем, головная боль, которую вызывает и бескунаки и хамсин, желание лечь, накрыться с головой, и спать, спать.

С бескунаками связана легенда о пяти братьях, которые по весне, когда ещё не расцвели тюльпаны, отправились в далёкий аул навестить родственников. Но в пути в жаркий, апрельский, солнечный день их вдруг настигла снежная буря, сменившаяся затем бурей песчаной. Все

братья погибли. С тех пор каждый год, перед тем как должны расцвести тюльпаны, начинаются сначала снежная, потом — песчаная бури, которые продолжаются несколько дней. Затем идут дожди, и степь становится красной от буйства тюльпанов и маков.

Во время бескунаков отменяли занятия в школах, да и за невыход на работу никому не попадало. Транспорт стоял, не видно ж ничего вокруг. Когда буря стихала, все молили о дожде, но дождь всё не шёл и не шёл. Наступала жара, пыль стояла в безветрии столбом, не оседала, все задыхались. Дождь всегда начинался почему-то ночью — долгожданные капли неторопливо стучали по крыше, словно извинялись, что потревожили, что разбудили, что задержались, но набирая уверенности, усиливали и усиливали натиск. Дождь знал, что его ждут, знал, что уже никто не сможет дальше спать. Знал, что все сейчас распахнут окна, побегут на улицу, буквально визжа от восторга, и подставят ему лица.

Между оконными рамами и на подоконниках скапливался песок, и когда окна распахивали, капли дождя его смачивали. Умопомрачительный запах мокрого песка смешивался с запахом пыли и долго висел в воздухе, дурманящий, сладкий, пленявший свежестью, напоминавший о ещё холодной реке, о мокром речном песке, из которого мы в детстве строили крепости, и в каждой крепости комендантом был Чапаев, да, тот самый, утонувший значительно выше по течению.

Взрослых этот запах раздражал, они торопились смести песок с подоконников, мыли окна, подметали улицы, поливали асфальт из шлангов. Но запах этот оставался в памяти ещё долго, до зимы, когда приходили другие, не менее любимые запахи. Запах керосинки — когда газовые баллоны от мороза переставали вдруг работать, и начинались бесконечные споры: может ли замёрзнуть пропан, на котором пекли калачи и жарили рыбу, выловленную в проруби, или нет. Это были мирные запахи тепла, уюта и покоя, запахи очага и дыма, молока и хлеба. Они не вызывали тревоги, не говорили об угрозе. И ты их помнишь

всю свою жизнь, если даже не обладаешь обонятельной памятью. Просто помнишь и всё. Ты их можешь вообразить, случайно услышать, тебе покажется, что вот же был запах, как тогда на твоей кухне, в морозный, зимний вечер и песчаная буря пронесётся в твоей голове, но нет же, тех запахов ты больше не услышишь. Их просто нет, они остались там, в детстве, в другом городе, в другой стране. Можно даже сказать — в другой жизни.

Запахи сегодня другие. Они отталкивают, что хочется зажать нос и бежать. Это запахи тревоги, озлобленности, запахи, которые мешают людям улыбаться и окрикнуть на улице знакомого, и рассказать им запросто о своём женихе, пусть даже и закончившем семнадцать профессиональных училищ. Запах дорогого парфюма напрягает, страшит, он показывает, что человек стоит на ступеньку выше или же несчастный из последних сил хочет таким казаться, и им не хочется ничего рассказывать, с ними не хочется ничем делиться. Разве что соврать, что ты только что вернулся из очередной заграничной командировки, и как они, эти командировки, тебе надоели, что ты лучше бы вскопал огород на шести сотках. Запахи стали невыносимые: садится рядом с тобой в метро провинциальная тётка, вылившая на себя флакон поддельной Шанели номер пять или девятнадцать, и воняет так, что её хочется убить. Не знает она, как раньше пахло в метро. А это уже мой запах юности, когда впервые, спустившись в метро, я остолбенела от этого запаха, я не могла его ни с чем сравнивать, не было никаких ассоциаций, он ничего не напоминал — в моей голове поселялся новый запах — но он не тревожил. Я люблю *тот* запах метро, я его помню. И ни одна тётка со своей Шанелью не выбьет его из моей головы. Я могу закрыть глаза и услышать *тот* запах. Лёгкий запах резины, запах, исходивший от колёс при торможении, запах шпал и лёгкие-лёгкие ароматы от пассажиров. От *тех* пассажиров московского метро, приветливых, вежливых, с тем ненавязчивым, лёгким московским запахом. От них шла добрая волна, она заставляла соответствовать настоящим москвичам. И эти

запахи всё сидят и сидят в моей голове, и это мои запахи. Я не могу ими поделиться и не могу их забыть.

Выйдя как-то из метро на станции «Сокол», я попала под летний, проливной дождь, бежала под этим дождём, но что-то мне мешало, и я всё время останавливалась, и вдруг, когда дождь резко закончился, я услышала тот запах детства, запах, который мог быть только после песчаной бури и дождя, после него. Песок, тюльпаны, маки — всё пронеслось в моей голове, а перед глазами возникли пять братьев, одетые в дорогие расшитые халаты-шапаны, в ичигах с кожаными калошами, в лисьих шапках поверх тубетеек, возлежащие на овчинных тулупах. С тех пор на «Соколе» иногда я слышу запах детства...

Берия

Бабушка вспоминала вагоны, вагоны для скота. Разбухшие от коровьей мочи, доски, ссохшееся на них, почти окаменевшее коровье дерьмо. Вонь самих вагонов, вонь невымытых человеческих тел и страха. От привычного запаха родного дома до этого ужаса — всего-то прошло несколько часов.

Вспоминала — да, но рассказала обо всём, думаю, не обо всём, конечно, — только однажды. Когда я приехала на свою практику, про которую бабушка сразу догадалась, что она и не практика вовсе. После случившегося в Кульсарах, после работы в «Солнышке», в конце лета я вернулась в Москву. В сентябре бабушка умерла.

Она говорила, что просто почувствовала запах угрозы. Где-то далеко заревели моторы грузовиков, солдаты начали чистить гуталином сапоги, повара открыли крышки котлов походных кухонь. Это случилось за сотни километров, эти запахи смешались, поднялись кверху, их подхватили порывы ветра, того, что дует у самых облаков, и верховой ветер понёс их навстречу тому ветру, что дул со стороны моря, потом запахи выхлопов, готовящихся к построению солдат, подгоревшей каши смешались с запахом моря, степи и стоявших на горизонте гор.

Это и заставило бабушку собрать два мешочка. В один она положила семейные драгоценности: старинное кольцо с бриллиантом, жемчужные бусы, одинокую серёжку, серебряный, но сломанный браслет, несколько давно лежавших в тайнике советских золотых червонцев и скрученные в трубку облигации. Зачем-то положила несколько швейных иголок и нитки.

В другой мешочек — семена трав, которые сеяла каждой весной, — укропа, петрушки, кинзы, базилика. Но бабушка не догадалась положить ни в один из мешочков документы. Не положила она свидетельства о рождении детей, бумаги на дом, на землю.

Но забирали их без документов, да и предъявить какие-либо документы никто никогда не требовал.

— Мы мирно спали, когда пришли солдаты, — рассказывала бабушка. — Солдаты, совсем ещё мальчики, пихали нас в спины прикладами, подгоняли, орали, чтобы мы поскорее собирались. Называли фашистскими подстилками, мужчин избивали на глазах детей. Нам ничего не разрешили с собой взять — ни еды, ни одежды. Хлеб, который был испечён с вечера, забрали себе. Наверное, они голодные очень, пронеслось у меня в голове. Но они вообще не стеснялись, брали всё: и еду, и какие-то вещи запихивали в свои мешки, думая видимо, что нам уже ничего не понадобится. «Сейчас во дворе расстреляют», — успела подумать я, но нас не расстреляли. Нас погнали, погнали в том, во что мы успели одеться. Я лишь успела схватить собранные по наитию мешочки. По дороге мешочек с драгоценностями я отдала своему брату, думая, что так будет надёжнее.

Помню, я спросила бабушку: «Кто были эти солдаты?» — Мальчики-то понятно, все солдаты могли тогда казаться бабушке мальчиками, хотя в 44-м она сама была ещё молодой, но какие именно мальчики? И бабушка ответила, что среди солдат не было русских.

— Те, что выгоняли именно нас, были или грузинами или евреями.

— Как?! Почему? И как ты поняла, что они грузины или евреи?

— Не знаю. Трудно теперь сказать. Почувствовала. Один из них был похож на твоего нынешнего московского ухажёра, того, чью фотографию ты мне показала. Он же еврей?

Мой московский друг, мой возлюбленный был евреем. На фотографии он был длинноволосым, в очках, с бородкой. Я представила его себе коротко стриженным, в полевой форме, с винтовкой. Бабушка сказала, что у тех солдат были погоны с тёмно-синим кантом, погоны войск НКВД. Я представила его в гимнастёрке с такими погонами.

— Но зачем? — спросила я. — Зачем было посылать выселять нас грузин или евреев?

— А это Сталин. Он всех со всеми хотел поссорить. Замарать...

— Прямо-таки сам Сталин?

— Или — Берия. Я его, кстати, видела как раз тогда, когда нас выселяли. Мы шли семь километров, от Коран-Эли до Феодосии, мимо проезжали грузовики, набитые такими же, как и мы ничего не понимающими, видимо, их везли из более отдаленных мест. На вокзале было полно народу, площадь, платформа — везде сидели и стояли люди, даже присесть было негде. Весь день стояли под мелким дождём. Вокруг автоматчики и пулеметы с готовыми стрелять расчётами. В нас всё время целились, видимо, чтобы нам было ещё страшнее. Потом началось какое-то оживление, солдаты засуетились, расчистили проход. Шло несколько автоматчиков, а между ними человек в генеральской форме. Невысокий, плотный такой, голову вниз опустил, а руки скрестил так за спиной, как наш сумасшедший дядя Вильям, когда воображал, что он председатель колхоза. Помнишь?

Я помнила дядю Вильяма. Наш дядя Вильям был очень добрый.

— Зашептали, что это, мол, сам Берия. Да, он был лысый в очках, но в лицо-то я его не знала. И тут состав стал подходить к станции. И этот состав издал такой истошный звук, он как-то неожиданно заревел. И этот страшный,

пронзительный рёв слился с рёвом людей. Стоял такой страшный вой, словно голоса людей силу отчаяния силились заглушить, заткнуть, перекрыть этим зловещим гудком, силой ненависти. Заплаканные женщины, дети, старики. Да что там старики-дети — мужчины плакали и стояли с бессмысленным выражением глаз, с растрёпанными волосами, ничего не понимая. И мне хотелось кричать, но крик застревал в моей глотке. Хотелось орать, но не получалось. И лишь беззвучно катились слёзы по щекам. Я и потом много раз в казахской уже степи силилась закричать, но ничего не выходило. Только слёзы катились по щекам, как и тогда, много-много лет назад. Я так и не знаю, почему. Наверное, когда ничего не понимаешь, то даже не получается закричать. Ори не ори, проку всё равно никакого. Нам было стыдно. Стыдно за себя, стыдно за тех, кто это с нами делал. Но самое ужасное было в том, что мы ничего не понимали и нам никто ничего не объяснил и не объяснял. Потом нас называли врагами, предателями. Мы оказались почему-то самыми предательскими, ну всё же, наверное, не только мы. Ты же знаешь наш прекрасный двор, кого только там не было, правда? И что все они были предателями, врагами? Да нет, конечно же, не были. Вспомни немку Эмму. А Валя-ингушка? Ты можешь себе представить, чтобы эти люди были врагами или предателями?

Да, я помнила, что в те времена в наших краях жило много крымских татар, немцев, греков, корейцев, болгар, ингушей, балкарцев, чеченцев. Ох, как дружно мы все жили, и как соседи ценили и любили друг друга. Я сказала об этом бабушке.

— Да, мы так жили, — говорила бабушка. — Но это был не наш выбор... Последнее, что я увидела, оглянувшись в последний раз на свою землю, так это маленького мальчика, такого кучерявого с каштановыми волосами, с огромными печальными глазами, который, видимо, в суматохе потерял своих родителей. Он держал в руках какую-то куклу с оторванной головой. Он не кричал и не плакал, а просто стоял и смотрел. С тех пор я не могла

смотреть на детские игрушки, а куклы вызывали какой-то ужас.

— А вот, оказывается, откуда у меня такая нелюбовь к куклам, — подумала я. — Всю жизнь играла с пацанами, прыгала со второго этажа в песок, бегала по крышам, играла в футбол, гоняла на велике. Но в куклы никогда не играла.

— Этот мальчик всю жизнь стоял у меня перед глазами, снился каждую ночь. Я чувствовала вину перед этим кучерявым мальчиком, который остался стоять там один на перроне, также ничего не понимающий, потерявший свою маму, только безголовая кукла была у него, только она...

Бабушка сама потеряла одного из своих сыновей-близнецов. Через много-много лет его удалось найти в Таджикистане. Он был офицером-пограничником. Он приехал в наш город. Но был какой-то чужой, с затаённой обидой на бабушку. И на брата-близнеца у него была обида — тот жил со своими, а его приютила русская семья. Лишь с моей матушкой он по-прежнему общался тепло, словно они никуда и не уезжали, словно не расставались на десятки лет. Моя матушка была старшей и единственной дочерью среди восьмерых братьев. Лишь на нас, племянников, рождённых на казахской земле, у него не было обиды. У этого потерянного сына была воистину несчастная судьба, судьба потерянного ребёнка: после 91-го он куда-то переселился со всей семьей, мы вновь его потеряли. Говорили, что они, убегая от моджахедов, каким-то образом оказались в Крыму, я пыталась его разыскать, но никаких следов не обнаружила. Его брат-близнец всю жизнь тосковал о потерянном брате, а бабушка тосковала по морю...

От берега моря — в степь

...И этот, в очочках, которого все и я в том числе, приняли за Берию, махнул рукой, и нас начали грузить в вагоны. И дальше мы слышали только стук колёс, мчался

и мчался, и мчится этот ненавистный, ревущий состав, увозящий нас от нашего дома, от нашего солнца, от наших ветров, от наших садов, от нашего моря... Да, в казахских степях тоже было много солнца, тоже дули ветры. Но солнце было беспощадное, сжигало всё вокруг, ветры дули с такой силой, словно хотели выдуть все наши воспоминания... В степи не росла даже трава, не было деревьев. После наших цветущих садов в степи было нестерпимо. Вот твои прабабушка и прадедушка этого не вынесли и умерли друг за дружкой в 45-м году — прабабушка на День Победы, а прадедушка ровно через месяц. Похоронили их в казахской степи. Не было даже досок, чтобы написать имена. Мы на каких-то бумажках их написали, год и место рождения, и бросили эти бумажки в могилы. Нам потом так и не удалось даже найти это место. Беспощадный степной ветер сдул их могилы с лица земли...

— Берию расстреляли, — зачем-то сказала я.

— Как это? Не может быть! Я же его видела в Феодосии! — хитрила бабушка.

— Нет, потом, когда Сталин умер...

— Ну, уж конечно не за то, что они сделали с нами, — сказала бабушка. — За это никто не ответил. И не ответил. А за что его расстреляли?

— Не притворяйся будто не знаешь, что его расстреляли.

— Я не притворяюсь!

— Он был шпионом. Английским.

— Правда? Не может быть!

— Может!..

Семена в чужой земле

...Да, нас везли как скотину. Было тесно, детей брали на руки и подносили к маленькому оконцу, чтобы те могли глотнуть свежего воздуха. Было холодно, дуло из всех щелей, дети орала от голода, старики молча сидели по

углам. Туалетов не было. Совсем не было еды. Потом на какой-то остановке наши старики пожаловались, и нам дали какую-то бурду. Всё отдавали детям и молодым девушкам, чтобы выжили хоть они. Многие умирали. Когда умер мой брат — он носил партизанам еду, за это его немцы и покалечили, покалечили так, что спина у него не распрямлялась, он словно всем кланялся, — солдаты его выкинули из вагона в канаву у насыпи... Но никто не плакал. «Так не поступают люди, — причитали старики, — не поступают, даже собак хоронят». Но кому были адресованы эти слова? Всевышнему, который забыл про нас, дьяволам, которые запихали в вагоны?..

— Всевышний, который про кого-то забывает, не Всевышний.

— Забывчивый всевышний, очень даже возможно... Нас привезли в город, некогда заложенный как деревянный острог русским купцом и его сыновьями. Выгрузили из вагонов. В окружении конвоя мы просидели весь день на пустыре рядом с вокзалом, никто с нами не заговаривал, и мы не понимали — что будет дальше. Поздним вечером за нами приехали какие-то казахи, с ними был какой-то лихой начальник, в кожаной куртке, с жиденькой бородкой, который бойко командовал всеми. Ехали в полной темноте, не имея понятия куда...

Высадили в голой степи. Когда начало светать, то мы увидели несущееся на нас какое-то огромное, круглое чудище. Только потом мы узнали, что это было единственное растение в тех краях — перекасти-поле. И тут вдруг из-под земли стали появляться люди. С дочерна загорелыми и обветренными лицами, в длинных халатах, в ичиговых сапогах. Мы тоже выглядели как оборванцы. Увидев нас, они застыли, пытаясь понять, кто мы такие и откуда взялись вообще на их земле. Когда с обеих сторон нашлись старейшины, то нашёлся и общий язык, очень быстро начали понимать друг друга. Когда им рассказали, что мы татары и нас Сталин пригнал в эту степь, то казахи отвечали, что Сталин хороший, и он не мог просто так взять и пригнать людей в степь. «Хороших

людей в степь просто так не погонят! — заявил один старейшина. — Что это вы клеветеете на товарища Сталина? Сталин — друг Ленина, а друг Ленина не может плохое делать с людьми!..»

...Несколько лет мы жили в землянках, и нам нигде не были рады... Всех подготовили основательно — нас называли предателями, фашистами. Это потом было понимание, потом нас начали жалеть, выслушивать, а хуже всего было в первую весну. Пока привыкли к их воде, к их климату... А голодному человеку и подавно трудно привыкать. Многие одежду с себя продавали, пальто можно было обменять на чашку крупы.

Когда нам худо-бедно удалось наладить отношения с местными, то стало немного легче. Казахи постепенно стали привыкать к нам и уже не смотрели как на врагов, начали делиться с нами своими небогатыми пожитками. Поили детей кумысом, иногда приглашали и на бешбармак. Нам же пришлось всё бросить, — бабушка надолго замирала, и мысли её были где-то далеко-далеко, — дом, лошадей и дойных коров, — продолжала она, встрепенувшись, — и прекрасный фруктовый сад. Сундуки, набитые красивейшими тканями, медные тазы, в которых я и твоя прабабушка так любили варить варенье. Вся утварь осталась лежать на полках, не понимая, поди, почему это мы их бросили. А мы и сами ничего не понимали...

...Нам удалось соорудить нечто вроде шалашей. Пригодился и мой мешочек с семенами, они оказались ценней всех богатств мира. А мешочек с драгоценностями так и остался в кармане пиджака моего брата, которого выбросили солдаты из вагона... Засеяли мы эти семена в землю без всякой надежды на урожай, но надо же, случилось чудо — у нас получилось. Семена дали всходы — не зря мы их так оберегали от солнца и ветра, накрывая своими платочками, рискуя получить солнечный удар, поливая их последней каплей воды, которой с нами делились казахи. Они поначалу смеялись над нами: «Как овцы и верблюды едят траву, посмотрите — они едят траву!» А теперь самый ароматный ряд на базаре — травы —

и торгуют казахи. Быть может, в этих травах что-то от тех, которые взошли от привезённых мною семян...

Переправа

...Бабушка не любила ездить в общественном транспорте. Не любила чужих прикосновений. Это у неё так и не прошло. После вагонов для скота. Когда ей изредка, но всё же приходилось ездить в автобусах, она почти умирала. Она так могла посмотреть в глаза ненароком прислонившегося к ней человека, так взглядом передать своё отвращение, что люди от неё тут же спешно отодвигались. Она предпочитала ходить пешком, зная, что её не растопчут и никуда не увезут с другой, чужой, но любимейшей новой родины.

Если ей нужно было перебраться на другой берег реки — мы жили в Азии, самый большой и хороший рынок был в Европе, — она нанимала лодку, 50 копеек в один конец. Вечно поддатый лодочник, удящий посреди реки рыбу, был ей милее всех.

— Эй, балам, отвези меня на тот берег! Мне надо на базар! — кричала бабушка.

— Сколько? — отзывался бодро лодочник.

— Пятьдесят копеек!

— Мало, — орал лодочник. — Три рубля, тогда и отвезу.

— Туда-сюда рубль! — хитрила бабушка. — Заберешь меня через два часа, а за это время наловишь судачков. — Будет у тебя и бутылка и закуска.

— Ладно, — соглашался лодочник. — Отвезу. Ты только купи мне на базаре мормышки.

— Куплю, балам, куплю тебе мормышки, обязательно куплю, — отвечала на всё согласная бабушка. Лишь бы не ехать в общественном транспорте.

Но это была всего лишь игра. Бабушку знали все лодочники и рыбаки, она сходилась с ними очень легко. Да и денег они с неё не брали, она просто оставляла на дне лодке рубль или полтинник.

Лодочник не прижимался, не жаловался, не задавал вопросов. С лодочником ей было хорошо. Болтали за жизнь, радовались хорошему дню. В лодке она ощущала какую-то свободу, наслаждалась, пока её сограждане давили друг друга в под завязку переполненных автобусах; усаживаясь на нос лодки, опускала босые ноги в воду и уносилась куда-то. А на обратном пути бабушка бросала в сумку свежих судачков или сазана от лодочника. Она скучала по морю и не любила синий цвет. Он напоминал окантовку погон солдат, пихавших её в спину прикладами, верх фуражек офицеров, махавших перед её лицом пистолетами, говорила: «Хорошо, что море не синего цвета, а то, глядишь, и на море осерчала бы...»

Компьютерный Христос

Три подружки, депортировано-выселенные, выброшенные когда-то из своих домов, Надя-татарка, Валя-ингушка и Эмма-немка, жили в одном дворе. На всех троих была одна кличка, Инета, ингушка, немка, татарка. Говорили, про каждую и обо всех троих: «О! Инета пошла!» — а они не обижались, только хохотали и шли себе дальше. Правда одна злобная соседка Броня-литовка ненавидела всех троих и каждую по отдельности. И добавляла к их прозвищу букву «Ж» и получалось Жинета. Буква «Ж» у Брони означала «жидовка».

— Зачем ты так напрягаешься, Броня, — говорила ей моя бабушка. — Ведь в Инете есть буква «Е», пусть это и будет еврейка.

Но Броне нужна была непременно жидовка. Броня была исключением, её саму вообще никто не любил. Она ходила вечно пьяная и обозленная и завидовала троиче. Семья Брони сгинула где-то в сибирских лесах. Инета на Брони не обижалась, прекрасно понимая её злобу.

Но Эмме доставалось от Брони больше всех. Это она была и жидовкой, и лярвой, которая легла под немца. Муж у Эммы был поляком, но по ошибке его записали

немцем, и он тоже попал под раздачу. Вале и Наде было полегче — они были мусульманками, Надин дед был даже муллою, успевшим, к счастью, умереть давно, в середине тридцатых, в своей постели, ни разу, что удивительно, не арестованным, разве что мечеть в Коран-Эли закрыли, а книги вывезли куда-то, в неизвестном направлении.

Я помню, очень хорошо помню Эмму, Эмму Миллер. Закадычную подругу моей бабушки. В комнате Эммы, над кроватью висело католическое распятие и компьютерный портрет Христа. В комнате мужа — православная икона, которую Эмма зачем-то подарила мужу на день рождения после долгих разговоров с православным священником. Отец Эммы был человеком очень религиозным, крещённым в католическом храме в Уфе, где бывал наездами по работе. Мать же всю жизнь была неверующая, но в конце жизни захотела, чтобы её отвели в синагогу. Сохранилась фотография, на которой у мамы Эммы выражение лица как у компьютерного Христа. Эмма была очень-очень красивая, но только хромая. По маме Эмма была еврейка, по отцу — немка. Чудны твои дела, Господи...

Шкаф

До конца своих дней бабушка ругала и тех, кто ушёл к немцам, и тех, кто покорно шёл в вагоны. Злилась, что никто не сопротивлялся, что не раскачивали вагоны, что не набросились на солдат на перроне, стрелявших время от времени в воздух для острастки. Я сказала, что тогда бы их всех перестреляли.

— Пусть! — сказала она в ответ, посмотрела долгим взглядом — и замолчала.

Она всегда говорила, что лучше сразу принять неправильное решение, чем долго принимать правильное.

— А вот мы тогда не приняли вообще никакого. За нас всё приняли, за нас всё решили, а нам оставалось только шагнуть. Вот и шагнули... — говорила она.

Все в моей семье были задавлены страхом, боялись сказать лишнего не только чужим, но и самым близким, родным. Из этого столько пробелов! Если из бабушки можно было что-то вытянуть, то матушка была сущим партизаном — ни-ни, ни слова. Всё складывалось из ничего. Из каких-то когда-то услышанных, оборванных фраз. Из тонких, невидимых нитей, связывающих с прошлым.

Только однажды, когда я уже выросла, мне удалось кое-что вытянуть из бабушки. Вкратце, бегло, с большой неохотой — мне даже показалось, что она рассказывала мне об этом, лишь бы я к ней не приставала больше со своими расспросами. Думаю, что многого не договорила, скрыла. Не вдавалась в подробности. Признаюсь, всё время, пока я её слушала, меня мучил один вопрос, единственный, как они справляли нужду? Но спроси я тогда бабушку об этом, она бы замкнулась, никогда бы больше не поделилась пережитым. Или просто умерла от ужаса воспоминаний.

Ещё в детстве я подслушала её разговор с подругой Эммой.

Спряталась в шкафу, боясь быть разоблачённой. Половину из того, что они говорили, не понимала. Бабушка временами переходила на татарский, Эмма — на немецкий. Ни та, ни другая этого и не замечали. И друг друга понимали: Эмма родилась в Казани — там, правда, другой татарский, — неподалёку от бабушкиного дома в Коран-Эли были несколько домов крымских немцев. А я мучилась, сидя в шкафу, и злилась на них. В школе преподавали на русском, во дворе я говорила на русском, дома по требованию бабушки говорили на русском. Но другие языки жили рядом. Мне так не хватает многоязычия.

Часто звучало слово «евреи». До этого я слышала лишь песню «...под трамвай еврей попал...», и никак не могла понять, что или кто всё-таки попал под трамвай, почему кругом одни евреи, но спрашивать у кого-то, если что не понимала, не любила. Всегда сама доходила до всего, и как-то обо всём узнавала сама.

— Вот, Надя, — обращалась Эмма к бабушке. — Ты говорила, что когда вас выслали, то один из солдат, что зашёл в ваш дом, был грузином, а другой евреем. И что, ты должна теперь ненавидеть всех евреев и грузин?

— Ты моя лучшая подруга и задаёшь мне такой вопрос, — заводилась бабушка. — Разве я когда-нибудь говорила, что ненавижу грузин или евреев? Ты же сама наполовину еврейка, а наполовину немка. И как я тебя люблю, моя дорогая.

— И я тебя люблю, Наденька, — отвечала Эмма. — Только...

— Что?

— Только страх не проходит.... Под утро всегда просыпаюсь. Слушаю — не поднимается ли кто по лестнице...

Они пили чай. Эмма хрустела хворостом, шумно раскусывала кусочек пилёного сахара. Вкусно прихлёбывала из блюдца. Шутила — я, мол, купчиха.

Её отцу впаяли срок ещё в первую паспортизацию просто за то, что немец. Сначала был Северный Казахстан, посёлок Айдабул в Акмолинской области. «Айдабул» в переводе означает давай, мол, рули.

— Мне можешь не переводить, — говорила бабушка.

— Извини...

— ...Вот и порулили дальше, всё время рулили и рулили. Потом позволили вернуться, но в Казань не получилось, и мы попали накануне войны в Саратов, а рядом была республика немцев Поволжья. И вот девятого сентября за подписью Молотова вышел Указ, что все немцы Поволжья должны погрузиться в вагоны. Нас выковыряли из Саратова, нашли энкавэдэшники. Все эти коменданты, уполномоченные. Почему им давали за ту гнусность, что они с нами делали, боевые ордена? Медали «За боевые заслуги»? Никогда этого понять не могла: идёт такой, фуражка с синим верхом, на груди орден «Красной звезды»...

...И мы вновь оказались в Акмолинской области, в Кокчетаве. Почти все спецпереселенцы были немцами.

Несчастье всех объединило, но была одна семья Кнау-бов — наши соседи — они маму мою терпеть не могли из-за того, что та еврейка. Мама у меня была врачом. И, будучи переселенкой, лечила всех — и обкомовских, и нквдшных, и прочую нечисть. И все знали, кто такая доктор Энгельгард. В паспортах стоял штамп, что мы сосланы и что нам разрешается жить только в пределах Кокчетавы и области. Более того — мы подписывали «бумажку», что если кто из нас выедет за пределы Кокчетавы и области без разрешения спецкоменданта, то получит двадцать пять лет каторги. Я подписала...

— Я тоже подписывала такую бумажку, — тяжело вздыхала моя бабушка...

Потом они долго молчали, думая каждая о своём. А мне не терпелось выскочить из шкафа и закричать: «Ну, чего остановились — продолжайте, мне же душно, я задыхаюсь!» Ах, как было жалко, что не бабушка моя изливала душу! Так хотелось услышать про бабушкину семью, про Крым, но бабушка словно чувствовала моё присутствие. Ни слова! Рот на замке!..

— ...За «жидовку» дочь дала по морде девчонке в десятом классе, — после долгой паузы продолжила Эмма. И я подумала: «Ух ты, добрая, нежная, интеллигентная Эмма так и сказала — по морде!» — Слово же «жидовка» было мне совсем незнакомо, я его несколько раз повторила про себя, собираясь при случае спросить у бабушки, что оно значит?

— В женской школе. Семнадцать девчонок в классе. На перемене они обсуждали какого-то литературного героя. Говорили о нравственности, о женской чести и добродетельности. И одна из девиц, которая уже изрядно погуливала с молодыми людьми, и слава о ней была известна, с пеной у рта говорила о женской чести. Когда же моя Анна включилась в разговор, то эта девица сказала ей: «Ну, ещё ты, жидовка, будешь тут рассуждать!» Та сначала оцепенела. Да, все обалдели! И Аня ударила... Класс был на её стороне, но она думала, что её выгонят из школы. Мне самой тогда было очень тяжело морально. Я была

сосланной, да ещё и комсомолкой. Вот парадокс, весь ужас того безобразия. Ведь почти все сосланные по пятому пункту были партийными. Эта была на весь город единственная женская школа, ни той девице, ни Анечке некуда было уходить. Но всё спустили на тормозах. А потом нас переселили зачем-то сюда. Опять дорога, опять ненавистный стук колес... Аня уехала в Казань учиться в университет, нам-то, в отличие от вас, разрешали учиться, а та уехала в Алма-Ату. И вот через несколько лет Анна приехала в Кокчетав выправить какие-то бумажки, встретила нашего соседа, и он Аньке-то и сказал, что та девчонка умирает, что очень серьёзно больна. Аня пошла к ней домой. Нашла её в диком состоянии, никто за ней не ухаживал, кругом была такая грязь... Невозможно было сказать, что это та самая, когда-то назвавшая её «жидовкой» девочка. Муж её бросил. Рак щитовидной железы, а на соседней кровати лежала её больная дочь. Девочка моя побежала в магазин, в аптеку. Чего-то накупила. Начала готовить, ухаживать. Несколько часов они провели вместе. О чём-то разговаривали, вспоминали, смеялись. Того случая не вспоминали. Да у них в душе никакого зла и не было. И бог оказался милостив: её прооперировали — и оказалась доброкачественная опухоль! Выздоровела. Расцвела. Вернулся муж, я бы такого обратно не пустила...

— Евреи во всё виноваты, — сказала бабушка, и они обе рассмеялись.

— Знаешь, те, которые так говорят и думают, если узнают, что я еврейка, тут же говорят: «Да что вы! Мы про других говорим, про других евреев, про плохих. А вообще-то евреи умные, хорошие...» От такого, от таких слов теряешь все силы. Это — невыносимо!

— Да-да, всё очень похоже. Тоже самое у татар, не волнуйся, Эмма. Мы предатели, мы негодяи. Но это всё якобы не про нас, а про тех, про других каких-то татар...

...Анна, дочь Эммы, вышла замуж за сына Вали-ингушки. Ох, и жгучая у них там получилась смесь. Даже страшно представить, куда вышлют их семейство, если повторится всё снова...

Кебаб

...Бабушка говорила, что один из самых счастливых дней был тот, когда объявили о смерти Сталина. Подох! Подох! Ликованию предела не было! Колхозное начальство было недовольно. Почему не плачете? Были те, кто плакал, но начальство было тёртым, партийный секретарь сказал: «Я слезу от слезы отличу. Эти не от горя плачут, от радости, слёзы мелкие и сохнут быстро!»

— А твой дедушка как закричит: «Мы свои слёзы все уже выплакали! — Дай нам порадоваться! Чего нам теперь бояться? Что нам этот шайтан сделает теперь? Мы и так уже полуживые, все наши старики поумирали из-за него. Давно бы ему сдохнуть нужно было...» Партийный секретарь сплюнул в сторону и ушёл, а дедушка из-под половицы достал деньги, ушёл куда-то, принёс баранину, рис, зиру в тряпочке, приготовил плов. Первый плов за девять лет...

...На разные праздничные шествия, особенно — в день седьмого ноября, депортированных выгоняли в обязательном порядке. В помощь уполномоченному по спецконтингенту присылали ещё разных оперов. Ни флагов, ни транспарантов не давали, конечно, но оставаться дома могли только больные, маленькие дети, старики. Степной ветер в ноябре холодный, многие простужались, но каждый год выходили на свою демонстрацию — греки, болгары, немцы, татары, ингуши и чеченцы. А как Сталин умер, так и обязательное участие сошло на нет.

Потом колхоз укрупнили, и большинство переехало в тот город, где я родилась.

Тут всех уже не выгоняли, а предлагали поучаствовать в демонстрации. Вежливо. Ноябрь был таким же холодным, на улицах грязь. Другое дело — Первомай, солидарность трудящихся. Депортированные всё-таки выходили из своих домов, перемигивались, смотрели на демонстрацию. Солидарность! Уж они-то знали цену этому слову.

Уполномоченный — уже конечно другой, прежний замёрз в степи, ехал куда-то пьяный на грузовике, попал в буран, — не имел прежней власти. Прежний за эти перемигивания устроил бы сладкую жизнь. Депортированным выдали паспорта, разрешили работать по найму, не в колхозе за натуральные продукты, а за трудовни, у них появились хоть какие-то деньги — и Первомай они отмечали ежегодным первенством по кебабам.

Название этого блюда на всех языках звучит похоже — кабабы, кебапы, кабобы и кибобы. Сути это не меняло и не меняет. Отличия лишь в нюансах, выдающих тот или иной регион.

Разворачивались настоящие кебабовые баталии. Точились ножи, во двор выносились мангалы, столы, разделочные доски, овощи, мясо — всего было в таком количестве, что казалось, что ты находишься на каком-нибудь шумном восточном базаре и вот-вот появится Али-Баба. Языком межнационального общения был русский, но в запале все начинали говорить на своих языках, и тут уже начинался настоящий Вавилон. Кто-то открывал окно, ставил на подоконник проигрыватель или катушечный магнитофон «Комета-227», предел мечтаний, — звучали мелодии советской эстрады, эстрада стран народной демократии, Бисер Киров, Карел Готт. Но постепенно начинала звучать музыка национальная. Купить пластинку с азербайджанской музыкой ещё было можно, Полад Бюльбюль Оглы «Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня, / Но не назвав мне часа, сказала только: „Жди“», но музыку тех, кого выселили из Крыма или с Северного Кавказа, найти было почти невозможно — и всё-таки она звучала, а готовка сопровождалась пением и танцами.

Самыми правильными люля-кебабовыми народами из года в год оказывались крымские татары и азербайджанцы, на втором месте шли бакинские армяне — второе место у них было из-за того, что они мясо прокручивали в мясорубке, всё остальное у них было по классике. Ну, а представители балканских народов предлагали кабабы

из овощей, рыбы, словом, из всего, что росло и плавало. И никак они не хотели соглашаться с тем, что настоящие люля-кебабы были не у них. Признавать, что кебабы всего лишь способ приготовления, а не само блюдо, они отказывались категорически. С завистью на происходившее смотрели немцы и корейцы, и представители некоторых народов Северного Кавказа: они не могли участвовать в таком состязании, у них-то не было такого спорного блюда. Но зато с каким удовольствием и те, и другие уплетали кебабы! Когда аутентичные крымские и закавказские люля-кебабы укладывались на блюда рядом с кебабами балканскими, получался такой натюрморт, что любой живописец позавидовал бы. А какие запахи эти «натюрморты» источали, а как капал с них сок! Казалось, что мясо и овощи вбирали в себя не только вкусы и ароматы пряностей, и пыл жарких углей, а ещё и солнце, и море, ставшее столь далёким для этих людей. Дух стоял такой, что приходили из соседних дворов. Все умудрялись не просто попробовать и оценить, насладиться, а ещё и унести с собой, чтобы угостить тех, кто не сумел добраться до интернационального стола. Не зря кто-то когда-то произнёс великую фразу: «У нас нельзя отнять только то, что мы видели и ели». Такие они, эти люля-кебабы вкусные, жаркие, сочные, если угодно мудрые. Да-да, мудрые кебабы, потому как кебабы объединяют народы, нет у них в этом мире постоянной прописки. Потом, через много-много лет, я прочитала у Борхеса: «Краткий праздник дружбы потаённой с чашею, беседкой и колонной...», — вспомнила про ежегодный кебабовый чемпионат, — и стало очень-очень грустно...

«Чтец-декламатор»

Моей бабушке, Л. К. Никитиной, посвящается

И дано, говорят, той печальной звезде
Искушенья посеять одно,
Да лукавые сны, да страданье везде,
Где рассыпаться ей суждено...

Аполлон Григорьев

1. Ящик

Моя дочка всё время разбрасывает свои игрушки по всей квартире. Ни уговоры, ни строгий тон не помогают. Спотыкаясь об очередную мягкую игрушку или случайно раздавив какую-нибудь маленькую фитюльку, над которой моё дитя потом долго рыдает, я пытаюсь найти ответ — что же мне сделать, чтобы всё, наконец, было на своих местах. Я слишком мягкая мама и поэтому предпочитаю уговоры и объяснения наказаниям, но тут я теряюсь.

В случайно выданный свободный день еду покупать ночник для своей дочки и застаю в огромном изобилии различных интерьерных деталей и украшений, в милых женскому сердцу вещицах, совершенно ненужных, но придающих уют и очарование. Изогнутые, словно искривлённый стебель растения, вазочки из муранского стекла и горшки с пышными декоративными цветами, изящные статуэтки с загадочными глазами египетских фараонов, сплетённые из ивовой лозы странные

шары... — хочется медленно и медитативно ходить среди всего этого разнообразия, чтобы потом вдруг осознать, на что именно откликнется твоё сердце, выбрать именно то, чего не хватает твоему дому и тебе.

Взгляд внезапно падает на потрясающе сделанный детский сундучок для игрушек, словно нарисованный в старинной книжке про пиратов: из светлого полированного дерева, весь в искусных щербинках и сколах, немного состаренный, с большим висячим замком на кованых железных петлях, покрытых зелёной патиной. Так и хочется прятать в это надёжное и уютное нутро свои самые главные детские секреты и любимые игрушки: грустного медведя с порванным ухом, верного друга щенка с косящими глазами, дневник, которому поверяешь все свои тайны, перламутровые фамильные бусы, подаренные бабушкой на день рождения, погремушку, с чуть треснувшим колечком... Из него можно случайно вынуть невесть как заваливающуюся там волшебную палочку, ковёр-самолёт, свои первые башмачки со сбитыми мысками или хрустальные туфли золушки, а может быть, волшебные краски... Такой сундук — это вход в мир сказки и детства, сбывшихся и несбывшихся желаний.

Я хорошо помню семейный «бабушкин сундук» — неказистый огромный ящик из фанеры, предназначенный для перевозки продуктов, вернее, бутылок. Тёмно-зелёного цвета, по бокам — железные полосы, прикрученные к стыкам большими бляхами болтов. Уродливые металлические ручки, если их резко отпустить, издавали громкий и пустой звук, стучаясь о тело ящика. На передней стенке проступали полустёртые белые буквы и перевернутый вниз контур рюмки.

Во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, мои бабушка и прабабушка ушли из дома на фронт, практически в чём были, с маленькими рюкзаками за спиной, в которых кроме смены белья, хранились только несколько дорогих сердцу фотографий, перламутровые бусы и миниатюрный дореволюционный сборник «Чтец-декламатор» со стихотворениями лучших русских поэ-

тов. Отца бабушки к тому времени расстреляли свои же, русские, по какому-то страшному и нелепому доносу. Оказавшись в медсанчасти Второй танковой армии, работали там санитарками, а на четвёртый год войны бабушку (ей тогда исполнилось восемнадцать лет) и её мать демобилизовали, направив в медицинский институт. Возвращаться в родной город смысла не было — дом разбомбили, война разбросала друзей и близких по всей стране.

После войны бабушка вышла замуж за военного — полковника, инженера авиации. Липецк, Воронеж, Винница, Звёздный городок, Москва... — семья постоянно переезжала из города в город, и этот ящик, достаточно вместительный, кочевал вместе с ними, пока, наконец, не превратился в сундук для хранения разных ненужных вещей и тряпок и в тумбочку для небольшого чёрно-белого телевизора с выпуклым глазом-линзой и жесткой пластмассовой ручкой для переключения программ.

Открытие ящика всегда было священнодействием, которого я ждала с замиранием сердца. Мне разрешалось примерять старые бабушкины платья, расшитые бисером по тонкому кружеву декольте, пахнущие нафталином шерстяные платки с большими яркими цветами и Жар-птицами, вязанные крючком тонкие пелерины, невесомые, словно снежные покрывальца, длинные почти цыганские юбки с шаловливыми рюшами и оборками... Надевая эти сказочные одежды, можно было вообразить себя и великосветской дамой, спешащей на торжественный бал, и крестьянской девчонкой, прихорашивающейся перед посиделками на завалинке, и маленькой разбойницей из сказки о Снежной Королеве... Самыми любимыми были цыганские юбки и шали. Включая Кармен-сюиту, я самозабвенно танцевала, переносясь в другое место и время, интуитивно чувствуя нужный темп и движения танца, выгибалась струной, подчиняясь плывущим звукам музыки, полным неизбывного волшебства. Мне казалось, что в моих руках оживают кастаньеты, заставляя убыстрять ритм, стуча каблучками, выбрасывать вперёд ноги, притоптывать, отбивать чечётку,

всё быстрее и лихорадочнее двигаться, двигаться, чтобы не прервать тонкую нить, связывающую меня с таинственным миром страстной Кармен.

Сейчас ящик хранит на балконе пустые банки, мотки верёвок, крышки для консервирования и разную кухонную дребедень, которую жалко выбросить. Вдруг пригодится?! Когда я вечером выхожу на балкон, то подолгу сижу, облокотившись на ящик, и смотрю на звёздное небо, вспоминая детство и ту радость, которую дарили мне моё восприятие мира и этот всё ещё нужный ящик. Конечно, сравниться с ним не сможет никакой шикарный пиратский сундук, который я всё-таки куплю своей дочке, чтобы у неё тоже было своё памятное местечко для хранения игрушек и воспоминаний детства.

Думая об этом, я приоткрываю ящик своих воспоминаний, вернее воспоминаний моих бабушки и прабабушки, и понимаю, что очень хочу рассказать их историю, историю простых русских женщин. Они не были героинями, не бросались грудью закрывать амбразуры, взрывать вражеские танки, устраивать диверсии... Они просто прошли эту войну... как многие русские женщины — медсёстрами и санитарками... со своей не всегда заметной болью, со своей маленькой, но такой чудовищной трагедией. Многое из того времени забылось, что-то мне пришлось додумывать самой, так что за полную достоверность я не ручаюсь. Тем не менее, основные события реальны и достоверны, мной изменены имена, фамилии героев и домыслены какие-то детали.

2. 22 июня

- Нина! Нинка! Никитина!
- Чего орёшь? — высунулась из окна, зевая, Нина.
- Война началась! — дрожащим голосом выдохнула запыхавшаяся Маруська.
- Какая война? Что ты мелешь?
- По радио сказали. Только что. На нас Германия напала.

— Ты чего-то путаешь. — изумилась Нина. — У нас же с Германией мир?!

— Нин, я же не дура, я сама слышала!

— И что теперь будет?

— Не знаю. — В больших влажных глазах Маруси плескался ужас, расширяя чёрные зрачки так, что цвета её глаз было уже не разглядеть.

— Чего вы шумите, девочки? — раздался голос Нининой мамы.

— Мама, Маруся говорит, что война началась!

— Да, Александра Ивановна, это правда. Сейчас по радио объявили.

— Да ты заходи в дом, чего на пороге стоишь. Сейчас я отца позову.

Девушки зашли в дом и машинально уселись за стол. Вчера в школе был выпускной вечер, гуляли всю ночь, поэтому Нина ещё толком не проснулась, хотя было уже за полдень. Она налила подруге чай, чтобы чем-то занять себя, но кружка так и осталась нетронутой. Маруся нервно теребила подол цветастого сарафана и ёрзала на стуле, изредка постукивая ногой об пол. Через некоторое время, тяжело опираясь о перила, с мансарды спустился отец Нины, Константин Павлович. Всего неделю назад его выписали из больницы после тяжелейшей операции на почках. На работу он ещё не ходил.

— Ну что, Мария, говоришь, война началась? — пытливо посмотрел он на девочку.

Та испуганно закивала.

— Плохо дело.

— Почему? Разве мы их не победим?

— Победим. — вздохнул Константин Павлович. Его крупные узловатые руки, испещрённые прожилками голубых вен, сжались в кулаки. — Нерадостные вести ты принесла, Маша. Да ничего не поделаешь.

— Папа, значит, я в институт не еду? — спросила Нина.

— Наверное, нет, дочка. Не знаю. Боюсь, что сейчас не лучшее время, чтобы расставаться с семьей.

Нина выбежала из дома в чуть подрагивающую пустоту раннего утра. Зыбкий туман и голоса птиц в окружающем ещё сонном царстве наступающего дня — эти минуты всегда были для девушки самым драгоценным подарком каждого утра. Ей казалось, что именно в это время можно понять и познать что-то очень важное, сокровенное, какой-то смысл, ради которого она появилась на свет, пришла в этот мир, и холодящая босые ступни роса, и лёгкие колкие прикосновения травы, и покрывающаяся от холода пупырышками кожа, и пьянящий плотный, почти ощущаемый вкус воздуха, врывающегося в её лёгкие — всё это было таким прекрасным... И не верилось, что где-то уже идёт война и что может быть совсем другое утро, полное боли, крови и смерти.

Нина открыла калитку и подошла к почтовому ящичку, висевшему на столбе рядом с забором. Открыв крышку, достала оттуда конверт, надписанный знакомым почерком, и усмехнулась. «Вовка-то всё никак не угомонится, — подумала она с затаённым самодовольством, — как же он меня достал своими письмами. Надеется, что я отвечу ему взаимностью. Вон Маруся Мальцева по нему сохнет ещё с пятого класса, глаз не сводит, так нет же, не смотрит на неё. А я? Я всё жду кого-то, кто придёт и покорит меня и подарит весь мир. Я жду, а его всё нет». Нина повернулась и пошла к дому. Бездумно вертя конверт в руках, по дороге, не распечатывая, зашвырнула его в собачью будку. Оттуда раздалось сердитое ворчание, но Свирька предпочла не высовывать нос, а ещё немного поспать.

«Вот и закончилась моя школа, — размышляла Нина, — через неделю я должна была ехать поступать в институт, в Брянск. А что будет теперь? Никто не знает».

3. Тёмка

Александра Ивановна собрала рюкзак, в последний раз обошла дом, внимательно осмотрела своё хозяйство, где она столько времени проводила в хлопотах и заботах

о семье, нежно дотронулась до любимого старенького кухонного стола, провела рукой по ручке чугунной сковороды — и вздохнула. Ей тяжело было оставлять мужа и дочь, но ничего не поделаешь — надо идти. Медсестра по профессии и по призванию, она понимала, как остро сейчас нуждаются в ней там, на передовой, где люди умирают за свою Родину. Сердце тревожно билось в груди, перед глазами стояла туманная дымка будущего, и сколько не вглядывалась туда Александра, различить ничего не могла.

— Мама, не оставляй нас! — Нина обняла мать. Из глаз девушки катились слёзы.

— Детка, мы скоро увидимся. — Та судорожно сжала дочь в объятиях. — Береги отца. Он сейчас так слаб.

— А ты, Костя, смотри, не перетруждайся. Тебе сейчас нельзя. Я говорю тебе это не только как жена, но и как медик. Кроме тебя теперь у Нины никого нет. — Александра привычно поправила мужу сбившийся ворот рубахи.

— Иди. — Константин обнял жену, — я буду тебя ждать. Помни о нас и возвращайся. Не геройствуй там. Береги себя.

Александра вскинула рюкзак на плечо и вышла из дома. Под ноги бросилась Свирька. Она преданно мотала хвостом, подползала на брюхе к ногам, прижимала к голове рыжие лохматые уши и протяжно скулила. Потрепав её по загривку, женщина ступила за ворота и оглянулась. На пороге дома стояли муж и дочь и молча глядели ей вслед. Нина придерживала рвущуюся за Александрой собаку. Вскинув руку в прощальном жесте и уже не оглядываясь, чтобы не заплакать, она пошла к сборному пункту. В голове мелькали мысли о прошлом. «Как мы хорошо жили! — думала она, — пусть временами было трудно, но мы были вместе, одной семьей. А теперь, кто знает, свидимся ли?» По дороге двигались грузовики с солдатами, шли такие же мужчины и женщины как она, с рюкзаками за спиной и тоской в глазах. Чумазные ребята бежали следом, с интересом разглядывая оружие и обмундирование и завидуя тем, кто отправлялся воевать.

Над головой раздавался гул пролетающих самолётов — то тонкий осиный писк, то грозный и гулкий рокот накрывали с головой, отдавались в ушах и в сердце, вибрируя в жарком мареве наступающего дня. Прищурившись, она пыталась разглядеть в синем небе их очертания... Сердце сжималось от дурного предчувствия. Они уже рядом. Нацистская Германия.

По пыльной дороге мимо опустевшей Крестовоздвиженской церкви, где раньше, до войны, был промтоварный склад, а теперь только пустые голые стены, кое-где ещё хранившие остатки фресок, бежал Тёмка — местный дурачок. Струйка слюны медленно текла по его немой щеке к подбородку. Ему исполнилось двенадцать, но по разуму он оставался пятилетним.

— Пых, пых! — кричал он, наставляя деревянное, немело сколоченное, самодельное ружьё на прохожих и залиvisto смеялся.

— Ах ты, худая душа! — отец Тёмки, стоявший возле церкви в компании своего закадычного друга и собутыльника Ван Ваньча, распалившись от гнева, залепил мальчонке звучную пощёчину, наподдав ещё раз по шее для острастки. — Война началась, а он на людей ружьё наставляет! Надо было тебя в детский дом сдать недоделанного!

Тёмка съежился, вытер грязным рукавом закровившую губу. Глаза его наполнились слезами, губы тряслись и мелко подрагивали от обиды.

Александра Ивановна остановилась и укоризненно покачала головой.

— Что ж ты, Степаныч, делаешь, окаянный! Совести у тебя нет! Почто мальчика обидел? Видишь же, неразумный он. А ты ему по морде. Эх, ты!

— Иди-ка ты, Ивановна, куды шла! Тебя не спросили. Проходи давай! Выискалась тут, заступница!

Александра Ивановна вздохнула, погладила Тёмку по растрёпанной белёсой голове и пошла дальше.

Мать Тёмки, алкоголичка Степанида или попросту Шешка, преставилась ещё год назад, замёрзнув в сугробе под Новый год. Родив Артемия, последыша, неизвестно от кого, она фактически бросила его на произвол судьбы, не особо о нём и заботясь. Но Тёмка как божья птичка выживал, подкармливаясь у сердобольных соседей. Степаныч, муж Шешки, тоже основательно поддавал, однако справно работал механиком, ухитряясь не тратить всё на выпивку, а ещё и растить двух других детей, Кольку и Ленку. Те стыдились младшего брата, выставляя его пугалом и подзуживая друзей измываться над дурачком. Тёмка же был безответным. Он старался пореже попадаться им на глаза, а когда попадался, то сразу сникал и старался сжаться в клубок, стать как можно меньше и незаметнее. Прятал живот, закрывал руками голову и отчаянно мычал.

Поглядев вслед уходящей Александре, Тёмка бросился за ней. Догнал, схватил за руку. Сморщил веснушчатый нос и серьёзно сказал, протягивая своё ружьё:

— На! Пых-пых! Там! — грязный палец указал за линию горизонта. — Надо, хоошая! — букву «р» Тёмка не выговаривал.

Тёмка отпустил руку Александры, отвернулся, повесил голову и пошёл прочь, медленно и косолапо загребая босыми ногами.

4. «Мы дети страшных лет России...»

Друзья

Люди готовились к расставанию — началась эвакуация мирных жителей. Каждый вечер матери со страхом прижимали к себе детей, нежно целуя их на ночь, гладили по шелковистым вихрастым головкам. Лица же детей за это время посерьёзнели — у каждого на войну отправлялся брат или отец, или мать, сестра, дядя... Зрелище уходящих на войну людей стало привычным, как и вереницы

грузовиков или пролетающих истребителей. Начали приходить первые похоронки. На лица получивших эти роковые треугольники писем было страшно смотреть.

Девушки и ребята стайками собирались в укромных местах, чтобы обсудить новости и решить, что же делать дальше. Юноши собирались на курсы лётчиков и артиллеристов, девушки — медсестёр, чтобы потом тоже попасть на фронт. Первые волны страха прошли, оставив горькое послевкусие и дозу адреналина, стремление действовать, чтобы что-то изменить в этом неправильном положении вещей, вернуть всё в тот мирный, привычный ход жизни, который остался далеко в прошлом.

От матери было только одно письмо, потом — ничего. Нина часто плакала по ночам, молясь о том, чтобы мать вернулась живой. Отец вышел на работу. После болезни он ещё не совсем оправился и сильно уставал. Комиссия признала его негодным для военной службы, и Константин Павлович по-прежнему, как и до войны, работал бухгалтером в краеведческом музее. Близкие, знавшие его как интеллигентного и добросовестного человека, сочувствовали, соседи же иногда шушукались, предполагая некую неблагоприятную подоплеку болезни — нежелание воевать, несмотря на то, что операция была сделана до объявления войны. За последнее время они с Ниной ещё больше сблизились, вместе переживая за мать. По вечерам, сидя в плетёном кресле, отец читал ей стихи классиков из дореволюционного сборника «Чтец-декламатор», бережно хранимого как семейная реликвия. Это было его увлечением. В мирное время он часто выступал в Доме культуры, читая со сцены стихи Пушкина, Лермонтова, Державина... У него был прирождённый дар декламатора, какое-то органичное чувство сопричастности и со творчества, чувство стиха...

— Знаешь, доченька, я всё время поражаюсь пророческому дару поэтов. Вот послушай. Александр Блок написал это ещё в 1914 году:

Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забуть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьётся с криком вороньё, —
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твоё!

— Да, папа, но это так страшно звучит!

— Это не страшнее самой жизни, Нинушка! Крепись.
Всё наладится.

Нина каждый день виделась с Маруськой. Они вместе ходили на речку Марицу плавать, правда, теперь это не приносило такого удовольствия, как раньше и, несмотря на удушающую жару, казалось почти кощунством, особенно тогда, когда, заигравшись, они начинали громко хохотать, но тут же в испуге замолкали, слыша надрывные голоса бомбардировщиков.

Как-то раз зашли бывшие одноклассники Володя Савин и Вадим Коробов — попрощаться, они уходили на фронт. Загоревшие, подтянутые, возмужавшие от внезапно нахлынувшей на них ответственности и взрослости, юноши растерянно стояли перед подругами.

Нинка вспомнила, как они познакомились, придя в первый класс. Смешной и непоседливый Вовка, которого сразу прозвали Рыжиком за огненный цвет волос и искромётный нрав, в первый же день притащил с собой в коробочке лягушку, вызвав переполох среди девочек. Учительница часто ругала мальчика за кляксы и помарки в тетради и за то, что не только руки, но даже нос

и уши его постоянно перепачканы чернилами. Вадим же был серьёзен и аккуратен, старательно выводя на бумаге неровные буквы, пыхтел и высовывал кончик языка, прикусывая его зубами. Со всеми одноклассниками дружил ровно, и только с Вовкой сошёлся накоротке, несмотря на явную несочетаемость характеров. Они удивительно дополняли друг друга, такие необычайно разные. Вадику пришлось рано повзрослеть, чтобы заботиться о младших братьях, помогая матери. Их отец уехал на заработки в Сибирь, регулярно посылая письма и деньги в течение нескольких лет, но не торопился возвращаться обратно, а потом и вовсе бесследно исчез с их горизонта. Найти его следы по многочисленным запросам не удалось, а бросить детей и поехать в Сибирь мать Вадика, Людмила Егоровна, не могла.

С Ниной и Марусей ребята подружились, когда всей школой сажали на субботнике деревья в парке. Оказавшись в одной четверке, сажали тонкие стволы яблонек в парную рыхлую землю, а потом каждый день бегали навещать подопечных, поливали их водой, заботились, подкрашивая по весне стволы белой краской.

В пятом классе, Маруся призналась Нине, что Володя ей очень нравится. Но тот отдавал предпочтение Нине, забрасывал букетами ромашек, собирал первую землянику, писал неловкие записки с орфографическими ошибками и повсюду ходил за девочкой хвостом. Маруся на Нину не обижалась, хотя и переживала в душе. Нина же относилась ко всем ребятам по-дружески, никого не выделяя.

Теперь же, вглядываясь в лица бывших одноклассников, Маруся и Нина поняли, что детство прошло, и как-то незаметно промелькнула и юность, не успев и начаться.

— Я, Нин, тебе писать буду. — говорил, смущаясь, Вадик.

— Пиши. Береги себя.

— И ты тоже. Ты бы эвакуировалась.

— Нет. Папа больной, к тому же, как мы тогда будем искать маму? Вдруг она вернётся, а нас нет.

— Ты пиши на этот адрес. Хорошо?

— Ладно. Но ты всё же подумай. Вон детский сад уезжает. Моя маманя с ними едет и с братишками, с Борькой и Славкой. Я бы договорился, чтобы и тебя взяли, а?

— Нет, Вадик, мы останемся. Тут наш дом.

Маруся, отчаянно вцепившись в рукав Володиной рубашки, вглядывалась в его лицо. Тот, конфузясь, улыбался и топтался на месте.

— Володь, ты пиши, если можно будет. Обещай!

— Ладно.

— И не лезь там на рожон. Осторожнее.

— Ладно.

— Да, что ты всё заладил: ладно да ладно! — Марусяк разревелась и начала колотить кулачками по его груди. — Чертыка бесчувственный!

Неожиданно Володя сгрёб её в охапку, приподнял над землёй и неловко поцеловал в нос.

— Вернусь я, ясно тебе? К тебе вернусь.

Маруся зарделась и спрятала заплаканное лицо у него на груди.

— Я буду ждать. Я всегда буду тебя ждать!

— Ну, смотри, Мальцева, раз обещалась! — не зная, что сказать, сконфузясь, шутливо пригрозил Володя.

5. Малина

Однажды поздно вечером Нина с отцом так же сидели на кухне и медлили идти спать. Казалось, что в воздухе было разлито напряжённое ожидание беды. Монотонно тикали часы. В абажуре, надрывно жужжа, билась муха, большая, жирная, с просвечивающими сквозь зелень брюшка белыми внутренностями. Отец сидел с полуприкрытыми глазами и барабанил пальцами по подлокотнику кресла. Раскрытая книга забыто лежала на его коленях.

- Нина! — позвал он негромко.
- Да, папа?
- Нина, я вот думаю, если со мной вдруг что-то случится, как ты будешь одна? Ты тогда иди к моему брату Фёдору. Слышишь?
- Что ты папа, всё будет хорошо.
- Как ты будешь дальше жить? — словно не слыша, продолжал отец. — Ты же такая честная и трудолюбивая, на тебе все кому не лень будут ездить.
- Как и на тебе, да? — рассмеялась Нина. — Ведь я же твоя дочка.
- Ладно, Нинушка, пошли спать. Я люблю тебя, зайчонок. Помни об этом. Спокойной ночи!
- Я тоже люблю тебя, папа. Спокойной ночи!

Наутро Нина с Марусей договорились съездить на велосипедах в лес за малиной. Жизнь продолжалась, и хотелось хоть что-то делать, чтобы не чувствовать эту сосущую пустоту. А тут вроде бы и повод — можно будет засушить на зиму малины. Варенья уже не сварить — проблемы с сахаром, да и до варенья ли теперь. Дорога с утра была странно безлюдной. Казалось, что непонятная тишина давит на уши. У Нины дрожали руки.

— Может быть в другой раз, а? — спросила она у подруги.

— Да ладно тебе, Нин! Что мы теперь даже тишины будем бояться? Поехали.

Поставив на педаль загорелую чуть расцарапанную ногу в стоптанной сандале, Маруся бодро закрутила педалями. Её любимый, чуть выцветший на солнце сарафан задорно развевался на ветру, обнажая стройные лодыжки и пухловатые округлые колени.

— Догоняй!

Прикреплённая сзади корзинка для ягод чуть подрагивала на кочках. Нина поехала вслед.

Набрав малины и наевшись ею до отвала, девушки собирали полевые цветы и наслаждались неожиданной тишиной — ничто кроме стрекота кузнечиков и пения птиц

не нарушало покоя леса, только слегка покачивались от ветра верхушки деревьев и что-то тихо шептали листья. К сожалению, любимые подружками ландыши давно отцвели, и только их вытянутые заостренные листья по-прежнему красовались среди травы. Зато жёлтая, пышная купавка женственно покачивала своими распустившимися бутонами и привлекала к себе пчёл, снующих в поисках нектара. Чуть поодаль скромно синели колокольчики. Одуванчики уже опушились белым пухом, радостно колыхаясь и отправляя своих парашютистов в неизведанные места. Нина распустила косу, сплела из незабудок и ромашек незамысловатый венок. Длинные пепельные волосы ниже пояса, огромные серые лучистые глаза — Нина была красива какой-то неброской, тургеневской красотой, мягкой и нежной. При всем при этом в ней чувствовался сильный внутренний стержень — предать свои убеждения, поступить не по совести — не для неё. Для неё были важны внутренняя сущность и состоятельность личности, духовная красота, как у её отца и матери. Их жизнь была для Нины красноречивым примером, и девушка надеялась найти такого возлюбленного, чтобы с ним можно было всю жизнь идти рука об руку так же, как шли и её родители.

Маруся, усевшись посреди поляны, изводила ромашки в поисках ответа: «любит — не любит». По всему, выходило, что любит, но возле девушки образовалась уже небольшая кучка истерзанных цветов. Крепко сбитая, чуть полноватая Маруся была полной противоположностью своей лучшей подруге. Вьющиеся белокурые волосы, россыпь конопушек на лице, курносый нос и голубые глаза — природа постаралась подарить ей всё самое жизнерадостное. Обычно даже незнакомые люди улыбались в ответ на задорную улыбку и лукавый взгляд симпатичной девушки. И пусть её нельзя было назвать красавицей, но в ней было нечто большее — любовь и внимательность к людям, стремление помочь тому, кто в этом нуждался, честность, умение радоваться самым обыденным вещам: солнцу, хорошей погоде, цветам.

Лесной, обманчиво мирный островок, в котором очутились подруги, был таким притягательным, что уйти оттуда просто не было сил. Хотелось, чтобы это спокойствие длилось и длилось, врачуя те душевные раны, которые война уже успела оставить в их сердцах и сознании. Возвращались уже затемно.

— Нин, — попросила Маруся, — почитай что-нибудь, а? Ты так хорошо стихи читаешь.

— Что ты хочешь?

— Что-нибудь о любви.

— Ладно, слушай. Я очень люблю вот это стихотворение Анненского:

Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у неё одной молю ответа,
Не потому, что от неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

— Как красиво! Это же какой талант нужно иметь, чтобы так сказать. Знаешь, Нин, — Маруся смущённо засопела. — Я вот мечтаю, когда Володя вернётся, мы с ним поженимся. Я ему детей рожу, мальчика и девочку. Как ты думаешь, война скоро кончится?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, но хотелось бы поскорее.

— Мне тоже. Тогда мама вернётся. Я поступлю в институт.

— Ты будешь у меня на свадьбе подружкой?

— Буду.

— Я так счастлива, что он меня любит!

— Я рада за тебя. Когда это он успел? То всё мне письма писал, а тут вдруг и тебя увидел, наконец?

— Ты ревнуешь?

— К нему? Нет. Просто странно.

— Володя мне сказал, что тогда, давно ещё, он прятался рано утром за деревом и видел, как ты бросила его письмо в Свирькину будку, и окончательно понял, что

насильно мил не будешь. Мы ещё на выпускном вечере с ним разговорились, пока ты с Вадиком танцевала. Потом, когда мы все гулять пошли, ты с Антоном и Борькой на спор речку переплывала, а мы отстали. И он меня вдруг поцеловал. Поверишь, мне даже жарко стало, так странно-странно, будто к небу взлетаешь, и так хорошо...

— Я тебе немного завидую. — Нина рассмеялась. — Хотела бы я тоже кого-нибудь так полюбить. Можно я тебя чуть-чуть подразню?

— Только чуть-чуть.

— Ладно, слушай. Это Алексей Толстой написал:

Ты клонишь лик, о нём упоминая,
И до чела твоя восходит кровь —
Не верь себе! Сама того не зная,
Ты любишь в нём лишь первую любовь;

Ты не его в нём видишь совершенства,
И не собой привлечь тебя он мог —
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог;

То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора,
Всё, что к нему случайно подойдет.

— Нет, Нинка, это не так! Я его не поэтому люблю, а потому, что он это он! И ты тоже когда-нибудь полюбишь! Сильно-сильно. А Вадик тебе не нравится?

— Нравится, но я его не люблю.

— А он, похоже, к тебе равнодушен. Ты будешь ему писать?

— Конечно. Мы же друзья.

— Слушай, а что ты будешь делать, если придут немцы?

— Не знаю.

— Может, уйдем в партизаны?

— Не смей меня, Машка, кому мы там нужны? Лишний груз. Я представляю, как ты будешь, словно лягушка, по болотам скакать в ватнике и кирзовых сапогах, да с пулемётом на плече. Лучше пойти учиться на медсестёр или связисток. Да только я отца оставить не могу.

— Да, а я мамку. Она говорит: «Я здесь родилась, здесь и умру. У меня тут хозяйство. Куры». Представляешь? Война началась, а ей кур жалко! Ну, как я её такую брошу?

— Я тебя понимаю. Мне самой тяжко, что я вот так сижу и ничего не делаю, а поделать ничего не могу.

— Мы приехали. Ладно, Нин, я поеду. Всё как-нибудь образуется. Завтра увидимся.

— Пока.

Нина закатила велосипед в калитку, провела его по тряской, сложенной из булыжника дорожке и прислонила к стене дома. Аккуратно отвязав корзину с ягодами, поднялась по ступенькам и вошла в дом. На кухне за столом, уронив голову на руки, дремал дядя Федя. В его каштановых волосах уже проглядывала ранняя седина. На фронт Фёдора не отправили, потому что он был нужен здесь, на филиале Московского станкостроительного завода имени Орджоникидзе, который пока не эвакуировали, да и со зрением у него было плохо. Из-за родовой травмы ему всю жизнь приходилось носить очки с толстыми линзами, без них он ничего не видел. Жена напрочь отказывалась уезжать, сколько он её ни убеждал. «Вместе и в горе, и в радости, — говорила она, — забудь что ли? Мы с тобой одной судьбой повенчаны. Не уеду!» И хотя Фёдор делал вид, что сердится, на самом деле был доволен тем, что Алёна так решила, хотя и волновался за жену и детей: двух сыновей погодков шести и семи лет и годовалую дочку. Семью он любил безумно и просто не представлял себе, как будет жить без них.

От скрипа двери он резко ворохнулся и поглядел воспалёнными красными глазами на Нину.

— Ну, где ты ходишь? — недовольно спросил он.

— Да вот, за малиной ездили, — удивлённо сказала Нина. — Где папа?

— Папа... — дядя Федя помолчал.

— Что? Говори! Ему стало плохо? Он опять в больнице?

— Да нет, девочка, не в больнице.

— Ну!

— Костю забрали. — глухо произнёс тот.

— Куда? В военкомат? Он же больной!

— Нет, не в военкомат.

— А куда?

— Не знаю. В Брянск. Какая-то сволочь написала донос, что твой отец немецкий шпион, и его забрали для выяснения обстоятельств.

— Каких обстоятельств? Как он может шпионить? — Нина сорвалась на крик. — Он больной, после операции, и потом, он просто бухгалтер в музее! Он не знает ничего важного! Он никогда бы не стал ничего никому рассказывать и шпионить, да и нечего. Дядя Фёдор, скажи им, что это неправда!

— Успокойся. Я это знаю не хуже тебя. Поэтому не кричи. Там разберутся и отпустят. А пока собирайся, поживёшь с нами. Пока он не вернётся.

— Нет, я останусь здесь!

— Нина, не дури! Мало ли сейчас случайного народу по дорогам шляется! Девушке небезопасно одной в доме ночевать! Сейчас и беженцев полно, и дезертиров, люди разные встречаются. Будешь сюда днём приходиться. Хочешь, оставь отцу записку. Давай, живо, бери, что нужно и пойдём! — Фёдор хотел казаться спокойным и рассудительным, чтобы не напугать племянницу, но внутри у него ворочалось что-то тёмное и страшное, выворачивалось, стремилось пролезть наружу.

Поникнув, Нина медленно побрела в комнату, собирать вещи. Россыпь малины густо рдела на полу вязкой лужей — Нина случайно опрокинула корзину и раздавила несколько ягод. Натыкаясь на них взглядом, Фёдор непроизвольно вздрагивал и отводил глаза. К горлу подкатывала тошнота, и сводило руки. Кряхтя, он привстал и подошёл к окну. Было темно. На небе мерцали звёзды. Ничего не изменилось. «Его отпустят, — бормотал вполголоса Фёдор, — это же идиотизм! Это же так очевидно, разве они не понимают, что это глупость?» Позвав недоумевающую Свирьку, Фёдор с племянницей вышли из

дома. Нина как самую большую ценность прижимала к груди сборник чтеца-декламатора.

6. Ожидание

Потянулись томительные дни и ночи. Нина возилась с двоюродными братьями и сестрой, освободив Алёну, которая пошла работать на завод, к мужу. Постоянная усталость не давала Нине возможности впасть в отчаяние, лишь улыбка и непонятное лепетание маленькой Аннушки отогревали её сердце, смягчая ту боль и грусть, которую она испытывала из-за оторванности от родителей. Загоняя себя, занимаясь домашними делами и детьми, девушка перестала видеться с друзьями. Только Маруся иногда забежала к ней и помогала по хозяйству. Они практически не разговаривали между собой, боясь строить предположения. Но вдвоём было как-то спокойнее. Об отце вестей не было. О матери тоже. Измученный мыслями Фёдор больше всего не любил тот момент, когда, возвращаясь домой, видел на пороге своего дома изломанный ожиданием силуэт племянницы. Она смотрела на него, отводящего взгляд в сторону, и тут же никла, уходила, сгорбившись в свою комнатку, чтобы там, уткнувшись лицом в подушку, тоненько и протяжно завывать, комкая в кулачках простыню, бессильно и тяжело извиваясь от непомерного горя. Как-то раз Фёдор всё же попытался выяснить судьбу брата, но ему намекнули, что лучше не соваться, куда не надо. Они сами, мол, как-нибудь разберутся, а у Фёдора семья, зачем ей рисковать...

Пролетало лето. Часть жителей эвакуировали, но в Севске постоянно появлялись новые лица. Туда проходили колонны военных, спеша заполнить собой бреши выкошенных смертью солдат. В обратную сторону потянулись обозы с ранеными. Окровавленные бинты и запах гниющей плоти наполняли воздух, как и стоны несчаст-

ных. Нина пыталась вглядываться в их лица, боясь увидеть в одной из подвод свою мать. Её не было. По вечерам девушка бегала помогать медсёстрам в больницу.

Нине не спалось. Она долго ворочалась на узеньком топчанчике, сбрасывала с себя одеяло, потом снова накрывалась, поправляла подушку... Полная луна болезненно и ярко светила в окно. На дворе заунывно и жутко завывала Свирька. Нина вышла во двор, чтобы успокоить собаку. «Как бы не перебудила всех. Вставать-то ни свет, ни заря», — подумала девушка. Внезапно грудь ей сдавила дикая, почти непереносимая боль. Ей почудились звуки выстрелов. Но вокруг была тишина. Нина закричала. Закричала так, как не кричала никогда. На крыльцо выбежал полуодетый Фёдор.

— Что случилось, Нина?!

— Отца расстреляли. — Тихо прошептала она, вытатливая из пересохшего рта непослушные скребущиеся слова.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Только что. Я почувствовала.

— Я съезжу завтра в область. Постараюсь узнать.

— Да.

До возвращения дяди Нина ходила полуживая. Её застывшее лицо и обращённый вглубь себя взгляд беспокоили и Алёну, и Марусю, зашедшую проведать подругу. Отвечая на вопросы односложными: «да», «нет», «не хочу», «спасибо», Нина стремилась отграничиться ото всех, остаться одной, чтобы не приставали с вопросами, не донимали, не пытались сочувствовать и сопереживать — это было только её горе и только её боль. Вместе с тем в ней зрела какая-то безумная надежда на то, что она ошиблась, и что дядя Федя привезёт утешительные известия, а, может быть, приедет вместе с отцом... Душа её как плод, тронутый червоточиной, всё ещё пыталась сопротивляться, придумывать себе обманки, чтобы сохранить первозданный вид, но получалось плохо —

изнутри грызла настойчивая боль, зудела и разрасталась, выедавая её изнутри.

Вернулся Фёдор только через трое суток. Осунувшийся и небритый. Ссутулившись, присел за стол и спрятал лицо в ладонях.

— Его расстреляли. Тело, — сказали, — не выдадут. Уже закопали где-то. Изменников Родины не хоронят. — Он обвёл глазами комнату, посмотрел на Алёну и Нину, стукнул кулаком по столу.

— Мой брат не был изменником Родины. Изменники Родины расстреливают таких как он! Он был самым лучшим из всех, кого я знал! Больной, безобидный интеллигентный человек, бухгалтер! После операции!

Алёна наклонилась к мужу.

— Тише, нас могут подслушать.

— И что?

— У тебя дети на руках и племянница! Молчи, пожалуйста, умоляю!

— Молчать? Да, ты права, надо молчать! Но как? Как вынести всё это, скажи мне?

— Не знаю.

— И я не знаю, Алёна. Прости меня, Нина. Я был слишком уверен в том, что Колю отпустят, иначе я бы горы свернул, но доказал его невиновность.

— Тогда вас убили бы обоих. — горько сказала Нина.

— Но я бы не мучился, как сейчас!

— Дядя Федя, ты не виноват. Виноваты они. — Нина посмотрела жёсткими, сухими глазами на Фёдора и вышла из комнаты.

7. Казнь

Наступил сентябрь. Солнце начало золотить на деревьях и кустарниках листья, напоминая о том, что пора собирать урожай. Но его практически не было. Разорённая, наполовину сожжённая земля скорбно

плакала тучами над своими поруганными дарами. Только потяжелевшие от плодов яблони сгибались под весом золотисто-красных плодов, ожидая, когда же освободят их от этого привычного груза. Припорошённые пылью листья скукоживались и уныло обвисали с ветвей вниз.

Немцы пришли 1 октября 1941 года. Конечно, все знали, что со дня на день они займут город, но по-настоящему в это никто не верил — всё это было похоже на страшную сказку. Станкостроительный завод успели эвакуировать, но Фёдора оставили как коммуниста-подпольщика для связи с партизанами. Он подозревал, что «они», его соратники, легко бы пожертвовали им в случае нужды, особенно теперь, когда на него легло клеймо брата, предателя Родины. И совершенно не имело никакого значения то, что при нём оставались его жена, трое детей и почти осиротевшая племянница. В душе Фёдора царил сумятица.

— Немцы идут! — кричал восьмилетний мальчонка, галопом пробегая по улице и поддерживая руками сваливающиеся штаны. Верёвочку он в спешке где-то потерял. — Немцы!

Попрятавшись за ставнями, за околицами и заборами люди наблюдали, как в Севск входят враги. То тут, то там тьякали, гавкали и завывали собаки, возмущаясь таким огромным количеством незнакомых людей и тем запахом страха, который внезапно стал исходить от их собственных хозяев. Грузовые машины с немецкими солдатами деловито, как навозные жуки, ползли по городу. Переговариваясь между собой на жёстком, режущем слух языке, оттирая прокопчённые лица, они с любопытством разглядывали город, растекаясь лавиной по улочкам и переулкам. Аккуратная, не успевшая обноситься форма, чёрные скрипящие ботинки, старательно начищенное оружие выдавали быстрое и победоносное шествие врага по нашей земле.

Алёна заставила Нину накинуть на волосы платок и немного сдвинуть его на лоб, чтобы прикрыть лицо. Двое, денщик и офицер, пришли и в дом Фёдора. Один из них высокий, статный, со светлыми льдыстыми, почти белыми, навывкате глазами, был особенно страшен. И не оттого, что его висок отмечал незаживший ещё багровый рубец, просто глаза его были какими-то потусторонними, холодными и чужими. Нина поймала себя на мысли, что именно такими должны быть глаза дьявола, если бы он существовал. Рубленый квадратный подбородок выдавал властную натуру, привыкшую командовать и отдавать приказы. Самое страшное было то, что это абсолютно такие же, обычные люди, из плоти и крови, как и все вокруг. От этого становилось ещё страшнее, потому что совершенно непонятно, как может сочетаться с человеческим телом такой холодный и чуждый разум, враждебный, беспристрастный, безжалостный. Офицер равнодушно оглядел дом, хозяйственно прошёл по комнатам, не поленился заглянуть и в подпол. С подозрением посмотрел на Фёдора, но промолчал. Лающим голосом сказал что-то непонятное денщику и указал Фёдору и Алёне на небольшую комнатку при входе, почти в сенях. Жестом показал, будто сгребает вещи и несёт их туда. Федор покорно кивнул. Возражать в такой ситуации бесполезно. Они быстро перенесли необходимые вещи. В десятиметровой комнате им придётся жить вшестером. В двух остальных вальяжно разместились офицер Франц и его денщик Ганс. Безликое худощавое лицо Ганса было незапоминающимся, расплывчатым, как манная каша. Он никогда не орал, не суетился и не пил водку, подражая в этом своему командиру. На истинных хозяев дома постояльцы практически не обращали внимания, просто их не замечая и больше не притесняя. Дети Фёдора и Алёны, даже маленькая Анна, вели себя тихо, подсознательно, каким-то звериным инстинктом понимая, что так надо. Они затаились, словно в игре «Замри-отомри», застыли до того момента, когда, наконец, можно будет опять почувствовать себя живыми.

Обшарив город на предмет неблагонадёжных личностей — коммунистов, немцы заняли школу и Дом культуры под штаб. Солдаты же разместились по домам, радостно и хлопотливо собирая съестную дань и всё, что может пригодиться в будущем или просто приглянется. Нанеся визит в местную больницу, немецкий полковник приказал проверить больных. Раненых и тяжелобольных грузили на грузовики и куда-то увозили, остальным отвели левое крыло, правое же и центральное — освободили для немецких солдат. Остальных распустили по домам. Всё было как-то очень буднично и спокойно, без суеты, выстрелов, криков. Настороженные люди ожидали худшего.

Нина редко выходила из дома, поэтому все сведения приносил Фёдор, которого заставляли делать различную чёрную работу: вырубать деревья и кустарники, рыть за городом котлован и оборонительные укрепления.

Появились первые указы, развешиваемые на церквях, магазинах, заборах. Немецкое командование предупреждало: «За укрывательство партизан и коммунистов, за хранение оружия — расстрел. За саботаж работы — расстрел. За неявку на биржу труда — расстрел». Зато зарегистрировавшимся и выполняющим работу по приказу немецкого командования полагался маленький двухсотграммовый пищевой паёк.

Земля полнилась слухами. Народ тихо перешёптывался, донося страшные сведения о зверствах, творимых фашистами в соседних городах и сёлах. Партизанские листовки рассказывали местным жителям о том, что в Новозыбкове, в Клинцах, Бежице, Стародубе было расстреляно несколько тысяч мирных жителей. В Севске тоже появились виселицы. Для острастки были повешены выявленные в городе коммунисты, и — дурачок Тёмка.

Нина, решившая в тот день навестить Марусю, увидела, как он укусил за руку офицера Франца, когда тот хотел застрелить единственного Темкиного друга — брехливую бездомную собачонку Клашку. Брезгливо

отбросив от себя мальчонку, офицер пальнул в улепётывающую дворняжку, но промахнулся. Дурачок счастливо рассмеялся. Рассвирепевший офицер неторопливо подошёл к Тёмке и со всего маха пнул его мыском сапога в живот. Резко приказал двум находящимся неподалёку солдатам подойти: “Bringen Sie diese Schlangenbrut auf den Platz und hangen Sie ihn auf! Alle Russen sind Raubtiere. Sie sollen vernichtet werden”*. Те невозмутимо подхватили дурачка под руки и потащили прочь. Он же, не понимая в чём дело, вопросительно заглядывал им в глаза и взбрыкивал голыми пятками. Нина метнулась было к офицеру, но чья-то рука властно удержала её на месте. Обернувшись, девушка увидела школьного учителя Алексея Ильича Мирошникова.

— Не надо, Нина! Ты ничем ему не поможешь.

— Пустите, Алексей Ильич! Так же нельзя! Вы разве не понимаете?

— Я понимаю, что под горячую руку тебя повесят вместе с мальчонкой!

— Нет! Его надо спасти! Я объясню, что он глупенький и больной!

— Это не важно для них, Нина. Поверь мне. Терпи.

— И вы так на это спокойно смотрите?

— Я сам разрываюсь от желания помочь, просто я знаю, что будет, вмешайся мы сейчас. Иногда приходится молчать, даже если безумно тяжело. Пойдём, девочка, я отведу тебя домой.

Нина безвольно шла за учителем, который буквально тащил её за собой. Ей казалось, что из неё вынули всю душу, оставив только пустую ненужную оболочку. Дома у неё всё валилось из рук. Перед глазами стоял Тёмка, бросившийся на защиту друга. «А мы не смогли его защитить. Побоялись...» На сердце лежала тяжесть. «Ну и пусть бы они меня убили, лишь бы не чувствовать себя

* Оттащите это змеиное отродье на площадь и повесьте. Русские все звери. Их надо уничтожать (нем.).

сейчас такой ничтожной. Лишь бы не так! За отца тоже некому было заступиться, и он погиб. Неужели мы так и будем молчать и идти на компромиссы со своей совестью, лишь бы выжить? И я тоже в этом виновата. Надо как-то по-другому жить!» Но сделать уже ничего было нельзя.

На площади было пусто. Ветер гнал по мостовой похлывые листья, грязные комки сорванных и смятых листовок и мелкий сор. Чёрные остовы голых облетевших деревьев печально застыли рядом с виселицами, будто безмолвные стражи. Щуплое тельце Тёмки медленно раскачивалось на ветру. На посиневшем страшном его лице навеки застыла недоуменная и обиженная страдальческая гримаса. Рядом висело тело дяди Гоши, известного и всеми любимого гармониста. Когда немцы пришли в его дом, он был пьян и бесшабашен, схватил вилы и попытался обороняться. Третьим повешенным оказался главный врач больницы Пётр Фомич Струнников, решивший выяснить, куда увозят раненых на грузовиках и воспрепятствовать этому. Трупы повешенных несколько дней не снимали. Проходя мимо, люди отводили глаза. Смотреть не было сил.

В январе 1942 года по всей округе разнеслась жуткая весть: немцы расстреляли шестьдесят три воспитанника Трубчевского детского дома, а трупы спустили под лёд реки Десны. Люди цепенели от ужаса, молясь, чтобы завтра того же не случилось и с их детьми.

Гораздо позже люди узнали, что это был приказ Гитлера, так называемая «техника сокращения чуждого населения». Все эти новости узнавались из листовок, отважно расклеиваемых и разбрасываемых подпольщиками на базарах и площадях.

Из-за отсутствия еды, медикаментов, нормальных условий существования по всей Брянщине пошла эпидемия тифа. Трагедия пришла практически в каждую семью.

Немцы ужесточали контроль из-за многочисленных партизанских отрядов, успешно действовавших в дремучих Брянских лесах. Неуловимые тени мстителей, ночные призраки, бесшумно скользили и наносили смертоносные удары по врагу, растворяясь потом бесследно в темноте. Отвечало за это местное население — своими жизнями.

8. Мама

Прошёл год. Вернее, протянулся, потому что время замедлилось, стало вязким и текучим. Казалось, что за тобой, куда бы ты ни пошёл, наблюдают фасетчатые глаза немцев, способные уловить и отследить всё. Жить под таким гнѐтом было невыносимо страшно. Людей стали сгонять на регистрационные пункты и угонять в Германию на работы. Вместо любимой девочками, родной школы немцы открыли дом терпимости. Из школьных классов теперь доносилась весёлая музыка, пьяные голоса немцев и продажные похохатывания местных жриц любви. Однажды в жутком шоке Маруся поведала Нине о том, что видела в одном из окон их одноклассницу Ольгу Каблукову. Больше на эту тему они не разговаривали, но Нине сразу вспомнилось, что Ольга всегда их сторонилась, пренебрегая. Дочь директора мясокомбината, она считала себя гораздо выше статусом, чтобы общаться с такой неподходящей компанией.

Как-то раз Маруся прибежала к подруге в слезах.

— Меня угоняют в Германию! — недоуменным шѐпотом произнесла девушка.

— Что? — переспросила Нина.

— Угоняют. В Германию.

— А ты?

— Не знаю.

— Боже мой, Маша, надо что-то делать! Бежать!

— Куда бежать?

- К партизанам.
- А как?
- Не знаю.
- Поздно. Завтра уже.
- Пойдёшь?
- Пойду. Иначе маму убьют.
- Тебя проводить?
- Не надо. Я иначе не выдержу. Мне и так страшно.
- Маленькая моя! Бедняжечка! — Нина обняла подругу, и Маруся, уткнувшись ей в плечо, плакала и плакала до самого вечера.

Нина проводила её до дома и побежала обратно, стремясь успеть до комендантского часа. Утром потерянно смотрела в окно, представляя, как Марусю запикивают в вагон поезда. Надолго ли и её миновала подобная участь?

На следующий день кто-то постучал в окно. Выглянув в дверь, Нина увидела подругу.

— Ты не уехала?

— Как видишь. Когда поезд тронулся, меня соседка, тётя Паша, в окно выпихнула и сказала бежать домой. Я побежала. Думала, будут стрелять в спину, но, как видишь, обошлось.

— Милая! Я так рада! Тебе за это ничего не будет?

— Посмотрим. Что сделано, то сделано. Зато мама рада. Документы на улице у меня не проверяют, так что ничего. Как-нибудь. Ладно, Нинк, я домой пойду, всё же боязно немного.

— Ага. Ты всё же поменьше высовывайся, ладно? Я к тебе лучше сама буду забегать.

— Пока! — Маруся торопливо зашагала прочь, кутаясь в старенький тулупчик и оставляя на поскрипывающем снегу следы от валенок.

Однажды ночью, в январе 1943 года, мама вернулась. Чуткий сон Нины прервало чуть слышное поскрёбывание в дверь. Подхватившись, она подбежала и распахнула

дверь, успев подставить руки до того, как мать бессознательным кулём свалилась ей на руки. Её лихорадило. Сухая потрескавшаяся кожа горела огнём. Исхудавшее тело было почти невесомым. Глаза запали, огромные синяки подчёркивали болезненную бледность кожи. Тонкие от природы руки стали ещё тоньше и жалобнее, словно сухие веточки сломленного дерева. Нина сама не заметила, как без всякой помощи втащила её внутрь, пока не заметили нежеланные постояльцы.

— По-моему, у неё воспаление лёгких. — сказала Алёна. — Слышишь, как хрипло и со свистом она дышит?

— Да, похоже. — подтвердил Фёдор. — Завтра я постараюсь навестись в больницу и спросить у Валерия Петровича, что делать.

— Если они её увидят, нам несдобровать, — прошептала Алёна.

— Скажем, что она моя сестра из Бежицы, — твёрдым голосом произнёс Фёдор.

Нина тревожно вглядывалась в мать и не узнавала её. Снимая грязную засаленную куртку и брюки, стаскивая истоптанные сапоги и разматывая портянки, девушка настороженно прислушивалась, не слышно ли в соседней комнате шагов немцев. Мать невероятно исхудала. Сквозь кожу просвечивали кости. Сбитые в кровь ноги были покрыты струпами. Обтирая влажной тряпкой её тело и лицо, девушка пыталась понять, как же спасти мать.

— Пить! — чуть разомкнув губы, прошептала та.

— Да, мама, пей. — Наклонив кружку с водой, Нина смотрела, как жадно пьёт мать, проливая воду на грудь.

Пока оставалось только молиться, хотя молиться-то Нина и не умела. В младенчестве её тайком окрестила бабушка Дуся, но вслух об этом никогда не говорилось, и крестика девушка не носила. Слова молитвы были ей чужды, но тут из каких-то тайников памяти они начали внезапно всплывать, нашёптанные бабушкой, Евдокией Петровной, которая каждый вечер, пока была жива, крестила на ночь любимую внучку и про себя, еле слышно,

молилась о ней. Теперь и Нина повторяла эти забытые почти слова в надежде на чудо. Девушка почти не отходила от матери, составляя для неё целебные отвары из трав и меняя холодные компрессы. Она не знала, как ей спасти мать, знала только, что непременно это сделает. Именно тогда она поняла, что не зря решила стать врачом, и обязательно станет, и никогда больше не будет испытывать той бессильной обречённости от незнания и неумения.

Поглаживая маму по голове, Нина тихо шептала, давась слезами: «Мама, мамочка! Не бросай меня. Слышишь? Ты нужна мне. Я так люблю тебя! Когда я была маленькой, и мне было по ночам страшно, ты часто сидела у моего изголовья и гладила меня по голове и уверяла, что никаких чудовищ не бывает. Когда я болела, ты всегда была рядом и укачивала меня на руках, и я могла ткнуться тебе лицом в тёплые натруженные ладони и целовать их, вдыхать родной запах, и мне становилось легче. А ещё ты рассказывала мне сказки про прекрасных принцесс и принцев, про то, что добро всегда побеждает зло. Я всегда могла доверить тебе свои девичьи секреты, зная, что ты не осудишь меня, поймёшь, поможешь. Ты поддерживала меня, когда я решила поступать в институт. Не оставляй меня одну, пожалуйста, мама! Мне так страшно!»

Александра Ивановна постепенно приходила в себя. Она видела умоляющие глаза дочери и через силу тянула себя к свету, в жизнь, хотя ей так хотелось уйти в тот слепящий глаза покой, где почему-то любимый Костя ждал её на пороге и протягивал руку, чтобы пойти туда вместе. Но отчаянный шёпот Нины, слова: «Мама! Мамочка! Ты так нужна мне!» — не давали ей этой возможности, и Александра возвращалась. Через боль и усталость она возвращалась к своему ребёнку, чтобы защитить её, как приказывал материнский инстинкт. По приглушённому шёпоту родственников, женщина догадывалась о смерти мужа, но была слишком слаба, чтобы принять в себя эту

страшную новость и осознать её, на слёзы сил не было, они все уходили на борьбу со смертью.

Она подолгу сидела у малюсенького подслеповатого от грязи окошка, закутавшись в колючий шерстяной платок, и смотрела на белый снежный покров земли. Окно по краям было разрисовано морозной лубочной вязью, такой привычной и уютной для долгих русских зим, и было так странно наблюдать оттуда в подтаявший от ладони просвет за чёрными фигурами мессеров, которые как вороны беспокойно вились над опустевшими полями в антрацитовом мрачном небе. Франц и остальные отнеслись к её появлению равнодушно, почти не заметив его. Когда-то густые золотисто-пшеничные волосы Александры поблёкли и поредели, с левой стороны выбивалась наружу седая прядь, завиваясь кольцом и налезая на глаза. На лбу, под глазами и у рта появились морщинки. С начала войны не прошло и года, а казалось, что позади целая жизнь. Она совершенно не помнила, как больная, в бреду добиралась домой, демобилизованная из армии по болезни, уйдя из расформированного госпиталя в Старом Осколе. В памяти сохранилась только мозаика чужих незнакомых лиц, тряская дорога и дрожащее мутное небо, опрокидывающееся над головой. Шурочка чувствовала себя старухой. В голове и на сердце была пустота. Александра вернулась, но теперь не знала, как ей жить дальше. Ясные серые глаза потухли и уже не светились тем сказочным светом, который когда-то пленил Константина. Он говорил, что их цвет похож на предгрозовое небо, прекрасное в своей величественности и первобытной мощи. Сейчас Александра пыталась собрать остатки этой мощи, чтобы решить дальнейшую их с дочерью судьбу.

— Как ты? — голос Фёдора вывел Александру из задумчивости.

— Нормально. Не беспокойся.

— Я хотел поговорить с тобой. Ты знаешь, я всегда любил брата и хочу, чтобы вы оставались жить с нами. Ничего, мы как-нибудь прокормимся.

- Расскажи мне, как его убили. Это полицаи?
- Нет, Шура, увь. На него написали донос, что он немецкий шпион, и его расстреляли наши.
- Шпион... ты меня... удивил, Федя. — горькая усмешка исказила лицо Александры. — А кто донёс?
- Не знаю. Они не говорят. Ты извини меня, надо было вмешаться, как-нибудь объяснить им правду. Я не мог и подумать, что всё так закончится.
- Твоей вины тут нет.
- Ты держишься?
- Стараюсь. Ради Нины. Для неё это слишком тяжёлый удар, они были с отцом так близки.
- Нина чудесная девочка. Я буду рад, если вы будете жить с нами.
- Я благодарна тебе, Федя. Но, знаешь, я думаю, что мы уйдём.
- Куда? Ты еле живая!
- Не сейчас. Чуть позже. Когда малость окрепну.
- Зачем?
- Нас тут ничто не держит, извини. Мне тяжело здесь. Я не смогу жить прошлым. Я хочу забыть эту страницу, стереть её. Кроме того, жить рядом с врагами и знать, что в любой момент какая-то пьяная сволочь может её насильничать, я не могу. Нина красивая девушка.
- Может быть ты и права.
- Я права.
- Мне тяжело будет отпустить вас.
- Ещё тяжелее тебе будет, если ты будешь видеть происходящее с Ниной и ничем не сможешь помочь, или тебя убьют.
- Как вы уйдёте? Куда? В партизаны? Там тяжело. Зима. Через линию фронта вам не перейти.
- Посмотрим.

Нина с мамой никуда не ушли. Уходить было некуда. Но 27 августа 1943 года 69-я дивизия освободила Севск, за что потом получила почетное звание Севская. Было страшно и радостно, несмотря на происходящее вокруг.

Ещё накануне Фёдор укрыл всю семью в подполе дома брата — отца Нины, его фашисты освободили раньше, предпочтя съехать на более тихие и безопасные квартиры за пределами города. Франц и Ганс тоже ретировались в числе первых, так ничего и не прихватив из немногочисленного добра семьи Фёдора — пожить было особенно нечем. Взрывы и канонады доносились из подпола приглушенно, маленькая Аннушка жалась к матери, зарывшись с головой в её подол. Нина держала на коленях тихо подвывавшую Свирьку. Они сидели, прижавшись друг к другу, и молчали. Говорить не хотелось.

Освобождённый город ликовал, собирая по крохам съестное, чтобы чествовать победителей. Партизаны попросили разрешения у дяди Феди поставить в сарае лошадей. Тот с радостью согласился. Буквально через день, в пять утра, партизаны разбудили их, говоря, что немцы опять наступают и войска отходят назад. Нина и Александра Ивановна, собрав за пять минут узелок с вещами, ушли вместе с ними — не раздумывая.

За пазухой у Нины было спрятано самое ценное, что осталось на память от отца — сборник «Чтец-декламатор», и время от времени девушка беспокойно дотрагивалась до него пальцами, проверяя — не потерялся ли. Утро выдалось ясным и солнечным. На деревьях чирикали никогда не унывающие воробьи, желтогрудые синицы сидели на церковном заборе, внимательно высматривая, чем бы пожить, и казалось совершенно невероятным, что на земле в этот день может происходить что-то плохое, ужасное и непотребное.

Нине и Александре повезло. На дороге им попалась попутка, и водитель согласился их немного подвезти. Можно было перевести дух.

Шофёр оказался шутником и балагуром. Несмотря на то, что ему было уже далеко за шестьдесят, он строил обеим женщинам глазки и тут же клялся жениться на обеих, но только после того, как разведётся с женой.

— Я человек честный, — клялся он, — и не могу никого обманывать. Девушки, обещайте ждать меня. Как только закончится война, я разведусь со своей старухой и тут же отдам вам руку и сердце.

— Обеим? — насмешливо спрашивала Нина.

— Обеим, — задорно подмигивал тот. — Или нет. Я женюсь на твоей маме, а тебя удочерю. А?

— Не знаю, не знаю, — придуривалась Нина. — Это ещё надо посмотреть, кто к моей маме в мужья набивается. Видно будет.

— Если вы мне откажете, сударыни, моё сердце будет разбито навсегда, — прикладывая руку к животу, отвечал он.

— Эй, там живот, а не сердце! — хохотала Нина.

— У меня сердце там, где живот. Поэтому если меня как следует не кормить, то разобьётся именно сердце, — делая скорбную мину, отвечал ловелас.

Этот отчаянный флирт оказался тем самым спасительным бальзамом, необходимым лекарством для того, чтобы не заплакать, не испугаться своего непонятного и страшного пути в никуда, собраться с мыслями, взять себя в руки и понять, что на их пути тоже будут люди — может быть, такие же испуганные и растерянные, как и они сами, может быть, весёлые хохмачи, как этот замечательный шофёр, или нехорошие и недобрые, но все они просто люди, а значит, жизнь продолжается.

9. Сашенька. «Чтец-декламатор»

Высадив их на каком-то полустанке, шофёр умчался, подняв за собой занавес из дорожной пыли. Теперь надо было дожидаться другой попутки. В помещении народу было немного, всего пять человек, не считая Нины и Александры. Двое о чём-то увлечённо разговаривали, отмечая на карте какие-то точки, передвигая заскоружные пальцы по линиям фронта. Двое спали, укрывшись шинелями. Один молодой офицер курил на улице. Нина

вышла наружу. Ей хотелось свежего воздуха, в помещении было душно. Молодой человек подвинулся, чтобы дать ей пройти, но очевидно неловко, потому что Нина внезапно споткнулась и непременно упала бы, если бы её не поддержали сильные руки офицера. При этом пальто девушки распахнулось и оттуда выпал сборник «Чтец-декламатор». Молодой человек наклонился и бережно поднял книгу.

— Можно посмотреть, что вы читаете? — спросил он.

— Пожалуйста, — зарделась Нина. — Извините, я такая неловкая.

— Это я виноват.

— Нет-нет, вы тут ни при чём!

— Как вас зовут?

— Нина. А вас?

— Александр.

— «Чтец-декламатор». Вы любите стихи?

— Да. Это осталось от папы. Он... раньше его читал... —

Нина опечаленно вздохнула, вспомнив отца.

— Извините, если расстроил. Вы куда направляетесь?

— На фронт. Я точно не знаю куда.

— Здесь неподалёку стоит медсанчасть Второй танковой армии. Я думаю, они вас примут. Идите к ним.

— Спасибо. Я скажу маме.

— Может быть, вы согласитесь писать мне иногда письма?

— Соглашусь. — Нина потупила глаза.

— А вы будете мне переписывать из книги стихи, которые вам больше всего нравятся, ладно?

— Хорошо, конечно.

— Я тоже очень люблю поэзию.

Сердце Нины колотилось с невыносимой быстротой, а в душе всё пело, крича и ликуя: «Это он!». Откуда так внезапно Нина поняла это, она не знала. Просто чувствовала, что Александр — это тот самый единственный, которого и предназначила ей судьба. Молодой человек тоже был ошарашен встречей и не мог отвести от Нины

глаз. Несколько часов, что им подарила судьба, они сидели рядом и говорили. Обо всём и совершенно ни о чём, как могут говорить только незнакомые люди, почувствовавшие вдруг небывалую симпатию, люди, которым всё интересно друг в друге. Они могут рассказывать смешные случаи из своего детства, делиться мыслями о прочитанных книгах, мечтать о том времени, когда кончится война и можно будет вновь встретиться, чтобы не расставаться больше никогда, и бродить вместе по лесу, взявшись за руки, и любоваться закатами, пьянея от чистого воздуха и близости друг друга...

Нина рассказала Саше про то, как они жили всё это время в Севске, и как расстреляли папу, и как вернулась из расформированного госпиталя больная мама.

— Я понимаю, — говорил Саша. — Тебе пришлось нелегко. Я верю, что твой папа был ни при чём. Просто сейчас война. Бывают и ошибки. Это горько. Прости их, они не со зла. Это всё немцы виноваты. Всем трудно и больно. До встречи с тобой в моей груди тоже жила боль от случайной ошибки. Знаешь, у меня был друг, Денис Ветров, мой земляк. Мы вместе воевали. Однажды он нарушил инструкцию по установке минного поля, но её все всегда нарушали! Но в итоге сочетания случайного — погибло несколько человек. Штрафного батальона у нас не было, поэтому Дениса разжаловали из офицеров в рядовые и отправили на передовую. Офицеров-сапёров не хватало, и я постоянно выпрашивал его к себе для важных работ. Денис получал благодарности командования, а потом ему сняли судимость и восстановили звание.

— Это так хорошо, Саша!

— Да, Нина, но это ещё не всё. Мы обрадовались и решили отметить событие. Укрылись в одном каменном доме, тем более, что всё было тихо, и отпраздновали. В комнате была только одна кровать, и я положил на неё друга, пожалев его после окопной жизни, а сам лёг спать на полу, под стенкой. Ночью в эту стену ударил снаряд. Стена-то выдержала, но с внутренней стороны от неё откололся кирпич, пролетел надо мной и разmozжил Денису

голову. Он даже не успел проснуться. Я долго после этого винил себя в том, что случилось, и не мог найти себе места. Теперь я понимаю, что это судьба.

— Это судьба, Саша. Но какая горькая!

— Мы можем только идти вперёд, нам больше ничего не остаётся. Крепись, Нина. Пиши мне, пожалуйста.

— Хорошо, ты тоже пиши. И не унывай. Мы победим.

— Мы победим, и я приеду к тебе.

Ах, как быстро пролетели те несколько часов, что отвела им на встречу судьба! Начеркав адрес своей полевой почты на куске серой папиросной бумаги, он уехал. Александра Ивановна смотрела на дочь со стороны, не мешая и не вмешиваясь. Она радовалась за неё и одновременно печалилась, понимая, что жизнь может сложиться вразрез с представлениями юной девушки о счастье. Но право влюбиться отнять не может никто. Да это и не нужно. Ведь это надежда, а что ещё может помочь выстоять в такой трудной борьбе? Только вера, надежда и любовь.

Все три года, что ей довелось провести в качестве санитарки, Нина писала своему возлюбленному Сашеньке письма и с нетерпением ждала от него весточек, которые приходили, хоть и не так часто.

«Милая Нина, здравствуй! Я так рад был получить от тебя весточку. Сегодня, когда не знаешь, где можешь очутиться завтра — это почти чудо. И это чудо ты! Засыпая и просыпаясь, я каждый день и час радуюсь тому, что нас с тобой свела судьба на этом случайном полустанке. Напиши мне, как ты, как твоя мама. Тебе, наверное, очень тяжело. Родная моя, потерпи, мы обязательно встретимся, и всё будет хорошо...»

«Сашенька, здравствуй! Я так волнуюсь за тебя и постоянно мечтаю о встрече. Когда же, наконец, наступит мир? Сколько можно терпеть эту муку?»

О нет, я не жалуясь, просто мне так невыносимо каждый миг волноваться за тебя, думать, как ты, что с тобой... Я прошу тебя, будь осторожен, насколько это возможно. Ты мне так нужен. Я и мама здоровы. Всё хорошо. Береги себя, ладно?!»

«...Помнишь, Нина, у Сергея Есенина есть такие строки:

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста.

Ты — моя песня и моя мечта, мой дивный сон. Когда я ложусь спать, то закрываю глаза с надеждой, что снова увижу тебя, хотя бы во сне. Пиши мне чаще, если можешь. Надеюсь, что хоть какие-то письма до меня дойдут. Ведь я их так жду!..»

«Милая моя Нина! Я не получил от тебя предыдущего письма! Может быть, оно ещё дойдёт. Я надеюсь. У меня всё по-прежнему: жив, здоров и даже не ранен. Описывать свои будни я тебе не буду, — в них нет ничего интересного. Война есть война, и кому это знать, как не тебе, моей мужественной девочке! Я тут внезапно вспомнил одно стихотворение, которое когда-то давно запало мне в душу и странно тревожило. Насколько я помню, его написал Аполлон Григорьев. Но может, в твоём сборнике оно есть? Вот, читай:

Над тобою мне тайная сила дана,
Это сила звезды роковой.
Есть преданье — сама ты преданий полна —
Так послушай: бывает порой,
В небесах загорится, средь сонма светил,
Небывалое вдруг иногда,
И гореть ему ярко господь присудил —
Но падучая это звезда...
И сама ли нечистым огнём сожжена,
Или звёздному кругу чужда,
Серафимами свержена с неба она, —
Рассыпается прахом звезда;

И дано, говорят, той печальной звезде
Искушение посеять одно,
Да лукавые сны, да страданье везде,
Где рассыпаться ей суждено.

*Дальше я не помню, вроде там было продолжение.
Красиво, правда? Я люблю тебя и жду встречи. Скучаешь
ли ты? Ждёшь ли меня? Помнишь ли?..»*

Переболев брюшным, а потом и сыпным тифом, пройдя через многие тяготы и ужасы войны, Нина жила и выживала надеждой на встречу с любимым. В середине 1944 года Нину и Александру отправили в тыл — поступать в медицинский институт в город Черновцы. Девушка была счастлива, когда однажды ей вдруг пришло письмо, что Александр скоро должен приехать к ней. Увы, Сашеньку она так и не дождалась. Сначала Нину терзала смутная обида на то, что её любовь оказалась не столь существенной, и что любимый человек ею пренебрёг. Уже гораздо позже Нина узнала, что Александр Лацейко был убит бандеровцами в горах, на пути к ней. Какая-то печальная роковая звезда рассыпалась над их головами, посеяв страдание...

Через десять лет, когда Нина уже окончила институт и работала в больнице хирургом, к ней на операционный стол попал старый знакомый, теперь уже полковник, инженер авиации Вадим Коробов. Он рассказал ей, что долго пытался отыскать её след, но так и не сумел. Потом женился, но жена умерла родами, ребёнок выжил, и полковник в одиночестве воспитывал маленькую Ларису. После удачной операции Вадим трогательно и заботливо ухаживал за Ниной и сделал ей предложение. Нина согласилась.

Подруга Нины Маруся дождалась Володю, вышла за него замуж и родила ему двоих детей, как и мечтала — мальчика и девочку.

Дядя Федя, его жена Алена и двое сыновей остались жить в Севске, через полгода после ухода Нины и Алек-

сандры с болью в сердце похоронив маленькую Аннушку, которая умерла от сыпного тифа.

10. Послесловие

Моей любимой прабабушки Шурочки уже нет на свете, как и дедушки Вадима, и прадедушки дяди Феди, но есть бабушка, которой я и посвящаю эту повесть. Сейчас, когда я хожу с ней и своей маленькой дочкой, её правнучкой, на 9 мая в Парк Победы, я вижу, что к бабушке подходят люди и благодарят за то, что и она внесла свой вклад в эту победу. Ордена и медали на её груди — не просто так. Это так много — пережить это. Пройти войну и пронести эту боль, выпестовать её, переплавить в милосердие к людям — и всю жизнь спасать чужие жизни. Это Крестный путь многих, и мне захотелось, чтобы о простой русской женщине, которую никто не назвал Героем Советского Союза, тоже узнали люди, те люди, которые благодарят её и дарят цветы.

Кстати, медали она никогда не надевает, только на 9 мая. Не любит хвастаться. И в поликлинике тихо сидит в очереди — никогда не достаёт ветеранское удостоверение, чтобы пройти первой. Не умеет она иначе и не хочет.

А она иногда вечером задумывается за чашкой чая и начинает рассказывать нам о войне. Когда она рассказывает о Саше Лацейко, то на глазах появляются слёзы, которые она украдкой вытирает, думая, что их никто не видит. И я тоже низко опускаю голову, стараясь скрыть свои слёзы, зная, что ничто не искупит произошедшего.

Сборник «Чтец-декламатор» стоит на полке. Единственная семейная реликвия, уцелевшая в огне войны.

Моя сестра Надька

1

Моя сестра Надька забеременела от тополиного семени.

Тогда пух летел как снег, с юга дул горячий ветер, и была жара и белая метель, пух прилипал к мокрой от пота коже, и всё чесалось, и ей этим южным ветром надудло. Надьке ветром надудло, говорили, и живот её осенью стал раздуваться, как воздушный шар, если его надуть насосом от велосипеда. И я решил посмотреть.

— Надька, разденься! — крикнул я, когда мы остались дома одни, я крикнул ей прямо в лицо, хотя она была глухая — глухая совсем, ни грамма она не слышала. — Глухая тетеря! Раздевайся! Дура! — кричал я ей. Она улыбалась дурацкой своей улыбкой, от которой хотелось зарыться с головой в дерьмо и развеветься, — я больно толкнул её, я подталкивал её к дверям и потом потащил за руку по осенним мокрым дорожкам сада, я впихнул её в дощатый летний душ и закрыл дверь на ржавый крючок. Внутри пахло мочалкой. Надька вспомнила, что летом здесь купались и что надо раздеться, и начала медленно раздеваться, вешая на гвоздь зелёную шерстяную кофту, бордовый фланелевый халат, синюю мужскую трикотажную майку — я смотрел, — розовые байковые панталоны, панталоны сорвались с гвоздя, упали, большие, розовые, будто живые, в грязь, она, наклонившись, подняла, жалея их, встряхивая, оглаживая, вешала — я смотрел, — чёрные сатиновые мужские трусы, перешедшие ей от меня (я ещё не отвык от них), будто это часть меня — так странно — чернела, распятая на розовом, мягком, байковом...

Она стояла поеживаясь, смотрела на серый квадрат неба, с неба шёл душ — осенний, мелкий, холодный, бесконечный, — за серыми облаками — курлы-курлы — улетали невидимые птицы, а я смотрел на Надькин загорелый, кожаный, круглый, огромный шар её живота с узорным следом от резинки — этот шар становился с каждым днём больше и больше, и я всё боялся, всё боялся, что натянутая кожа не вытерпит и лопнет, — но он всё рос, этот шар, и я стал тайком ждать, что однажды в один из дней этот воздушный шар поднимет Надьку, мою сестру, туда, вверх, откуда идёт дождь, туда, где курлы-курлы, — и она повиснет над нашим серым военным печальным городом и будет лежать в небе, как аэростат или как солнце, и улыбнётся оттуда с неба своей дурацкой бессмысленной улыбкой, от которой хочется разреветься. И может, тогда наступит на земле жалость и счастье.

Под круглым животом у неё золотые волосы.

— Одевайся! — говорю я.

Она смотрит вверх на дождь и не слышит ни меня, ни птиц.

— Одевайся! — ору я. Я похлопываю её по спине, лопатки из спины выпирают, будто острые крылья, кожа в пупырышках, как у гуся.

Она оборачивается, я протягиваю ей чёрные сатиновые трусы, растягивая резинку. Она понимает и вшагивает в них.

— Молодец, — говорю я ей, будто она слышит. Я всегда чего-то жду от неё. Я каждый день жду, что она вдруг услышит меня, или заговорит, или перестанет быть дурочкой. Мне всегда кажется, что вот сейчас... Или завтра... Это оттого, что я очень чувствую Надькину добрую прекрасную душу, на которую накинута зачем-то тупое глухое и немое тело, будто засадили в тюрьму, где ни звука, ни крика.

И ещё я жду, когда Надька родит эту свою прекрасную душу — и она, эта душа, будет сильной, гладкоствольной, шелестящей, зелёной, растущей до неба, как тополь, от семени которого она забеременела.

2

— Пойдём в землянку, — говорю я Надьке, когда мы вышли из душевой.

Мы идём с ней в глубь сада. Там у нас выкопано убежище против атомной бомбы. Мы выкопали его с папой полмесяца назад. Папа копал большой лопатой, а мне дал свою — сапёрную. Мы рыли в воскресенье. В каждом дворе рыли тоже. Все ждали ядерной войны. Переговаривались через забор с соседями. Говорили о Кубе, о ракетах на Кубе, о Кеннеди, о Хрущёве, об Америке, о ракетном ударе, о том, кто ударит первый: они или мы. Мы жили в ракетном городе Капустин Яр и всё ждали, что американские ракеты ударят в первую очередь по нашему военному городку.

— Ох, доиграется Хрущ! Вдарит по нам Америка, как пить дать, вдарит! — говорил дядя Боря Сеницын, наш сосед слева.

— Испугаются, — говорил папа. — Мы ведь тоже тогда по ним ударим!

— Это — конец света! — сказала негромко и убеждённо соседка справа — тётя Маша. Она жила без мужа и рыла убежище вместе со своей шестилетней дочкой. — Писано же в старых книгах. Никто не спасётся.

— Зачем тогда роешь? — спросил дядя Боря.

— Для дочери, — ответила тётя Маша и с надеждой прибавила: — Вдруг да спасётся?!

Мы вырыли яму, положили на неё прутья. Путья закидали землёй.

— Если ударят — ничто не поможет, — сказал отец. Получилось отличное убежище.

Мы с мальчишками прятались в нём, играя в войнушку. Папа сказал, что в таких землянках они жили во время войны.

Мы залезли с Надькой в убежище, сели на скамеечку. Было темно, но не очень. Земля с крыши осыпалась, и сквозь прутья было видно небо. Дождь затекал в землянку.

— Это убежище гражданской обороны, — сказал я Надьке важно. — Скоро начнётся ядерная война.

Казалось, что Надька меня слушает.

— Мы спрячемся здесь, когда на нас будет падать атомная бомба.

Надька слушала.

— Атомная бомба взрывается бесшумно. — Я начал пересказывать ей то, что услышал в школе на занятиях по гражданской обороне. — Мы узнаем о её взрыве по ослепительной вспышке. На огненный шар смотреть не следует: человек может ослепнуть. Надо повернуться спиной к огненному шару и лечь на землю лицом вниз. Потом человек ощущает действие теплового излучения, затем испытывает действие ударной волны и в последнюю очередь слышит звук взрыва, напоминающий раскат грома.

Надька съёжилась. Мне и самому стало страшно.

— Не бойся, — сказал я. — Мы не увидим этого. Мы будем сидеть с тобой в убежище.

Дождь припустил сильнее, и на голову падали холодные капли.

— Нам нужно просидеть здесь не меньше минуты, чтобы не попасть под гамма-излучение.

Я замолчал и начал отсчитывать минуту.

Надька сидела и дрожала.

Капала вода.

Мне вдруг показалось, что идёт война и мы по настоящему сидим в убежище, прячась от бомбы.

— Пойдём, — сказал я и поднялся. — Теперь мы можем попасть под радиоактивное излучение. Мы этого даже можем не заметить. Главный признак, что мы получили дозу, — рвота.

Я взял Надьку за руку.

— Если человека рвёт целый час после взрыва, то это плохой признак. Это значит, что он получил смертельную дозу облучения. Если же рвота появляется через несколько часов...

Я не успел договорить.

Надька вдруг согнулась, закрыла рукою рот, и её вырвало. Потом ещё и ещё.

— Ты чего, Надька? Что с тобой?

Я потащил её домой, я тащил её по осенним дорожкам сада, но она то и дело останавливалась, сгибаясь над землёй. Её продолжало выворачивать.

Мы забежали в дом.

— Мама! Мама! — закричал я.

Мама выбежала из кухни:

— Что случилось?

— Надьке плохо, — сказал я. — Её рвёт!

Надька стояла перед матерью с бледно-зелёным измученным лицом, потом согнулась, и её опять вытошнило.

— Токсикоз, — сказала мама.

И увела Надьку в комнату.

3

— Видимо, скоро начнётся, — сказал маме отец через неделю.

Он стоял на пороге в шинели, собираясь идти на площадку — он там работал в ракетной шахте, — неулыбчивый, строгий, и глядел на нас так, будто прощался.

Мама подошла к нему, провела рукой по его лицу и вдруг бросилась к нему на грудь, заплакав. Он обнял её крепко, нежно, потом взял за талию и отставил от себя, как рюмочку. Полюбовался. Повернулся к нам. Мы с Надькой встали из-за стола и подошли. Он обнял нас и поцеловал.

— Береги мать и сестру! — сказал он мне.

Надька заревела вдруг как сирена, низко-низко:

— У-у-у!!!

Отец повернулся и пошёл.

Мы вышли на дорогу и долго смотрели ему вслед. Будто не на работу его провожали, а на войну. Не на день, а навеки.

4

Отец больше не приходил с работы.

Через неделю он позвонил матери в вычислительный центр и сказал только два слова:

— Сегодня ночью.

5

Вечером 28 октября 1962 года на весь город завывала сирена. Она выла и раньше по ночам, когда была учебная тревога.

Но сегодня она выла по-настоящему, будто живая, будто воет от горя над городом огромный — до самого неба — человек.

Она выла низко, надрывно, Надькиным голосом:

— У-у-у!!! У-у-у!!! — не переставая.

Началась ядерная война.

Мы с мамой и Надькой выбежали из дома и, как раньше по учебной тревоге, побежали к моей 232-й школе.

Фонари были погашены.

Навстречу нам бежали люди: со скатанными одеялами на плече, бежали строем солдаты — садились в грузовик, бежали к КПП на мотовоз офицеры, придерживая рукой на бегу свои фуражки.

Бежали родители с детьми, мужчины, женщины, старики, старухи. Каждый из них должен был знать, куда бежать: это было отрепетировано во время учебных тревог. Но многие растерялись и, добежав до площади, останавливались: здесь было хоть и темно, нолюдно и поэтому не так страшно. Человек с мегафоном упрашивал их разойтись по предприятиям.

Никто не расходился.

Мы пролезли сквозь толпу и побежали дальше.

В школу родителей не пускали: родители должны были идти на места своей службы и там ждать дальнейшего.

У дверей школы стоял плач. То родители прощались с детьми.

Мы начали прощаться тоже. Мама не плакала. Она была как бы в лихорадке. Она смотрела на нас с Надькой будто бы издалека сухими, строгими глазами, словно смотрела не на нас, а прямо в нас, вовнутрь, заглядывая нам в душу. Она обняла и поцеловала Надьку, потом меня. Она поцеловала меня в щёку, будто обожгла, — такие сухие, горячие были у неё губы.

— Мама! — сказал я.

И нас с Надькой потащило толпой внутрь.

6

Нас построили в спортзале по пионерским отрядам, всю дружину. Наша пионервожатая — Тракторина Петровна, седая старуха в пионерском галстуке, — вышла и сказала:

— Сейчас мы поедem в степь, подальше от города. Сегодня ночью кончается время ультиматума и наступает время «Ч». Сначала, от первого ракетного удара, погибнут те, кто останется в городе. Мы погибнем от второго удара, но мы будем единственными жертвами с нашей стороны. Дальше ударят наши ракеты и уничтожат Америку в считанные минуты. Вы, дети, станете героями, как Павлик Морозов, как Володя Дубинин. Наши имена узнает вся страна. О нас будут слагать легенды и петь песни. Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!

— Всегда готовы! — прокричали мы.

Нам раздали сухой паёк — целлофановые пакеты, в которых лежали шоколадные конфеты «Озеро Рица», вафли, печенье и мандарин, как в новогодних подарках. То ли потому, что они были уже приготовлены к Новому году, то ли потому, что это было — в последний раз.

7

Мы бежали по тёмным улицам, взявшись за руки, по двое, к автобусам. Мы бежали сначала по улице Победы, где стояла наша школа. Мимо Дома офицеров, куда мы всей семьёй ходили смотреть кино или на концерт. Потом по улице Советской Армии, мимо дома, где мы живём: дом под номером восемь. По Авиационной, мимо «дежурки» — дежурного магазина, где мы брали хлеб — чёрный хлеб по четырнадцать копеек и белый хлеб по двадцать копеек за килограмм; к буханке белого часто давали довесок — корочку хлеба, которую мы с Надькой,

не доходя до дома, съедали. Мимо улицы Ленина, по которой мы шли каждый год на парад. Мимо проспекта 9 Мая, где стояла баня: там папа парил меня в парной венником из полыни — берёзы в нашем краю не росли. Мимо Солдатского парка, здесь мы катались на каруселях: два самолёта носились по кругу — за штурвалом я и Надька. Я бежал и прощался с городом. Это была вся моя жизнь.

8

У КПП стояли автобусы. Я побежал сильнее, чтобы залезть первыми. Надька выдернула руку из моей и остановилась. Я оглянулся. Она стояла в золотом свете фар и, тяжело дыша, руками придерживала живот. Казалось, она держит золотой шар, прижимая его к себе — чтобы он не улетел.

— Сюда! Сюда! — закричала Тракторина Петровна, маша нам из дверей автобуса красным галстуком.

Мы с Надькой подошли к автобусу. Тракторина Петровна пропускала в автобус, сверяясь со списком. Когда подошла наша очередь, я сказал:

— Марат Сидоров. Надежда Сидорова.

Она отметила меня, а Надьку не нашла.

— Её нет в списке, — сказала она. — В каком она классе?

— Она не учится, — сказал я.

Тракторина Петровна с удивлением посмотрела на Надьку.

— Ах да, — поспешно сказала она, — мне говорили. Сидорова — эта та, что даун?

«Сама ты даун! Дура! Идиотка!» — хотел я сказать ей, но промолчал.

— Это её солдаты изнасиловали? — допытывалась она.

Кровь бросилась мне в лицо.

— Нет, — сказал я.

— Ну как же? Ещё письмо из отдела образования в школу приходило. Зимой в Солдатском парке Надю Сидорову, умственно отсталую девочку, трое солдат завели в водонапорную башню и изнасиловали...

- Никто её не насиловал! — заорал я.
- Ну да, ну да, — улыбнулась она ехидно, глядя выразительно на Надькин живот. — Как же! Ветром надуло...
- Пропустите! — сказал я.
- Тракторина Петровна заслонила дверь собой.
- Нет. Она не поедет! Её нет в списке! — злобно сказала она.
- Как — не поедет? — не поверил я. — Ведь она здесь погибнет одна?
- Таких, как она, — с ненавистью сказала Тракторина Петровна, — ещё в роддомах уничтожать надо. Она не человек! Пусть остаётся...
- В голове моей помутилось, в глазах потемнело, я уже ничего не соображал. Я вдруг неожиданно для себя нагнулся, схватил камень с земли и — замахнулся им на Тракторину Петровну.
- Но руку мою кто-то перехватил сзади.
- Не надо, сынок! — услышал я голос бабы Мани, нашей школьной нянечки. — Не бери грех на душу.
- Бандит! Бандит! — закричала Тракторина Петровна. — Ты куда не поедешь!
- Ну-ка отойди, Тракторина, — сказала баба Маня. — Пропусти мальчика в автобус! И её, душу живую. Это тебе не детдом! Да и время другое!
- И баба Маня пошла на Тракторину Петровну грудью.
- Тракторина Петровна нехотя отодвинулась и, что-то записав в свой листок, пропустила нас с Надькой в автобус.
- Ты, Марья Боканёва, как была подкулачница, так и осталась! — сказала она в сердцах бабе Мане. — И тюрьма тебя не исправила!
- Зато могила всех исправит! И тебя тоже! — легко сказала баба Маня, залезая в автобус вслед за нами.

9

Надька пристроилась рядом с бабой Маней. Я сел впереди, один, у самой кабины, чтобы никого не видеть. Лицо моё было горячим от жаркой крови. В висках стучало: Тракторина — дура! Дура! Дура!..

Но постепенно я успокоился. Посмотрел в окно. Мы ехали по бескрайней степи. Светила луна. Полынь отсвечивала серебряным. Казалось, что автобус катится по огромному серебряному блюду.

«Неужели же нас сегодня убьют?» — подумал я.

Оказывается, я сказал это вслух.

— Беда, — вздохнула баба Маня. — Уперлись, как два барана. Что наш, что ихний. А дети страдают... Не думай об этом. Даст Бог, выживем...

Но ужасная мысль о смерти поселилась во мне, не давая покоя. Я повернулся к бабе Мане:

— Баба Маня, скажи: где я буду, когда умру?

Баба Маня не успела мне ответить.

— Нигде! — сказала, будто мстя мне, Тракторина Петровна. — Превратишься в молекулы!

Я смотрел вперёд на мёртвую, будто ртутью залитую степь, и глотал слёзы.

Кто-то подошёл ко мне сзади, погладил мой стриженный затылок ладошкой.

Я обернулся — Надька стоит, смотрит на степь, в серебряную даль.

10

Автобус остановился посреди степи. Он выгрузил нас и поехал назад, за следующим классом.

Мы вышли. Вся степь была усыпана детьми: их привезли из школ и детских садов. В темноте то тут, то там слышался смех, крик или разговор. Разжигать костёр было нельзя, чтобы не дать наводку врагу, который наблюдал за нами со спутника. Но наша Тракторина Петровна приказала нам набрать травы перекати-поле.

Она разожгла костёр в ночи.

— Пусть видит Америка нас, пусть целится в нас лучше, — сказала Тракторина Петровна в чёрное небо — прямо в звёздные глаза Америки, целящейся в нас.

Все сели вокруг костра и запели яростные песни двадцатых годов — эти песни своей юности научила нас петь

Тракторина Петровна. Всё было сначала так, как в походах, у пионерских костров.

Я сидел рядом с Надей и не пел. Я думал: а вдруг американцы ударят именно сейчас? Было тревожно.

Потом начали есть свои сухие пайки, шурша целлофаном и фантиками от шоколадных конфет, хрустя вафлями и печеньем. Запахло мандаринами. И сразу всем вспомнился Новый год, все засмеялись и заговорили разом. Какая-то девочка из детского сада тонким голосом запела:

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла...
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
Все подхватили.

Я тоже запел эту детскую песенку и посмотрел с надеждой в небо.

Мне вдруг показалось, что там, в Америке, сейчас увидят нас, и наш костёр, и то, как мы сидим у костра и поём, услышат наши песни — и поймут, что нападать не нужно. Не смогут они нанести удар по нам, поющим детям, не решатся...

Страх прошёл.

Звёздное небо было полно круглых ярких звёзд, и не верилось, что с него может прийти смерть.

Войны не будет, подумал я...

Баба Маня начала рассказывать малышам сказку, и сказка заканчивалась хорошо и счастливо, и я, сражённый этим счастливым концом, глядя на чистые, ясные звёзды, свисающие новогодними гирляндами, будто с огромной сказочной ёлки, сладко заснул.

Проснулся я как от толчка, в полной темноте, от пронзившей меня насквозь ясной и ужасной мысли, что всё уже кончено.

Я был абсолютно один. Никого рядом со мной не было. Плотная, как одеяло, тьма окружала меня со всех сторон. Не было неба и звёзд. Не было степи. Тьма была сверху меня и снизу.

И я понял, что настал Конец Света.

Я понял, что я проспал взрыв, что все уже убиты и остался я один.

Я ощущал своё лицо, руки, ноги — они были целы. Я не знал, видят ли мои глаза, — я ничего не видел. Я почему-то не мог кричать — чем-то перехватило горло, словно жгутом, — я еле мог дышать. Сердце, наоборот, стало огромным — оно стучало у меня в ушах. Оно стучало так громко, что я испугался, что его услышат и прицелятся сверху, со спутника, и побежал, чтобы не попали, и за мной вдруг что-то побежало тоже, ломанулось вслед, как зверь, какое-то страшное чудовище, чем-то хрустко и ломко хлопая и шурша, почти догоняя меня, — Оно бежало совсем рядом. Я побежал быстрее, но и Оно, будто играя, побежало быстрее, хлопая, лязгая и взвизгивая всё громче, всё радостнее.

Будто сама Смерть гонялась за мной в крошечной тьме, и, чувствуя, как волосы мои от ужаса стали дыбом, я, обезумев, закричал и так, крича, помчался от неё, задыхаясь, уже изо всех сил, а она всё так же, не отставая, хрипло дышала совсем уже рядом и вдруг громким нечеловеческим голосом окликнула меня по имени, схватила меня, повалила...

Я долго катался в истерике по степи, а Тракторина Петровна стояла надо мной:

— Ты чего испугался? Меня? Я слышу, что кто-то шахрается в ночи, как лось, вот и побежала.

Она говорила, но лица её не было видно. Будто Тьма говорила со мной!

Мне стало страшно, прыгали губы, и я отполз подальше от Тракторины в густую, как сгущёнка, ночь.

Я полз по степи.

То тут, то там лежали в степи кучки спящих, будто убитых, детей. Я искал среди них Надьку.

Её нигде не было.

Я полз и полз. Я боялся вставать. Я полз, как мой папа на фронте под пулями.

На рассвете я встретил пастуха-казаха с отарой овец. Он ничего не знал. Я рассказал ему.

— Будь что будет, — махнул он рукой и, посмотрев на усыпанное спящими детьми поле, сказал: — Как ягнята лежат.

11

Я нашёл её далеко от костра. Надька сидела рядом с бабой Маней и Светкой — шестилетней дочкой нашей соседки, тёти Маши. Они втроём сидели у норки суслика. Светка достала из целлофанового пакета шоколадную конфету «Озеро Рица» и положила у норки.

Потом достала печенье и мандарин и тоже положила у норы.

— Зачем? — спросил я.

— Они одни на свете останутся, суслики, — объяснила мне Светка, — после ядерной войны. Они в своих норках, как в бомбоубежищах, выживут. После войны вылезут, а тут конфета... Они сейчас ударят, — сказала она как большая. — Ровно в четыре часа.

На наш разговор стали сползаться дети. Даже Тракторина Петровна приползла, кутаясь в старую шаль. Стало так холодно. Я трясся как ненормальный, я замёрз страшно.

Мы ждали конца.

Я представил маму и попрощался с ней. Папа был внизу, под степью, под нами — в ракетной шахте. Я попрощался с ним, прикинув щекой к земле, сказав в землю: прощай, отец. Щекой я ободрался о колючую степь, будто о папину щетину.

Потом сел ждать. Это было самое страшное — ждать. Это было невозможно — ждать. Нас уже всех трясло.

— Я боюсь. Я не хочу умирать, — сказала одна девочка. — Не хочу, не хочу, не хочу!..

И сразу заплакали все малыши. Они плакали прямо в небо, они ревели, выворачивая душу.

И тогда я сказал Надьке:

— Надька! Ну сделай же что-нибудь!

Я не знаю, почему я так сказал, я просто так сказал. Меня трясло, и я сказал.

— Надька! Ну сделай же что-нибудь! — сказал я.

Надька посмотрела на меня. Она посмотрела осмысленно, ясно, будто услышала меня.

Потом она встала. Она стояла поёживаясь, как тогда в душевой, подняв лицо к серому холодному небу. Она стояла неуклюжая, в зелёной шерстяной кофте, бордовом платье, с огромным круглым, как мяч, животом.

Она постояла, потом обхватила свой живот, как воздушный шар, руками — и вдруг зависла над землёй.

Она медленно поднималась всё выше и выше, будто ввинчиваясь в небо. Я видел над собой её пятки, грязные, потрескавшиеся, она вечно ходила босая...

— Сидорова! Ты куда?! — завопила вдруг Тракторина Петровна и даже подпрыгнула, бросившись за ней, но упала на землю. — Сидорова, вернись!

Баба Маня, глядя на Надьку, упала на колени.

— Чудо! — сказала она, воздев кверху руки. — Господи! Чудо!

И Надька посмотрела на нас сверху. Она так посмотрела!

И всё как бы остановилось. Стояли недвижимо дети, задрав головы. Стояла неподвижно на коленях посреди степи баба Маня. Не двигаясь, с ужасом глядя на Надьку, лежала на земле Тракторина Петровна. Стоял, опираясь на посох и глядя вверх, пастух. Стояли овцы, подняв свои кроткие лица к небу. И птица остановилась в полёте. Воздух тоже был недвижим: ни ветерка, ни дуновения. Всё в этот миг остановилось.

Только Надька взлетала всё выше и выше. Её уже не стало видно.

А через несколько минут показалось солнце. Оно рождалось на наших глазах на краю земли и неба, огромное красное солнце, всё испачканное в Надькиной крови.

Надька рожала солнце.

Оно поднималось и поднималось и вдруг, просияв, показало себя всё.

Солнце было совсем другое, чем прежде.

Это было новое солнце.

Оно лежало в небе, словно младенец в пелёнках, и глядело на новый, простирающийся перед ним мир.

И я вдруг понял, что войны не будет, что Надька сегодня спасла нас, что не будет ядерного удара, ракет... Смерти не будет!..

Я упал на землю, лицом в степь, и плакал навзрыд, не стыдясь. Что-то зашелестело у моего лица. Я приподнял голову. И увидел, как суслик маленькой ловкой лапкой затаскивает в свою нору шоколадную конфету «Озеро Рица».

Чёрное и белое в истории победившего социализма

Предприимчивая пенсионерка.

Гр-ка З. К. сумела представить заведомо подложные документы об отсутствии у неё собственности в виде недвижимости, скрыв тот факт, что её покойный муж уже получал отдельное помещение по программе военных жилищных сертификатов. Скрыв этот факт, она добилась повторного получения сертификата на сумму 500 тысяч рублей, которую успешно реализовала. Это выяснилось в результате масштабной прокурорской проверки. В ходе разбирательства гр-ка З. К. перешла от обороны к нападению, обвинив комиссию в подтасовке фактов и нападках на беззащитную, брошенную всеми пенсионерку.

Газета «Красная звезда»,ря 200... года.

Завкафедрой немецкого Ларина медленно отложила газету и поправила очки. Она носила очки ещё со школьных времён. Нельзя сказать, чтобы они сильно украшали девочку, зато, как показало время, очки помогли скрыть неуверенность и мелкие обиды, отравлявшие жизнь подростка.

Новый 1982 год Таня собралась встречать в аспирантском общежитии: лететь домой, в далёкий сибирский город, где полдень был в разгаре, когда москвичи ещё видели седьмой сон, было накладно. Сделаю себе подарок, решила она и отправилась в поход по московским книжным. Тридцать первое декабря было единственным днём в году, когда торговые точки выбрасывали чудеса дефицита. Оживленные толпы стекались к магазину

польской косметики «Ванда» на Полянке, магазинам одежды и обуви, не говоря уже о гастрономах. Женщины, эти неутомимые золушки, привычные к уныло пустующим полкам, торопились, прихватив хоть что-нибудь из новогодних чудес, успеть домой и приготовить праздничный стол до того, как часы пробьют двенадцать.

На улице Горького Таня остановилась у книжного лотка возле магазина «Дружба», где торговали литературой на иностранных языках. Можно ли пройти мимо роскошного альбома гравюр Дюрера, который и в магазинах-то не встретишь?

— Что вы там смотрите? Это на немецком, вам не понять, — бесцеремонно одёрнула её продавщица. — Почитайте лучше «Материалы XXVI съезда КПСС».

Вообще-то Таня была девушкой незлобивой, и отойти ей было проще, чем дать отпор. Но на этот раз она всё же бросила в ответ:

— Вам-то какое дело?

И попыталась окинуть продавщицу равнодушным взглядом, продолжив рассматривать альбом. Танины очки явно помешали той узреть всю глубину безразличия, которое надеялась передать девушка, но они же скрыли и её замешательство. Она прекрасно понимала, что зимнее пальто, сшитое в ателье родного города, явно отличало её от модных москвичек, заполнявших центральные улицы столицы.

Когда спустя год после окончания аспирантуры, её взяли преподавателем немецкого в военное училище, она держалась увереннее и выглядела гораздо более презентабельно. Перемену помог совершить дорогуший финский пуховик, купленный на первую зарплату. Но по сути, она оставалась той же простодушной и открытой, какой и была несколько лет назад, впервые столкнувшись с тем, что она определила как высокомерие и оборотистость столичных жителей.

Как и другим сотрудникам училища, Татьяне иной раз перепали талоны на продуктовые заказы, которые уже одним своим видом грели душу во времена тоталь-

ного дефицита. Было только одно «но»: получить такой заказ можно было лишь отстояв в гастрономе длиннейшую очередь из счастливых обладателей таких же талонов, которые распределялись в десятках других организаций района. Это навело Таню на интересную мысль, которая не приходила в голову никому из тех, кто из года в год, как должное, отстаивал многочасовые очереди. Если устроить такую же выдачу продуктов прямо у себя на работе, то сотрудникам не придётся больше мотаться по гастрономам и томиться в очередях. Например, убедить дирекцию магазина заключить прямой договор с училищем, получить согласие высокого командования, добиться от начальства машины и помещения для фасовки и раздачи продуктов и много чего ещё: дело было новое, непонятное.

В начальственных кабинетах Таню встречали подозрительные взгляды и вопросы, иногда осторожные, но с подвохом, а то и прямо в лоб. Смысл всегда был одинаков:

— Дались вам эти хлопоты! Вам-то лично какая выгода? Ну стоят себе люди в очереди, больше ценить будут то, что с трудом достаётся, а не на блюдечке приносят.

В итоге дело было улажено, и самой Тане пришлось на работе заниматься приёмом продуктов и раздачей наборов. Однажды, заканчивая разбираться с выдачей, она ощутила на себе пристальный взгляд. Сбросить, намеренно избегая встречаться глазами и углубившись в изучение квитанций, не получилось. Искося посмотрев в направлении взгляда, она увидела военного. Ничего особенного не заметила. Самое примечательное — три полковничьи звезды на погонах, да возраст, лет на двадцать старше Тани.

— Добрый вечер! Не тяжело добираться домой с такой сумкой? Позвольте проводить вас?

— Я живу на другом конце Москвы, привыкла, каждый день добираюсь.

— Давайте, я поймаю такси, — быстро нашёлся он.

Когда они доехали до её съёмной квартиры, она уже знала, что он одинок, недавно развёлся и тяжело

переживает развод. Жена ушла к другому, их квартиру сумела быстро разменять на двухкомнатную в центре для себя и однокомнатную в спальном районе для него, оставив ему из всего имущества голые стены да кружевные шторы, привезённые из заграничной командировки.

— Неуютное место, — пожаловался он. — Не знаю, может стоит поискать обмен с доплатой в другом районе, поближе к метро, пока не обустроился. Как думаете?

— Мне трудно советовать, опыта в квартирных делах маловато, — честно призналась она.

— Что вы! Вы такая самостоятельная. Молодая, а уже кандидат наук, и всё сама, сама. Не то, что другие... Я давно за вами наблюдаю. А хотите посмотреть, как я живу? Может, что посоветуете насчёт хозяйства.

Через три месяца они поженились. Таня с удовольствием взялась за новые для себя дела: обустройство практически пустой квартиры, поиски продуктов.

— Мамочка, — говорил он, — ты что же утруждаешься, стоишь по очередям? Зинаиде-то знакомые дефицит в магазине оставляли, только приходи к директору и забирай. Друзья у неё, конечно, содержательные люди, в деньгах особо не нуждаются, зато связи её ценят. Принцип у неё такой: хочешь жить — умей втереться. А что? Жизненный. Ты вон в системе не первый год работаешь, а на шубу приличную не накопила. Ну ничего, мамочка, мы с тобой тоже люди содержательные, можем себе кое-что позволить. Оденем тебя.

Слышать, как он называет её мамочкой, Тане было приятно и немного забавно: с такой разницей в возрасте он сам годился ей в отцы. А неприятным стало постоянное присутствие с ними третьего, бывшей жены Зинаиды, в виде эдакого фантома. Таня её никогда не видела, зато благодаря мужу, знала о ней много. Даже больше, чем хотелось бы. Она знала, что у Зинаиды имелся влиятельный любовник из прокуратуры, одевалась она со вкусом и привыкла добиваться своего, хоть и была без высшего образования и нигде не работала. В круг её знакомых входили директор мебельного магазина, извест-

ный в столице врач, люди из Мосгорисполкома и прокуратуры.

Муж стал всё дольше задерживаться на работе: собрания, совещания. Как-то, взглянув на Танино простое платье, он рассказал ей, что случайно видел на улице очень элегантную женщину в чёрном бархатном пиджаке, на шпильках и с необычным для московской весны южным загаром.

Вскоре, придя домой, Таня обнаружила платяной шкаф опустевшим. Одежды мужа не было, отсутствовал его чемодан, документы, а дальше и смотреть не хотелось. Всякие мысли приходили в голову, когда Таня сидела в комнате, не зажигая света. Плакать хотелось, но слёз не было. Несправедливо, нечестно, думала она. Сказал бы прямо, я бы поняла. А поняла бы? Наверно, но разве можно точно сказать, как поведёшь себя в такой ситуации, пока не окажешься в ней? Не хотел объяснения, боялся... Пришло и ощущение опасности от того, что тень незнакомой женщины, поселившаяся в её воображении, ожила и принялась распоряжаться её жизнью. Поздно вечером раздался телефонный звонок.

— Я ушёл к Зинаиде, — сказал Танин муж. — Подаю на развод, основание — фиктивный брак.

Вот тогда-то и полились слёзы.

Мама одной из Таниных подруг была юристом, и Таня кинулась к ней. Знакомый человек всё-таки, подскажет, что делать.

Долго и эмоционально излагая свою историю, она заметила, что адвокатша всё заметнее хмурится.

— Есть ли какая-нибудь записка от мужа, объясняющая причину ухода?

— Н-нет, — растерялась Таня. — А надо?

— Как вы докажете, что не выгнали его сами с целью завладеть жилплощадью, а теперь не пускаете его в квартиру?

— Ну, не знаю, он сказал, что ушёл к бывшей жене. Да и брак у нас не фиктивный...

И впрямь, подумала Таня, если со стороны посмотреть, то как докажешь? Уже не понятно, что ранило больше, неожиданное предательство мужа или осознание того, что её горькую историю так легко вывернуть наизнанку.

Утром её разбудил звонок в дверь. Она привычно заглянула в глазок: милицейская форма, можно открыть.

— Ваш участковый, сержант Филиппов. Что это вы безобразничаете, гражданочка? Жалуются на вас.

— Что-о-о?

— Жалобы поступают, звоните по ночам, беспокоите людей.

— Кто жалуется?

— Гражданка З. К. требует, чтобы вы прекратили терроризировать звонками её семью.

— Неправда, я даже телефона её не знаю.

— Вы уж там сами разбирайтесь, что правда, а что нет. Только если ещё будут жалобы, придётся принимать меры.

Однажды позвонили из отдела аспирантуры научно-го института, где она защищалась.

— Таня, у нас ЧП! Приходил сотрудник с Петровки. Ваши документы изъяли из отдела кадров и передали в управление уголовного розыска.

— Как это изъяли? Почему?

— А вот это надо у вас спросить. Проверяют законность вашего поступления в аспирантуру и последующего трудоустройства. Скажите правду, что случилось? Вы что-то нарушили?

— Конечно, нет. Но... не так давно от меня ушёл муж. К другой женщине. Думаю, сводят счёты, у них большие возможности. Поймите, я ни в чём не виновата.

— И вы меня поймите, у нас и близко ничего подобного не случилось. Теперь не оберёшься объяснений во всех инстанциях. Такое пятно на институте...

Помимо непонимания и страха перед опасностью, грозившей неизвестно откуда, Таня испытала чувство жгучего унижения.

Но это было только начало. На работу, в редакцию журнала, где были напечатаны её работы, в домоуправление стали приходить письма о её аморальном поведении, требовавшие рассмотрения и ответа. Однажды, придя в ближайшее почтовое отделение, она не смогла получить почтовый перевод с гонораром за свою статью.

— К нам приходили оттуда, — многозначительно указала наверх начальница почты. — На вас заведено уголовное дело. До выяснения обстоятельств не имеем права.

Пошли разговоры о заведённом на неё уголовном деле. Знакомые, друзья, коллеги отдалялись от неё без объяснений. Оно и понятно: дыма без огня не бывает.

Разные мысли приходили в голову, в основном несёлого свойства. Посмотреть со стороны — абсурд. Ни с того, ни с сего, без всякой вины на каждом шагу объяснять свою невиновность. Накатывало чувство безысходности. Бросить всё, уехать из Москвы в далёкий город, где её никто не знает, спрятаться, равносильно признанию вины. Она понимала, что происходящее с ней имеет одну цель: сломать её, интеллигентную, девицу без московских корней, без особых связей и поддержки. Казалось бы, чего уж проще. И тогда она дала себе слово, что это никому не покажется просто.

Пришёл на память «Процесс» Кафки, тщетные попытки Йозефа К. выпутаться из липкой паутины неотвратимого следствия.

*K. lebte doch in einem Rechtsstaat, überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht, wer wagte, ihn in seiner Wohnung zu überfallen?**

Вот уж тут она точно придерживалась противоположного мнения и, обнаружив в почтовом ящике вызов в качестве свидетеля в управление уголовного розыска на Петровке, 38, поняла, что ничем хорошим это не закончится.

* Ведь К. живёт в правовом государстве, всюду царит мир, все законы невыблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище? (Ф. Кафка. «Процесс»).

Оба следователя, которые допрашивали её, — ибо ничем иным, кроме как допросом эти «свидетельские показания» она назвать не могла, — были молоды и суровы. На столе открыта пухлая папка, её «дело».

— В вашем деле такое количество документов, как у крупной шайки расхитителей, — съязвил один из следователей, задавая тон допросу.

Ей объяснили, что она вызвана в связи с проверкой заявления её бывшего мужа и гражданки З. К., располагающих сведениями о совершенных ею махинациях.

— Вот здесь указано, что вы поступили в аспирантуру в нарушение закона, не отработав положенные три года по распределению после окончания института. Сумели получить открепление в Министерстве высшего и среднего специального образования. Ваши документы об откреплении нами изъяты, — продолжил другой милиционер и насмешливо прищурился. — Как вам удалось добиться открепления? Взятка? Об этом недвусмысленно говорится в поступившем на вас заявлении.

— В аспирантуре вы вели разгульный образ жизни, снимая квартиру, терроризировали соседей пьяными скандалами. Теперь понятно, почему диссертацию за вас написал ваш руководитель, с которым мы также побеседуем, — вторил ему первый.

— Как вы вообще попали на работу в военное училище? Туда с улицы не берут.

— У нас уже достаточно материала, чтобы открыть уголовное дело.

Таню сотрясала дрожь, которую она всеми силами пыталась скрыть, тем не менее, она, как ей казалось, спокойно заявила, что будет жаловаться в прокуратуру, и получила издевательский ответ:

— Ваше право.

Подписав, как положено, каждую страницу протокола, она вышла на солнечный свет. Мимо спешили люди, по Садовому кольцу двигались переполненные троллейбусы. Здесь была реальная жизнь. Позади осталось наваждение. Эти двое, которые на полном серьёзе обвиня-

ли её в нарушениях закона, они-то сами ведь прекрасно понимают, что этого нет и не было. Если бы можно было стряхнуть с себя это наваждение...

Die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum.*

Теперь она не просто понимала, она всей душой ощущала ту безвыходность, которую испытывал Йозеф К. Снова и снова возвращалась мысль: как же просто белое сделать чёрным, если есть доступ к тем, кто у власти. Неужели у простого человека нет защиты, никакой возможности добиться правды?

Ответа на свои письма в прокуратуру, в Московский комитет партии, в Мосгорисполком она ждала по несколько месяцев, чтобы в очередной раз убедиться, что её заявление рассмотрено по инстанциям и каких-либо противоправных действий по отношению к ней со стороны сотрудников уголовного розыска не выявлено. На свой вопрос, почему уголовный розыск занимается вопросом трудоустройства отдельно взятой аспирантки и почему проверка длится уже второй год, она никогда не получала ответа.

*Ich kann Ihnen auch durchaus nicht sagen, daß Sie angeklagt sind oder vielmehr, ich weiß nicht, ob Sie es sind. Sie sind verhaftet, das ist richtig, mehr weiß ich nicht**.*

Что происходит с человеком, живущим в постоянном ожидании угрозы, которая придёт неизвестно когда и неизвестно откуда? Зависит от самого человека. Можно притвориться, что угроза иллюзорна, или забиться в щель и уверить себя, что пронесёт, а можно выйти

* Те серьёзные органы, в которых мы служим, прежде чем издать постановление о каком-то таком аресте, очень тщательно разрабатывают основания для этого ареста и личность арестованного. Ошибок тут не бывает (Ф. Кафка. «Процесс»).

** Я также совершенно не могу вам сказать, что вы в чём-то обвиняетесь, более того, я не знаю, так ли это. Что вы арестованы, это справедливо, больше я ничего не знаю (Ф. Кафка. «Процесс»).

навстречу. Таня выбрала свой путь. Получив очередную отписку из прокуратуры, что материал по заявлению гр-ки З. К. направлен в УБХСС ГУВД для возбуждения уголовного дела, Таня отыскала в служебном справочнике телефон большого начальника на Лубянке и попросилась на приём.

Она вновь рассказывала о том, как история её короткого брака, да и вообще биография скромной аспирантки стали предметом расследования МВД, прокуратуры, ОБХСС. Она не ждала особого доверия к своим словам от человека, который видел её впервые, но остановиться уже не могла. Теперь она не просто жаловалась, она хотела ответа на свой вопрос: что это за право такое, по которому все эти ведомства, как по команде, приходят в движение, чтобы задавить обычного человека, приписывая ему несуществующие преступления. К её удивлению, пожилой полковник слушал её внимательно, что-то записывал, задавал короткие вопросы.

— Не буду вам ничего обещать, но наши сотрудники займутся этим делом. В скором времени с вами свяжутся, а пока не беспокойтесь, — завершил он разговор.

Через некоторое время она получила бумагу с Петровки о том, что основанием для проверки послужило заявление гр-ки З. К., в котором та настаивала на установлении подлинности документов, представленных Татьяной при трудоустройстве. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сотрудник, проводивший проверку необоснованно нарушил сроки рассмотрения дела, за что и привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.

По-видимому, это нужно было расценивать как извинение. Два года Таниных мытарств завершились. Лишь позднее она осознала, что её история могла бы окончиться совсем не так, если бы случайным образом не угодила в копилку множества свидетельств милицейского произвола, которые собирали комитетчики в противостоянии с милиционерами, развернувшемся в начале восьмидесятых.

Возвращаясь с конференции по германистике, завкафедрой Ларина заглянула в книжный магазин «Москва» и решила пройтись по Тверской. Навстречу, оживленно болтая, шли три девушки лет двадцати с небольшим. Вот уж по одежде не поймёшь сегодня, где московская молодёжь, а где приезжие. Зато выговор... Натренированный в течение многих лет слух филолога уловил сибирский говорок. Ларина скользнула по девушкам внимательным взглядом, и всё то, что случилось с ней тридцать лет назад и до этого дня почти никогда не вспоминалось, снова встало перед глазами. А девушки, оживлённые и беззаботные, торопились в направлении Красной площади, да и вообще спешили навстречу будущему. Таких слов, как дефицит, порядковый номер в очереди, продуктовые заказы, фиктивный брак, в их будущем уже не было.

«Отличнейшее масло, я так его люблю»

Люська болела. Ничего серьёзного, но простуда просто донимала ребёнка и выматывала силы. Компоты и морсы, которые варились на кухне круглосуточно, вызвали у малышки стойкое отвращение, а мёд она вообще ненавидела. Она лежала в кровати, бледная и прозрачная, и просила читать ей Маршака. Ирина уже одолевала толстенный том по третьему разу, но Люська требовала ещё и ещё. И даже соглашалась выпить лекарство. На второй день начали читать «Балладу о королевском бутерброде» и Люська оживилась:

— «Отличнейшее масло, я так его люблю», — декламировала кроха, стремясь вылезти из кровати.

— Мама! А почему ты не покупаешь мне масло? Оно вредное?

Это был вопрос на засыпку. Просто в Баку начала дефицитных сливочное масло исчезло совсем. Это была большая политика. И большая экономика. Россия, погружившаяся в реформы, решала продовольственные вопросы, как могла. И в Азербайджане стали куда-то пропадать продукты. Конечно, многие обычные товары стали исчезать после «чёрного января» 1990 года. Тогда после известных событий ввели не только военное положение, но и талоны. Однако ребёнку не объяснишь, что идёт распад Советского Союза, поэтому с желаниями надо повременить. Желаний у всех хватало. Ирина, эффектная блондинка, ещё недавно примерявшая финские платья от известных бакинских спекулянтов, перешла на скромные блузки и туфли местного производства. Но еда — другое дело. Нет, конечно, на базаре Ирина покупала у частни-

ков кусок замечательного домашнего сыра и очень вкусный хлеб. Но со многими привычными продуктами были проблемы. Город наводнило масло пальмовое. Оно внешне напоминало топлёное сливочное, но по вкусу было абсолютно несъедобным. Домовитые азербайджанские хозяйки пытались его томить с луком и специями, но даже у них ничего не получалось. Пальмовый продукт стоял намертво, храня свой противный вкус и побеждая всех искушенных хозяек. Второе место прочно занимал качественный турецкий маргарин. В каком-нибудь домашнем печенье он вполне мог сыграть роль масла, но на хлеб ребёнку его всё равно не намажешь.

Ирина решала бытовые проблемы «на нерве». Потому что основная жизнь проходила в редакции. Там, в девятиэтажном здании на бывшей улице Авакяна, а нынче на Метбуат проспекте (Проспекте печати), всё стремительно менялось. Какие-то материалы из прошлой жизни решительно не годились. Надо было говорить с людьми, объяснять, что происходит, куда ведут последствия карабахского конфликта (если бы ещё знать!). И когда она опустошённая приходила домой и видела свою кроху, которая играла с куклами и машинками, на душе начинали скрестить кошки.

Вчера она встречалась с подтянутой седой женщиной. На волне новых преобразований её избрали своим лидером аксакалы. Ирине было интересно посмотреть на Назакят-ханум. Всё же не каждый день такое происходит в мужском мире Азербайджана. Ханум вошла в редакционный кабинет с большим свёртком в руках. Посмотрела на Ирину и неожиданно её обняла. Потом развернула свёрток, достала альбом и показала фото своих родственников. Вот дед, он участвовал в Иране в восстании Лахути и погиб. Вот его брат. Он погиб в гражданскую. Вот отец, его убили в Отечественную. А это муж, он погиб во время аварии, был нефтяником.

— Из всей моей семьи, дочка, у нас остался только один мужчина — это мой сын. И я очень хочу его убедить....

Назакят-ханум поправила свой келагай — национальный азербайджанский платок — и засобиравалась на встречу.

— Приходи ко мне домой, — сказала она как-то буднично. — Нам родственники курицу из деревни привезли, положу в морозильник, буду тебя ждать...

Ирина была тронута и очень боялась расплакаться. Назакят-ханум глянула на неё и сказала:

— Не раскисай! Нам надо это вынести. Понимаешь? Вынести! Про ребёнка своего думай и всё делай для дочки. Это самое главное сейчас...

И ведь она права! Ирина начала писать текст, а сама думала про кусок сливочного масла, который стал просто целью жизни. Кто бы мог подумать...

Рыжая Люська не была привередой. Она просто декламировала стишок, ни на что не претендуя. Но Ирина уже начала себя грызть и виноватить: что ты за мать, если не можешь сделать ребёнка нормальный бутерброд!

В таких случаях Ирина всегда советовалась с другом Егорием. Он не так давно стал в редакции ответственным секретарем, и уже было ясно, что начальство сделало правильный выбор. Работалось с ним легко. Он мог всё понять и прикрыть, если надо. Но мог и заставить срочно что-то сделать. Не повышая голоса, просто и весело. Егорий, в отличие от Ирины, всё знал, всё мог и со всеми был знаком. Если надо было попасть к хорошему врачу или достать билеты на самолёт, все знали к кому обращаться. Элегантный и обаятельный Егорий решал любые вопросы без особых усилий. Он звонку не удивился, только сказал:

— Ну у тебя и потребности, матушка! В городе, конечно, масло поискать можно, но есть вариант лучше. Завтра из Москвы выезжает бакинский поезд, у Регинки из многотиражки шинного завода там подружка в проводниках. Надо сегодня дозвониться, пусть она нам хорошего столичного масла привезёт. Но цена будет, сама понимаешь.

— Само собой, думаю, раза в два...

— Ну, сейчас Регинке позвоню, она узнает...

Утром Егорий заглянул к Ирине и попросил к нему зайти. Вид у него был таинственный. В кабинете уже сидел заведующий промышленным отделом Максуд. Грузный кудрявый Макс пребывал в задумчивости и крутил в руках дырокол. Выражение его лица никак не вязалось с привычным образом редакционного весельчака и балагура. Когда Ирина села за стол для совещаний, Максуд встал и запер дверь.

— Ребята, я вам что скажу, не поверите, — сообщил он громким шёпотом. — Только между нами, да? Клянусь, честное слово, никакой информации дальше этого предбанника!

— Да не томи уже, — сказала Ирина. — Меня сейчас инфаркт хватит.

— Москва отпускает цены, — едва слышно сказал Максуд.

— Ну и что? — спросил Егорий. — Мы же вроде уже независимое государство, у нас своя свадьба...

— Эээ! Ты как маленький, да? — Максуд посмотрел на Егория снисходительно. — Наши тоже всё это готовят.

Он взял сигарету, закурил и долго смотрел в окно. Потом потушил окурочек и повернулся к Ирине.

— Я тут на бисквитной фабрике был, твой любимый вафельный торт привёз.

— Ну, спасибо тебе, — улыбнулась Ирина. — Люське отвезу, она болеет.

— Ты извини меня, что я про цену, но мы свои люди. Знаешь сколько твой тортик стоит?

— Знаю, конечно: рубль тридцать.

— А будет стоить знаешь сколько? Тридцать рублей! И это уже на этой неделе. Поняла, да?

— Ну, что поделаешь? придётся без торта как-нибудь...

— Эээ, вы что совсем ума лишились? Хрен с ним с тортом! Ты прикинь, сколько будет стоить мясо, молоко, сахар! Егорий бездетный, его Инка сама прокормит. А мы с тобой что будем делать?! Чем детей кормить? У меня их трое, если кто забыл!

Ирина вышла из кабинета Егория подавленная. Она знала, конечно, что в Москве цены уже поднимались волевым решением. Дефицит при этом не исчез. Цены отпустят, к гадалке не ходи. И она понимала, что сколько ни говори о суверенитете, это всё неизбежно придёт в бывшие советские республики, только со своим колоритом. Накануне они сидели с мамой на кухне и старались понять, как дальше жить. Баку, с трудом одолевший «чёрный январь», пытался справиться с трудностями новой жизни. Мама, Нора Витольдовна, была женщиной не просто практичной. Она выросла в семье с тремя детьми, которых тянула одна Иринина бабушка, и понимала, что какая-то еда должна быть в доме всегда. Несмотря на шуточки мужа, Андрея Павловича, Нора Витольдовна упорно заполняла шкафы банками с тушёнкой, сгущёнкой и килькой в томате. Ирину всегда раздражали бесконечные пакеты с импортными спагетти, мешочки с гречкой и ханским рисом. Сейчас она страдала чувством вины перед матерью. Если бы не Нора Витольдовна и её страсть к запасам и хранению, семье пришлось бы туго.

На следующий день прибывал московский поезд. Регинка успела договориться с подружкой, и посылка ехала в вагоне. «Своя цена» после четырёхкратного повышения за двухсотграммовую пачку равнялась двенадцати рублям. Договорились за 20. Девушка везёт из Москвы Егорию и Ирине по три пачке хорошего сливочного масла за 60 рублей. Судя по «условиям сделки», про либерализацию до проводников пока слухи не дошли.

Егорий с Ириной выехали из редакции за сорок минут до прибытия поезда. Поехали не спеша по центру города, мимо филармонии с вечно-зелёным садом. Ирина рассказала Егорию, как в прошлом году они ходили на концерт знаменитого скрипача Пикайзена. Страшно рисковали: концерт заканчивался за полчаса до комендантского часа. Если не успеешь прыгнуть в салон к «частнику», или он откажется тебя везти, вполне мож-

но провести ночь в кинотеатре под контролем сотрудников комендатуры. Но так хотелось чего-то возвышенного, и они рискнули.

— Представляешь, мы в зале были ввосемьмером: мы, Везиров с женой и ещё две пары меломанов, — Ирина вспомнила, как они раскланивались в фойе с руководителем республики и ей стало смешно.

Редакционная Волга повернула на Коммунистическую и поехала по красивым улицам старого Баку. Они сидели и смотрели на памятники, на музей Низами, на знаменитый «Парапет» — парк, где красовалась самая большая в городе пальма. И это как-то помогало избавиться от гнетущего чувства. Ощущение было, как перед грозой: какая-то вязкая неопределённость. Очень хотелось, чтобы всё это скорее закончилось.

Они приехали на Сабунчинский вокзал, посидели в зале ожидания.

— Ты, Ир, не волнуйся, — сказал Егорий. Я с Регинкой договорился. Канал с проводниками неплохой. Они в Москве знают, где продукты брать. Можно и масла заказать, и сыру хорошего, и колбаски сырокопчёной...

— Обойдёмся без колбаски. А вот «поставка масла» — дело хорошее. О! Слышишь?

— Граждане пассажиры, скорый поезд Москва-Баку прибывает на третий путь...

Егорий с Ириной побежали ко второму вагону. Там уже деловито сновала Регинкина подружка, которая быстро сунула им в руки пакет и забрала деньги. Запихала их в карман, не считая.

«Участники сделки» рванули к машине, чтобы успеть на планёрку. Пакет с долгожданным маслом стоял на сидении, ожидая погружения в холодильник. Егорий заглянул, чтобы полюбоваться приобретением. У него медленно вытянулось лицо.

— Ирка, ты только не волнуйся, — сказал он. — Мы отдали деньги за три пачки масла на каждого... Но тут лежит по две. Каждая пачка получилась по тридцатке. В целом — треть зарплаты, как свистнули...

— Разворачивайся, — сказала Ирина водителю. — Едем назад, будем с проводницей разбираться...

— Нет, э! — водитель разворачиваться не желал. Он повёз их на вокзал контрабандой и сейчас ждал нагоняй от главного редактора. — Твоей проводницы уже наверняка след простыл. Лучше Регинке звоните, а меня папа съест, если я к планёрке не приеду...

Ирина и Егорий поехали в редакцию, ощущая себя полными идиотами. Они, конечно, позвонят Регинке, но внутренний голос подсказывал, что проблему это не решит.

На планёрку коллектив собирался бодро: главред решил поучаствовать, хотя всегда старался это благое дело доверить своему заместителю. Но тут сама эпоха диктовала необходимость общения с народом. Поэтому сначала руководитель долго говорил о том, что газету дружный коллектив делает из рук вон. Стыдно родственникам в глаза смотреть и в кабинет к руководству города заходить. Но тем не менее, движимый чувством необыкновенного гуманизма, он готов выслушать пожелания сотрудников и даже что-то сделать. Журналисты долго говорили о вечном и трепетном: о сломанных диктофонах, о качестве печати, о задержках доставки газеты...

— А главное, у нас низкие зарплаты, — неожиданно для всех ляпнул друг Егорий. — Купишь пару пачек сливочного масла, и всё!

Главред с удивлением смотрел на ответсекретаря, силясь понять, что за масло он покупает. Потом бросил это непосильное занятие и устало сказал:

— Эээ, я вот тут подумал, да... всё-таки хорошо, что я не женщина! Никому отказать не могу... О зарплатах буду думать...

На этой загадочной фразе планёрка была закончена, и Егорий кинулся звонить Регинке. Выяснилось, что на её подружку наехали доблестные представители правоохранительных органов. Причём сразу в двух независимых государствах. Проводница держалась, как могла, но

с парой пачек масла, коробками конфет и двумя палками московской колбасы пришлось расстаться...

— Так что нашу экспортную контору придётся закрыть, Ир! А то прогорим вчистую, меня жена из дому выгонит, если вдруг колбаски захочется...

Но Ирина шла домой в хорошем настроении. У неё в сумке лежали две пачки добытого с трудом, настоящего сливочного масла. Осталось купить только горячий хлеб на углу, и всё!

— «Отличнейшее масло, я так его люблю», — радостно декламировала Люська, вгрызаясь в бутерброд. Масло нежно подрагивало на тёплом боку свежайшего чурека, и блаженная физиономия дочери свидетельствовала, что счастье в этом мире ещё возможно...

Халупа

Юрий Влодов — мой муж, поэт-диссидент, культовый поэт московского андеграунда, автор всем известного двустишия «Прошла зима. Настало лето. Спасибо партии за это!» Почти всю жизнь он провёл в поэтическом подполье, в маргинальной среде. Даже в период застоя, когда люди жили в основном спокойно и однообразно, у Влодова всё было иначе. А главной его проблемой в конце 70-х — начале 80-х было отсутствие жилья, прописки и документов. У меня, начинающей поэтессы, была почти похожая ситуация, вот почему нам с ним так трудно тогда и жилось. С 1982 по 1984 год мы на птичьих правах обитали в коммуналке в центре Москвы у одного сумасшедшего дворника. В этом фрагменте показаны моменты нашей жизни после рождения мной ребёнка и возвращения в Москву, как мы первое время жили с трёхнедельным ребёнком в халупе. Халупа — это название двух комнатушек дворника, очень необустроенных, в которых мы жили. Название это дал им Влодов.

«Меж небом и землей...»
Мы кровью заплатим за быт,
Где властвуют белые черти,
Наш мир безвозвратно забыт
В Галактике Смерти.

Юрий Влодов. «Бредём по тёмну свету...»

Затаиться, не дышать...

Таким образом начался новый этап нашей жизни в халупе. Ребёнку едва исполнилось три недели. Какое-то время мы находились в халупе в отсутствие

Холодца* (и Владика** тож) и наслаждались этим. Правда, это время как-то очень быстро пролетело. Хотя без дворника в этом помещении мы, получалось, совсем уж ни при чём. Поэтому мы старались вести себя в эти дни тише воды, ниже травы, чтобы не привлечь нездорового внимания соседей и не лишиться даже этого пристанища. Если бы они на нас накапали, то в отсутствие Холодца, я даже не знаю, что бы мы стали делать. Конечно, при таком раскладе ни кухни, ни ванной, ни туалетом пользоваться мы уж никак не могли. Но если мы сами могли без всего этого перебиться, то ребёнка всё-таки нужно было хоть как-то купать и стирать ему пелёнки.

Тазик, принесённый Колгановым

Влодов приказал Колганову*** раздобыть для этой цели тазик. Колганов купил и принёс замечательный светло-голубой эмалированный тазик с двумя ручками. Где он такой нашёл — неизвестно. Но только я таких тазиков потом нигде и никогда не видела. Влодов выходил на кухню поздно ночью, когда все соседи уже спали, и набирал в тазик воды. В тазике я потом купала ребёнка и стирала его вещи, использовала эту воду весь день. Поздно ночью или рано утром Влодов выливал грязную воду из тазика в туалет и опять наливал чистую. Вот так у нас осуществлялся процесс ухода за ребёнком.

Пища для младенца и кормящей матери

Чем мы питались? Интересный вопрос. Ребёнка я, естественно, в тот период кормила грудью, в общей сложности до шести месяцев. Так что проблем с его кормлением пока что не возникало. А вот что ела я, для того чтобы грудью кормить?.. Да, с продовольствием в халупе после рождения ребёнка стало проблематично.

* Холодец — прозвище дворника Валеры, которое дал ему Влодов.

** Владик — приятель дворника, самостоятельный художник, тоже дворник.

*** Колганов — Леонид Колганов, поэт, один из ближайших учеников Влодова на тот момент, жил в те годы в Москве. На момент написания «Халупы» жил уже в Израиле. Умер в 2015 г.

Все графоманы попрытались и денег давать на наше пропитание, как прежде, не хотели. Многие ушли в глубокое подполье и не подавали никаких признаков жизни, а мы оказались предоставленными сами себе.

Тогда Влодов решил вспомнить свои прежние воровские навыки. Он стал ходить в магазины самообслуживания и выносить оттуда кое-что из продуктов. Я пришила ему на куртку с внутренней стороны большой карман, и он ходил в гастроном на улице Горького и приносил оттуда банку-другую рыбных консервов либо плавленые сырки. Вот этими консервами и сырками мы и питались. Откуда после этого бралось у меня молоко — я не знаю. Но откуда-то, видно, бралось. Наверное, вовсе оно и не из консервов производилось, а поступало из каких-то высших сфер. Потому что от одной и даже двух банок кильки оно вряд ли могло произвестись. Потом к нашей ежедневной банке ещё пристроились вернувшиеся из своих «побывок» Холодец и Владик. Эта банка с килькой была воистину неисчерпаемой, как у Христа пять хлебов, которыми он накормил кучу народа. Так и мы питались этой влодовской банкой, по сути, впятером, и нам, как ни странно, хватало. Голодной я себя не чувствовала, да и молока для ребёнка было вдоволь.

Битва за еду и объедки

Впоследствии в эти суровые дни у нас появилось ещё одно место для добычи пропитания — Курский вокзал. Влодов приладилась ездить туда из халупы, там была прямая ветка метро от «Площади Революции» до «Курской», и собирать объедки со столов в привокзальных буфетах. Объедки были довольно неплохие: остатки котлет, кур, пельмени. Ну а хлеба можно было набрать — завались! Он приносил в халупу целый пакет съестного, и мы пиروвали потом порой по несколько дней. Самое главное в собирании объедков было вовремя похватать их со столов, пока уборщица не смела. Некоторые уборщицы тоже охотились за ними и были недовольны, когда их кто-то

опережал. Не все уборщицы желали вот так просто расставаться с принадлежащими им по праву объедками. Порой какая-то из них грозно шла на Влодова с тележкой и с тряпками наперевес в тот момент, когда он пытался пристроиться к куску недоеденной кем-то курицы.

Тогда Влодов, желая показать, что он тоже, в общем-то, человек, а не охотник за чужими курами, прикрыв на всякий случай добычу кепочкой, махал рукой в сторону длинной очереди в кассу и кому-то кричал:

— Эй, Манька, компот мне прихвати!

Уборщица же, видя такое дело, громыхая тележкой и злобно чертыхаясь, проходила мимо. Так что голодать мы особо не голодали, а жили совершенно спокойно на такой вот незатейливой еде.

За еду у Влодова бывали схватки и иного рода, ещё до знакомства со мной. Всякое случалось. Как-то зайдя в одну из забегаловок в поисках условно бесплатной еды, Влодов обнаружил на одном из столов почти нетронутый обед. Влодов оглядел кафе в поисках возможного хозяина, но никого так и не обнаружил. Изумившись такой удаче, он подошёл к столику и незамедлительно принялся есть. Через пару минут объявился хозяин обеда, он зачем-то отходил на раздачу, которая была довольно далеко от стола. Мужик изумленно уставился на Влодова, который за обе щеки уплетал его борщ, и не знал, что и сказать от возмущения. Похоже, он на какое-то время даже лишился дара речи. Влодов понял, что он маленько промахнулся с этим обедом, но виду не подал. Глядя на истца недобрым взором, он хриплым голосом произнёс:

— Извини, браток! С Северов прибыл... Откинулся только что! На ноги встаю!..

— Э-э... понимаю, понимаю... — дрожащим от страха голосом промямлил мужик, потихоньку отступая к выходу. — Вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь, чем богаты, тем и рады, как говорится... — бормотал он, подбираясь всё ближе к двери.

— Я это... с тобой сочтусь потом! — крикнул ему вдогонку Влодов.

— Конечно, конечно, кто б сомневался... — проговорил мужик, опрометью выскакивая за дверь. После чего Влодов спокойно доел свой ниспосланный судьбой обед. Так что в плане еды ему приходилось всяко изощряться.

Выходит, еда Влодову была не положена в принципе. По судьбе. Ведь он же был гением, а гении должны были как-то без этого обходиться. Он это понимал и на запретный плод особо не зарился. Но иногда всё ж таки хотелось поесть. Хотя бы объедки какие-нибудь, остатки. Но даже и за объедки велась борьба, и обрести их было непросто. Ведь Влодов был, если сравнивать с птицами, как воробей, а кругом были голуби да голуби... Сизокрылые, так сказать. Вот и попробуй урви у таких хоть крошку! Но иногда какая-то крошка и ему перепадала. Этим и жил.

Прогулки с ребёнком

Гораздо большей проблемой было для нас сохранять «секретность» нашего пребывания в халупе. Влодов боялся, как бы соседи по крику ребёнка не догадались о нашем присутствии и не натравили бы на нас милицию. А без московской прописки* это могло кончиться лишением даже такого эфемерного жилья. Конечно, по большей части ребёнок в таком возрасте предпочитал спать, не только ночью, но и днём. Но не мог же он вообще всё время спать и не кричать! Так не бывает. И мы боялись крика ребёнка, особенно начиная с шести вечера и до одиннадцати, тогда, когда соседи приходили с работы и шмыгали туда-сюда по коридору. Поэтому в это время мы старались из халупы куда-нибудь уйти. Может быть, в гости к кому-нибудь, а если не к кому было, то просто шли на улицу Горького, садились в 20-й троллейбус и ехали на нём до конца, он шёл куда-то очень далеко, кажется в Тушино. Полтора часа туда, полтора обратно, так и вечер проходил. Мы возвращались довольно поздно,

* Московская прописка — необходимый элемент жизни в Москве в те годы. Москва была тогда закрытым, режимным городом, без прописки в ней ни жить, ни работать было нельзя.

когда соседи по коридору уже не ходили, а ребёнок, естественно, должен был спать. Замученные и продрогшие в этих поездках, мы тоже сразу ложились спать. Детской коляски у нас не было, она была слишком дорогой для нас, поэтому ребёнка я все время носила на руках. Вскоре это стало не так уж легко, учитывая всё увеличивающийся вес младенца, а также вес зимнего одеяла, в которое приходилось его кутать. Первая коляска, уже прогулочная, у нас появилась только спустя полгода, а весь младенческий период нам пришлось обходиться без неё. И потом, даже если ту громоздкую коляску нам удалось бы каким-то чудом раздобыть, непонятно, каким образом мы могли бы использовать её в халупе? С такой коляской скрывать своё присутствие было бы весьма проблематично. Так что о каких-то там реальных прогулках с ребёнком мы даже и не думали, считая их бессмысленной и бесполезной роскошью, придуманной врачами. Прогулки были чисто спонтанными, мы их совмещали с какими-либо делами. Да и вообще слово «прогулка» для нас, скитальцев, звучало как-то дико. Мы все свои вынужденные выходы на улицу ненавидели всем нутром и старались свести их к минимуму.

Наше медицинское обслуживание

Хотя все новорожденные с момента появления своего на свет находятся под бдительным оком врачей и медсестёр, наш ребёнок такого надзора был лишён по той простой причине, что у нас с Влодовым не было московской прописки, а без прописки в поликлиниках никого тогда не обслуживали, в том числе и детей. Но мы особо в эти поликлиники и не стремились, потому что ребёнок у нас пока не болел, а просто так ходить не имело смысла. Мы с Влодовым тоже были лишены всякой медицинской помощи, поэтому старались как-то держаться и не болеть. Кстати, я не помню, чтобы кто-то из нас болел в тот период. Наверное, мы отпугивали болезни нашей кошмарной жизнью, поэтому в таких условиях они предпочитали не заводится. Им тоже для жизни нужен был комфорт.

Очёски

В последнюю предвоенную весну Васе, сыну деревенской повитухи тётки Варвары, шёл пятнадцатый год. Он вытянулся, стал ростом выше матери, раздался в плечах. И несмотря на то, что и прежде работал по хозяйству, как большой, он только сейчас почувствовал себя взрослым.

Лапта, «бабки», «булавочка» и другие отроческие забавы вдруг стали неинтересными, и всё время Вася теперь проводил во дворе, ухаживая за скотиной, что-то прилаживая, доделывая... Мать заметила изменения в его поведении, и как-то в субботу вечером, когда в открытые окна избы ворвались громкие звуки гармошки и девичьего смеха, — деревенская молодёжь шла на гулянье — сама отправила его на вечерку.

Вечёрки в их деревне устраивались за околицей, подальше от домов, чтобы никому не мешали шум и песни. Нет, сначала гомонящая вереница молодёжи проходила по всей деревне, собираясь в одну компанию, к которой присоединялись, выбежав на звук гармонии, парни и девчата. А потом все шли за лесников дом, мимо кладбища, на небольшой утоптаный пятачок с костровищем посередине. Ждали, когда стемнеет, и когда уже с трудом можно было разглядеть завитушки узора на мехах гармонии, что ходуном ходила в руках непоседливого парня Илюшки, разжигали костёр. Все, теснясь, как будто не нарочно рассаживались вокруг огня на берёзовые стволы, приготовленные загодя, ещё весной.

На самом почетном месте устраивали гармониста Илью Яковлева, в которого тайно влюблены были, наверное, все девчата. Васе на вечерках глянулось. Нрави-

лось слушать песни и частушки, тихо сидеть среди других, приглядываться к девчатам. Он ещё никого не выделил среди них, сердечный трепет был пока ему незнаком, что и позволяло Васе спокойно и беспристрастно наслаждаться этим летом, последним счастливым летом своей юности.

Тогда же в его жизни наметилось ещё одно изменение — крёстный, работавший на МТС, похлопотал за него, и Васю взяли туда поработать на лето. Возня с техникой привлекала парня больше, чем всякая другая деревенская работа. Он согласился, хотя и знал, что числиться будет учеником, получать меньше всех, а к моторам и тракторам его и близко не подпустят. Так и вышло — он прибирал в мастерских, оттирал от загустевшего масла всякие мудрёные детали, полировал их тряпочкой, и всё примечал. Уж очень хотелось пацану стать когда-нибудь трактористом, и он был намерен добиться исполнения своего желания. Трактористов в деревне уважали. Мальчишки смотрели на них с завистью, а сосед Пашка Кириллёнок, только два года назад окончивший семилетку, тоже, вообще-то, салажонок, уже выбился в ударники, был премирован от колхоза хромовыми сапогами и собирался на следующий год купить собственный мотоцикл. Пашка отчаянно задира л нос перед мальчишками и форсил специальной спецодеждой — комбинезоном, который он берѣт и на работу не носил, боясь, что быстро засалится. Все парни Пашке завидовали, ведь мотоцикл — это вещь, предел мечтаний не только пацанов, но и взрослых мужиков... Примерно того же хотел добиться лет через пять и Ваня, но судьба предоставила ему случай сесть на трактор гораздо раньше, чем загадывал.

Началась война, и мальчишечьи руки теперь были в большой цене.

Всех взрослых механизаторов призвали, кого на фронт, кого — в трудармию, как дядю Акима, брата матери. Кириллёнок не успел заработать на мотоцикл, из седла трактора пересел в танк, писал матери бравурные письма и передавал в них приветы всем односельчанам.

А Вася, едва успевший закончить семь классов, оказался чуть ли не «первым парнем на деревне», у него и образования было достаточно, и ростом вышел, и с делом был мало-мальски знаком. Окончил краткосрочные курсы в райцентре, и стал готовым специалистом в неполные шестнадцать.

Вечёрки теперь стали другими, парни «в возрасте» ушли воевать первыми, на пяточке стали появляться совсем зелёные подростки — кавалеров явно не хватало. Ушёл и гармонист Илья, его место занял хромой Антоша, игравший совсем не так задорно. Он до войны на вечерёвки не показывался, играл на чужих свадьбах, а теперь вот сам попал в разряд женихов.

Вася тоже заметил, что теперь девушки стали на него внимание обращать, не то что в прошлом году, он теперь часто ловил на себе взгляды ровесниц. То высокой, статной Манюшки, которая была на полголовы выше многих парней, и те её сторонились. То длиннокосой Настасьи, дочери председателя, то белокурой Леокадии. Но Васе из всех девчат больше нравились Полинка, дочь счетовода Артамонова, да ещё, пожалуй, Надя, единственная дочка соседа Петра Михеича.

Однако, пока он так и не понял, кто из девушек ему милее. Да и рано было загадывать наперёд — война затянулась. Скоро и ему предстояло отправиться в армию, и неизвестно было, сколько его невесте придётся ждать возвращения. Поэтому он решил никого не связывать обещаниями, так и ушёл, обещая писать только матери да сестрёнке Маринке. Письма от него шли короткие, с большими перерывами. Мать писала чаще, как бы ни ломало её спину к ночи от неимоверной усталости, она бралась за перо. Разорвав напополам драгоценный листок бумаги, страницу, вырванную из довоенного журнала учета поголовья кур на совхозной птицеферме, она первым делом сворачивала из листка треугольничек, а уж потом заполняла мелкими буквами всю его внутреннюю поверхность. Бумаги очень не хватало, Варвара Семеновна выпросила уже наполовину раздёрванный

журнал у дочки кума, Моти, в нём поверх исписанных таблиц писали уроки младшие дети. А для писем солдату использованная бумага не годилась. И тётка Варя аккуратно вырвала из журнала листки с незаполненными таблицами и прибрала их подальше. Должно было хватить надолго, если писать убористо.

Писала мать при любой возможности и всегда уверяла сына, что всё дома хорошо, что с хозяйством она управляется, и живёт семья не хуже других. Но это было не совсем так.

Действительно, мать с тремя младшими детьми жила не хуже, чем все остальные солдатики. Но на то, что их жизнь была скудной и голодной, она бы ни за что сыну не посетовала, уж очень любила его и жалела. Ему, небось, на войне, ох, как нелегко!!!

Живность на дворе была уже почти вся съедена, да и нечем было бы её кормить, если б сберегли. Заниматься хозяйством было некому — мать целые дни проводила на колхозной работе, двенадцатилетний Коленька ей помогал, а домовничала десятилетняя Маринка с помощью девятилетнего Павки. На них были огород, куры, заготовка травы для козы и двух овечек.

Коня в дни покоса выпросить у председателя было невозможно, а вручную с тремя детьми много ли мать могла накосить? Зерна, крупы на трудодни давали совсем мало, жили впроголодь. А уж как они заготавливали на зиму дрова, вообще, дай Бог, никогда Васе не узнать!

Вчетвером, вместе с ребятишками они шли в лес, спиливали кое-как лесину большой двуручной пилой. Когда дерево падало, мать прижимала к себе, обхватив разом всех троих детей, молясь, чтоб никого не придавило. Потом лесину нужно было распилить на куски, обрубить ветки. Маленькой лучковой пилой заведовал Коленька, он её тащил в лес, он ею работал и обратно сам волок. И чувствовал себя при этом взрослым работником, о чём и писал брату в письмах, рассказывая о своём житье-бытье... После предстояла главная пытка — волоком притащить брёвна в деревню... Мать сама впрягалась

в верёвочную лямку впереди вместе со старшим из ребят, а младшим наказывала толкать бревно сзади, придерживая за специально оставленные обрубки веток, помогать вытаскивать его из снега, в котором толстая лесина по-минутно застревала...

А ещё надо было хоть раз в месяц ходить в город, навещать брата Акима, он был бессемейным, и кроме сестры никому было о нём позаботиться. Аким работал на оборонном заводе, был на казарменном положении, на казённом пайке. И тётка Варвара стремилась ему подкинуть хоть чугунок картошки, хоть крынку молока, немного квашеной капусты... Идти до города чуть ли не сто километров приходилось пешком, волоча санки с поклажей, на это уходило два-три дня, но иначе она не могла. Ещё она прихватывала с собой немного продуктов — лука, яиц, выкроенных из скудного рациона, — их можно было продать на базаре и выручить хоть какие-то живые деньги.

Кроме того, на базаре она продавала то, что мастерила сама: тряпичные половики, лоскутные одеяльца, одежду из домотканой холстины, крашенной луковой шелухой...

Вот эти-то домотканые холсты чуть не подвели её под монастырь. Тогда колхоз выращивал немало льна, летом его дергали, а зимой колхозниц снаряжали его обрабатывать, тербить и чесать. Это была работёнка нудная и совсем не легкая, но бабы шли на неё, не ропща — была в ней особая выгода. Когда лён чесали, получалось много отходов — очёсок, ткать из которых на городских машинах было нельзя. Где-то они тоже шли в дело, их надо было паковать в мешки и отправлять в город. Но почти все женщины понемножку таскали эти очёски с работы, рассовав, кто в рукава, кто за пазуху, кто в карманы. Понемножку, по небольшому клочку, но и эта мелочь для них что-то значила. Чтоб распутать, растеребить очёски, превратить их в пригодное волокно, из которого вручную, на домашних кроснах можно будет выткать холстинку, надо было проявить чудеса терпения и старания. Но многие за войну овладели этим мастерством.

Не удержалась от этого греха и тётка Варвара. И вот как-то раз, когда на дне её валенок были спрятаны две-три пригоршни очёсок, счетовод Артамонов, по совместительству руководивший и бригадой баб, обрабатывающих лён, устроил тщательную проверку на предмет хищений.

Такие досмотры порой случались, и горе было тем, кого удавалось «застукать». Он велел всем разуться, распоясаться, показать содержимое карманов. На пол полетели маленькие клочки льняных очёсок, виновницы замерли, понурившись, а Артамонов побагровел. Отпустив тех баб, что в этот день не были уличены в воровстве, остальных он задержал. И принялся распекать за то, что посмели у своего народа, у родного колхоза украсть что-то, хоть такую пустяковинку. Все стояли потупясь, а бригадир взывал к сознательности, укорял солдаток тем, что женам фронтовиков стыдно растаскиванием народного добра пятнать честь воинов, защищающих народ.

— Вот ты, Назарова — обратился он к тётке Варваре, солдатская мать, а туда же! Как ты в глаза детям после этого смотреть будешь! А ежели я сообщу, куда следует, и тебя в каталажку посадят? Что твой Васька скажет, когда вернётся, как отнесётся к тому, что его мать — воровка?

Случай этот произошёл как раз, когда от Василия особенно долго не было писем. Нервы у Варвары были на взводе, и напоминание о сыне, думать о котором она уже боялась, вывело её из себя. Все знали, что у бригадира-счетовода рука нечиста и себя он не обсчитает. Кто-то из деревенских ребятишек, с голодухи не брезговавших никакой едой, и залезающих в чужие стайки в поисках съестного, божился, что видел корки белого хлеба в корыте с пойлом для свиней в закутке у бригадирских поросят, в то время как вкус белого хлеба вся деревня уже давно забыла...

— Не тебе меня совестить, — вспылила тётка Варвара. — Я одна на троих детей тянусь, а зарабатываю одни «палочки»! Все мы на работе надрываемся, детей не

жалеем, а ты, однако, не перетрудился, и ещё неизвестно, сколько колхозного добра себе натаскал!

И без того красный, распалившийся Артамонов прямо затрясся от гнева. Похоже, он не контролировал себя в порыве злости. Он бросился к Варваре, схватил её за горло и, сжимая пальцы на её шее, закричал:

— Да как ты смеешь, да кто ты такая! Я в колхозе с тридцатого года! Я за него здоровье отдал, а ты, лавочница бывшая, воровка!.. Да я тебя в тюрьме сгною, вот этими руками придушу, как котёнка!..

В приступе гнева он не заметил, что сдавил горло Варвары не на шутку. Она вдруг обмякла, захрипела и потеряла сознание. Женщины завизжали, и тут уж Артамонов сам, испугавшись, отскочил от неё. Вокруг Варвары тут же засуетились, разжали ей зубы ножом, отпили водой, привели в чувство. А потом бригадир всех отправил по домам, наказав помалкивать обо всём, что произошло.

Ничем более серьёзным, чем это потрясение, для Варвары тот случай не аукнулся, но между ней и бригадиром возникла с того дня лютая ненависть. Они больше ни слова не сказали друг другу.

А в декабре сорок четвёртого сын откликнулся после долгого молчания — оказывается, он получил серьёзное ранение, долго лежал в госпиталях и теперь был окончательно комиссован. К великой радости матери он вернулся домой в конце 1944-го. Вскоре он уже ходил без костылей, хотя и хромая, а после Рождества решил, что ему пора жениться. Сам затеял с матерью разговор на эту тему.

— Ну что ж, невест сейчас в достатке. — поддержала его мать. — К кому будем свататься?

— Мне по душе Полина Артамонова, давай её высватаем?

— Только не Полину! — взмолилась мать. — Кого угодно сватай, только не её! Не могу я с этим аспидом, с этим иродом Артамоновым родниться, никак не могу!

После того, как мать рассказала ему всю эту драматическую историю, Вася приуныл.

— Нет, если любишь Полину всерьёз, женись, но я свату слова не скажу, за один стол не сяду — и помириться с ним не смогу...

— Да нет, так жизнь начинать не дело, — решил сын. — Лучше к соседской Наде сватов зашлём.

Но с Надей ничего не получилось, её отец был против такого невыгодного брака. Отдать свою единственную дочь за инвалида с перебитой ногой он не хотел, даже на тогдашнем «безрыбье». Хоть женихов было маловато, он был уверен — на такое приданое, какое будет у его Надежды, достойный жених найдется непременно.

— Не бери в голову, Вася! — успокаивал его крёстный после неудачного сватовства. — Плюнь ты на этого богатея доморощенного и на его Надьку! За тебя любая девка пойдёт. Вот взять хоть Лизочку Солодову, чем не подходит, здоровая, красивая и без фанаберий. К Лизочке и решились свататься.

А она, прослышав о том, что скоро нагрянут сваты, стала спрашивать совета у матери. Дело в том, что ей до войны нравился сапожник Степан, да и он сам на Лизавету заглядывался. Только уходя служить, ей ни слова не сказал, — наверное, посчитал, что мала еще, — ну и она ему ничего не обещала, писем нежных не писала, знала от его матери, что жив покамест, и то ладно. И он ей отдельных приветов даже не передавал.

— Ты, конечно, милая, решай сама! — сказала Лизе мать, овдовевшая ещё в Финскую кампанию. — Но думаю, что нынче женихами раскидываться нельзя. Кто знает, сколько ещё война протянется, придёт ли Степан, нет ли? А Василий — вот он, уже здесь и списанный с фронта подчистую. Так что я против него слова не скажу. Он парень добрый, работающий, а теперь вон ещё фронтовик, герой...

«И правда, где тот Степан? Может и вовсе не вернуться, может зазнобу с собой привезти, а я одна кукуй...» — подумала Лизочка — и дала сватам согласие. В марте свадьбу сыграли, колхоз молодожёнам домик выделил, родня тёлочку подарила... Уже к маю, ко Дню

Победы, наметился у них с Васей первенец. А летом нависли над молодой семьей первые грозовые тучи — вернулся с фронта Степан. Живой-невредимый, тоже с медалью. Девчата вокруг него хороводом ходить стали, а Лиза — локти кусать. Как-то под вечер она прибежала к матери в дом и разрыдалась, уронив голову на скоблённый деревянный стол.

— Не могу я, мама, так больше жить! Не могу Степана видеть, как он гоголем по деревне ходит, не могу с немилым Васькой оставаться, уйду от него!..

— Ну уж это ты глупости затеяла, дочка! — рассердилась мать. — Вышла замуж — живи, никто тебя под венец палкой не гнал, сама определилась. И дитя сиротить тебе никто не позволит, а Степану ты такая — ни девка, ни баба — не нужна, у него невест хоть пруд пруди! Так что отправляйся домой и не вздумай чего сгоряча Васе наговорить!

Так и решилась судьба этого брака, так и остались вместе Василий и Лизавета, по-настоящему совсем не любившие друг друга, втайне тосковавшие по своим несостоявшимся зазнобам, которые тоже обзавелись семьями.

А лет десять спустя тётка Варвара определила на отдельное житьё младших детей и, оставив дом второму сыну, пришла жить к Василию, чтобы помогать растить шестерых детей. Она с болью заметила, что всё у них в доме неладно. Что на Лизу, такую сдержанную на людях, иногда что-то находит, и она начинает криком кричать, самыми чёрными словами ругать и почём свет стоит проклинать свою жизнь, мужа, детей... Даже вслух признаётся в том, что не любит Васю и что жалеет о замужестве! В такие минуты старшие дети, уже что-то понимающие, убегали из дома. Младшие заходились от крика, а тётка Варвара, которой Лиза ни сколько не стеснялась, металась между ними, пытаясь усмирить. Заканчивалось всё только тогда, когда и у Василия сдавали нервы, и он, швырнув в стену первое, что попадалось под руку, — когда чайник, когда крынку, когда чугунок — пулей вылетал из избы и возвращался домой только затем-

но. В такие вечера мать не находила себе места, ей казалось, что Василий что-нибудь сделает с собой, и она умоляла сына крепиться хоть ради детей. И он крепился. Но как-то в один из таких вечеров, поминутно выбегая из сеней за двери посмотреть, не вернулся ли Вася, мать нашла его понуро сидящим на крыльце. На глазах его блестели слёзы.

Она страшно перепугалась — ведь впервые в своей жизни видела плачущего мужчину.

Василий обернулся к ней и сказал еле слышно:

— Эх, мама, мама! Всю жизнь Вы мне загубили своими очёсками!..

Ответственность

По рассказам мамы

Есть истории, которые так или иначе переплетаются с событиями из моей жизни, или они очень похожи. Мы все связаны друг с другом невидимой прочной нитью, и каждый человек — это точка, в которой прошлое и будущее сопряжены воедино.

Однажды летней ночью, когда мне было лет семь-восемь, мы отдыхали с родителями в Большом Кривце. Детей, то есть нас: мою подружку Аню, меня и моего брата, который, как и дядя, назван в честь прадеда Михаила, уложили спать. Но это взрослые думали, что мы уже спим, а мы тихонько разговаривали о своих детских делах. Родители сидели на крыльце и громко смеялись. Время шло. Приостановив беседу, мы поняли, что смех взрослых давно утих. Я выглянула из-за двери дома: на крыльце никого.

— Вот безответственные-то! Как они могли нас оставить одних! — возмущались мы с Аней. И чтобы не оставаться без присмотра, собрались в дом к бабушке и дедушке. Натянули кофтёнки, сандалии, взяли сонного Мишу в белых ползунках. Ему был год с небольшим, поэтому мы несли его через всю деревню на весу за обе руки, чтобы он не касался ножками земли. Самое страшное мы преодолели — скрипучий железный мост, сваренный когда-то братом моей бабушки.

Когда мы бегали по этому мосту, он трещал, а взрослые всё время говорили: «Нарушите мост, никто больше так не сделает!» Люди-старожилы на велосипедах останавливаются перед ним и аккуратно ведут свой транс-

порт пешком. А новоиспечённые дачники не знают истории моста, не знают, что его никто больше не сделает, и едут, проминая железные, горячие от солнца плиты; мост трещит, ему больно, и эта боль звучит в моём сердце...

Мы пробрались тропинкой между соседскими огородами и вышли к строящейся бабушкиной даче. В окнах был свет. Мы шли на удачу, потому что дедушка с бабушкой могли не приехать сегодня. Крыльца тогда ещё не было. Я забралась на брусочек и постучала в дверь. Её открыл дедушка Федя.

— У-у-у! Ребята, откуда вы?

А мы стоим с влажными, обкусанными крапивой ногами, топчемся на месте.

— Ну проходите.

Бабушка Галя затопила печку, нагрела воды и давай мыть нам ноги в жёлтом эмалированном тазу. Я рассказала, что мы хотели заснуть, а родители куда-то пропали. И, чтобы не оставаться без присмотра, мы решили прийти сюда.

Миша быстро уснул. А мы пили чай и собирались уже ложиться спать. Вдруг тревожный стук в дверь! Конечно же, это наши родители. Потеряли нас!

Мама охала да ахала, как мы могли уйти из дома да ещё и ребёнка с собой уволочь. Бегали по всей деревне, прислушивались, не кричим ли мы где-нибудь. Думали, что цыгане утащили нас.

В общем, это был хороший урок для родителей: не оставлять детей ночью без присмотра!

А бабушка хитро улыбнулась и сказала:

— А сама-то не помнишь, как от Клавдии ночью ушла, да ещё и Мишуху за собой потащила?

И тут я узнала историю про её ночной поход.

В том же году, когда мама Ира неумеючи затопила печь, родители вновь привезли её с братом Мишей к бабушке под Новый год. Декабрь, лёгкий морозец. Ира ходила уже в первый класс и была ответственной ученицей. Везти детей в город до наступления января не планировалось,

а у Иры была маленькая проблемка: истекал срок сдачи библиотечной книги. На просьбы съездить в город бабушка махнула рукой.

Ира собрала вещи, одела брата. И, пока бабушка ходила до соседей, детские следы уже вились тонкой змейкой на искристом снегу. Иринка знала, что в 21:30 проезжает мимо Пашенино последний автобус в город. Они спешили на него.

Вышли на большую дорогу, сняли калоши и на свет идущего автобуса стали размахивать ими. Автобус проехал мимо!

Что делать? Решили идти пешком до Сокола. Шли, шли, пока не уткнулись в знак. Ира прочитала по слогам: «ПО-ГО-РЕЛ-КА». Уже руки стали замерзать, надо где-то отогреться и помощи попросить. Фонарей не было тогда, лишь одна луна бросала тусклый желтоватый свет. Из ближайшего леса доносился волчий вой: страшно! Ира знала, что в Погорелке живёт двоюродная сестра бабушки Анна. Надо непременно её найти.

Ира повалила Мишку в снег и вместе с ним кубарем с высокой дорожной насыпи докатилась до ближайшего дома, где, к счастью, горел свет. Ира постучала в дверь, донёсся голос какой-то бабушки:

— Кто?

— Бабушка, это мы.

Женщина открыла дверь и удивилась.

— Господи! Откуда такие взялись-то ночью?

— У нас в деревне родственница живёт, мы К-ны.

Она пустила ребят в дом. По часам Ира определила, что уже двенадцать. Женщина напоила детей свежим козьим молоком и уложила спать.

А в Пашенино, как выяснилось позже, уже искали детей. Бабушка пришла — их нет. Подняли всех соседей. Кто-то побежал на ферму к дежурному — вызвали по телефону милицию, кто-то в лес пошёл с иконами, кто-то в речке уже искал баграми, кто — в колодце...

Когда мама проснулась утром, то бабушка Клавдия спала рядом с ней.

Как нашли?

Когда дети уснули, бабушка пошла к родственникам, муж Анны встал на лыжи и побежал в село Архангельское звонить на ферму. В итоге на следующий день после разговора с детьми опрашивали шофёра автобуса. Он сказал: «Да, махали дети, но я не остановился».

После этого я ещё расспрашивала маму...

— А зачем ты брата с собой взяла?

— Не знаю, почему-то надо было.

Я смеюсь.

— А чего с книгой-то? Сдала её?

— Сдала! Когда меня... как Сидорову козу! И сразу же в город отправили после этого... Отец бранил меня, а я пряталась за телевизором...

— С Мишкой отправили?

— С Мишкой... и с Мишкой, и с книжкой!

Уважаемые библиотекари! Не ругайте детей за то, что они не вовремя сдают книги. И иногда интересуйтесь, не ушли ли они ночью только ради того, чтобы вы своей рукой вычеркнули название книги в маленькой прямоугольной карточке.

Советчица

Светлану Владимировну обожал, без преувеличения, весь литературный бомонд. На каком бы мероприятии она не появлялась, оно поднималось на иной уровень. Как будто самим своим присутствием она придавала и значимость, и статусность событию, месту и даже людям, которые там собрались.

Изучающая какое-то вселенское спокойствие, она всегда слегка улыбалась. Говорила негромко, но её слова невозможно было не услышать и не запомнить. Каждое слово обладало магией.

«Вам бы пошёл деловой костюм», — как бы между делом, мягко посоветовала она однажды сбившемуся в поисках инвестора Ивану Денисовичу, который ей пожаловался на свои литературные неудачи. И в первый же день, когда он надел, купленный в кредит (о, тот был ему не по карману, но сидел, как влитой!) костюм, заключил договор на крупный проект.

«Попробуйте написать об этом рассказ», — посоветовала она начинающему литератору, который зачем-то (он сам не мог понять — зачем) поведал ей свою любовную трагедию. А когда он написал и прислал ей, она сказала: «У вас хорошо получается. Попробуйте написать сборник». С тех пор прошло чуть больше года, и вот, он перед ней с сине-белым букетом и книгой в руках.

— Позвольте вам вручить!

— Гиацинты и ирисы! — удивилась она. — Как вы узнали, что это мои любимые цветы? Но и предположить не могла, что они сочетаются в букете. Такие уж очень самостоятельные они, что вместе их и представить сложно.

— Это мне и продавец в цветочном магазине сказала. Но смотрите, как сочетаются!

— Действительно...

— Я изучил символику цветов. И оказалось, что мудрость символизируют оба эти цветка. Так что решил их вам подарить в знак преклонения перед вашей мудростью. И вот книга моих рассказов, которые появились благодаря вам.

— Про мудрость — это у меня, надеюсь, всё впереди. С книгой поздравляю.

— Я вот поговорить хотел с вами. Давно наблюдаю. К вам люди обращаются за советами, и вы их даёте. И даже когда не обращаются напрямую, вы чувствуете, что хотят услышать какую-то подсказку, и даёте её. И вы делаете это, как сегодня можно выражаться, экологично. Ну вы не настаиваете, не выражаетесь категорично. Вообще как-то мягко очень. Благодаря вам столько людей обрели славу, талант...

— Стойте-стойте, — засмеялась женщина. — Эк вас понесло. Талант у людей от Бога, а путь каждый сам себе выбирает. Я тут не при чём.

— Но это же потому, что они следуют вашим советам! Знаете, я ведь и сам родился чудом благодаря советам одной женщины. У вас есть пять минут? Почему-то хочется рассказать вам эту историю.

Светлана Владимировна очень спешила. Должно было вот-вот начаться мероприятие, ей предстояло сказать приветственное слово. Но кто-то сверху ей будто посоветовал послушать его.

— Очень хочется вас послушать, — честно сказала (она вообще старалась говорить честно). — Но времени...

— Это буквально пять минут. Я вас больше не задержу, — сказал молодой человек и сразу принялся за дело. — Всё произошло в Архангельской области. Одна девушка забеременела от парня, имя которого отказывалась называть родителям. Семья жила бедно. У её родителей были ещё дети, в том числе тяжелобольной. А девушка та и её отец были главными кормильцами. Получалось, она на время выпадет с рабочего ритма, и ещё один рот прокормить всем казалось почти невозможно. В общем, речь стали вести об аборте. Все плакали. Риторика такая была —

что если ребёнок появиться, то только мучаться будет. Без отца, в нищете. Страдалец, одним словом. Но и грех на душу брать не хотели. И тогда пришла идея пойти к Советчице. Шли разговоры, что живёт она через две деревни, и даёт мудрые советы, и что тот, кто этим советам следует, обретает успокоение и счастье.

— А вы её имя помните? — вдруг перебила внимательно слушавшая каждое слово Светлана Владимировна.

— Нет, к сожалению. Это не я её так назвал — Советчица. Её так многие называли. К ней приходили с бытовыми вопросами: сажать в этом месте рожь или пшеницу, вести ли сына в город учиться, отдавать ли девку замуж, ехать ли рожать в больницу заранее... Представляете, не у врачей спрашивали, а у неё, хотя она не имела медицинского образования?! Все знали, что она плохого не посоветует. Но тут дело не в «плохом» и «хорошем». У неё дар был. Понимаете?

— Понимаю, — тут же ответила женщина, глаза которой горели с самого начала разговора.

— В общем, отец девушки сходил к ней. Вернулся. И потом побеседовал с каждым наедине. После чего всех собрал и объявил, что каждый в их семье хочет, чтобы ребёнка сохранили. А когда у него спросили: «А что Советчица-то сказала?» — Он от прямого ответа уклонился. Сказал что-то вроде: «Она сказала, что у нас хорошая семья и Бог нас вознаградит». Ребёнок родился. Отец его нашёлся — оказалось, что он в город поехал учиться, не знал, что девушка была беременная. Он её с ребёнком в город забрал. Стал известным инженером, много зарабатывал. Родителям они очень помогали и даже ребёнка больного вылечить удалось (нашли единственного в стране специалиста по этой болезни, и он бесплатно прооперировал).

— Замечательно!

— Да! А ребёнок тот — я! Вот, я благодаря одной неизвестной Советчице родился. А благодаря второй, очень даже известной (тут он засмеялся) родил книгу!

— Антонина Семеновна.

— Что, простите?

— Это была Антонина Семеновна. Моя бабушка. И я знаю, что она сказала вашему дедушке. Но это потом. Мне пора бежать. Спасибо вам за эту историю! За память!

Молодой человек стоял ошарашенный.

После мероприятия Светлана Владимировна рассказала ему про бабушку. Самое удивительно, она ведь о ней не вспоминала давно. Будто память отшило... А ведь это, выходит, у неё действительно дар, и он передался от бабушки! И как она могла сопоставить всё... Будто память отшибло. А сейчас вдруг сразу всё предстало перед глазами. И вспомнился приятный мужчина, который был бедно одет, выглядел мучеником, который осознаёт, что несёт свой крест. Но держался он достойно. Бабушка ему чай налила и слушала его, слушала. Ничего не говорила, только внимательно смотрела. А потом мягко предложила: «Закрой, милоч, глаза. И теперь представь, что ребёнок родился. Что чувствуешь? Не думай, говори». Мужчина улыбнулся: «Чувствую радость». — «А теперь представь, что аборт сделала дочка твоя, что чувствуешь?» — «Тревожно, беспокойно мне». — «Ну вот ты сам себе ответил. Открывай глаза. Выбор ты сделал. Не за ним ты пришёл. Чтобы я тебе не сказала, ты бы в семью принёс только один ответ. А пришёл ты, чтобы понять, как семью успокоить, потому что думаю, что сам слов не подберёшь. Вот тут подкажу: ты с каждым поговори отдельно, и вот так, как я тебя, попроси закрыть глаза и представить. А потом убедишься, что и они выбор сделали. Хорошая семья у тебя. И Бог вас любит».

Светлана Владимировна, вспоминая все это, осознала: бабушка не советы давала, а озвучивала то, что люди в себе сами несли. Лучший советчик человеку — он сам, его душа. Но иногда надо, чтобы рядом был кто-то, кто это точно знает. Тогда человек себя услышит и поверит себе. И совету внемлет.

«Я бабушку, думала, забыла, и советы её. А она, выходит, во мне всегда была. И память о ней со мной всегда. Память... Женского рода», — думала про себя Светлана Владимировна, и улыбалась, прищурившись, чтобы разглядеть очередного гостя, ищущего её советов.

Васьки в квадрате

Васьки прожили вместе почти полвека. Золотую свадьбу за малым не успели справить. Василий заболел неожиданно и ещё более неожиданно умер. Всю жизнь проработал колхозным кузнецом. Не было во всей округе человека сильнее и здоровее его, а тут — на тебе, обширная язва желудка. Антонина и подумать не могла, что всё случится так быстро, потому как была уверена, что первой уйдёт она. Даже «смертельный» узелок только себе приготовила.

За последние годы она перенесла несколько операций, с таблетками почти не расставалась, а он сам доил корову, возился в огороде, косил сено, делал заготовки на зиму. Антонина лишь сидела на маленьком стульчике и консультировала:

— Стаканчик соли... А теперь — неполный уксуса... Что-то не нравится мне, как ты банку закатал. Ну-ка попробуй, крышка не крутится.

Теперь учить было некого. Дочки побыли с ней несколько дней после похорон и разъехались: у каждой свой дом, работа, семья. И свои проблемы.

— Никому я не нужна, — вздохнула Антонина.

Когда тоска становилась совсем невыносимой, шла на кладбище и долго сидела у могилы мужа на лавочке под огромным кустом сирени. Где-то далеко в низине жила привычной жизнью станица, а здесь гулял лёгкий ветерок, теребил концы вдовьего платка — и ей казалось, что это Василий пытается развязать тугой узел. Он смолоду не любил, когда она прятала под платок чёрные как смоль волосы:

— Я, может, из-за них судьбу свою поменял.

Наверное, так оно и было в то далекое-далекое лето...
...Антонина работала в городе, домой навевывалась редко, а тут решила провести с родителями в деревне остаток отпуска.

Василий недавно демобилизовался из армии и в один из выходных решил свататься. К Вере — она ждала его два года и писала длинные письма со стихами. Иногда его это даже раздражало. Особенно, когда на тыльной стороне конверта Вера рисовала голубя, больше похожего на курицу, и выводила: «Лети с приветом, вернись с ответом».

— Да, ладно... Пишет, как умеет, не это главное, — думал он. — Главное, ждёт верно. Умная. Хозяйственная. Чего ещё надо?

Василий не стал дожидаться автобуса, что ходил в деревню раз в день. Не такое уж великое расстояние восемь километров. Легко перевалил через горку. День был жарким и пыльным. На небе ни облачка уже которую неделю. Трава вдоль дороги пожухла. Бесконечная песня цикад словно висела над землей на какой-то невидимой нитке. Хотелось поскорей спрятаться в тень. Лесополоса, маячившая впереди, казалась спасительным оазисом.

Но и в ней было душно. Листья на кустах и деревьях пожелтели и скукожились.

— Горит всё без огня и дыма, — буркнул Василий и присел на пенёк. — Эх, сейчас бы дождичка...

— Кар! — будто соглашаясь с ним, подала откуда-то голос ворона и замолкла.

— Тебе по такой жаре даже каркать лень, — засмеялся парень, — а я вот свататься иду. Ну, ладно, успокойся! Пошёл я. В степи хоть ветерок, а в твоих владениях духотища — задохнуться можно.

Он надел фуражку и отправился дальше. До Соколовки добрался в самую жару. Казалось, всё живое там вымерло.

«К своим что ли зайти?» — подумал Василий и свернул к знакомой хате: двоюродная сестра недавно вышла замуж и жила вместе с мужем у свекров.

— Вася! — обрадовалась сестра. — Ты откуда? Заходи, я тебя квасом холодным напою!

— Нам квас — в самый раз! — гаркнул Вася и удивился: — Надо же! Стихами заговорил! От жары, наверное!

Живительная влага разлилась по всему организму, ноги стали ватными.

— Пойди на диване отдохни, — предложила Варя, — а я пока борщ доварю. Да и мои из райцентра вот-вот должны вернуться.

Она проводила брата в комнату с закрытыми ставнями:

— Здесь у нас всегда прохладно. Сторона северная, солнышко не заглядывает. Стены толстые, саманные...

— Саманные, — зачем-то повторил Вася, уже засыпая.

Проснулся от мерного стука и лёгкого ветерка. В соседней комнате у огромного зеркала, что висело между окнами на улицу, танцевала девушка. Ей не было видно дивана, и Вася мог наблюдать за ней незамеченным.

Девушка повесила на руку маленькую сумочку, сняла с головы лёгкий, в тон платью, шарф и кокетливо накинула на плечи. Засмеялась. Распустила волосы, схваченные блестящей заколкой — они рассыпались по спине причудливыми волнами.

— Ты что делаешь? — спросил кто-то.

— Да вот, обновки примеряю: туфли, платье, шарфик, — ответила девушка. — Ридикюль купила, а то старый порвался. Купальный костюм подруга просила привезти. Так я и себе заодно приобрела. Сейчас продемонстрирую.

«И в кино ходить не надо...» — подумал Василий.

— Какой купальный костюм? (это уже сестра Варвара) — Там... — и она что-то зашептала.

Девушка сняла туфли, осторожно подошла к двери, заглянула в комнату и тихонько прыснула:

— Ой, правда! А я тут... Что ты раньше не сказала?

— Кто ж думал, что ты концерт надумаешь показывать? Выступила хоть по полной программе?

— Не успела, Варь. Мне бы спеть ещё, — засмеялась девушка. — У нас там песни такие поют: Ия-ия-ия-ия!

Мугамы называются. Говорят, когда французы слушают, плачут. Ладно, давай на стол собирать.

Запахло борщом и ещё чем-то вкусным. Василий встал с дивана, поправил чуб и вышел из тёмной комнаты.

— Ой, Вась, мы тебе и отдохнуть не дали. Садись к столу, — хлопотала Варвара. — Наши-то за сеном уехали. А это невестка моя, Антонина. В отпуск приехала. На промыслах работает. Ты ешь. Борщ сегодня наваристый. Пирожки попробуй.

Обед, действительно, удался на славу. Не успели выйти из-за стола, как приехали хозяева.

— Ну, бабка, с таким гостем и выпить не грех! — Варин свёкор поставил на стол бутылку самогонки. — Так вот ты, оказывается, каким стал, Василий. Я ведь тебя ещё пацаном помню. В кузне работаешь? Это хорошо. Ну, давай! Чтоб гвозди не ломались!

Потом пили за то, чтоб лошади подковы не теряли, чтобы бороны крепкими были, за мир во всём мире, за любовь и дружбу.

Василий всё чаще поглядывал на Антонину. И уже никуда не спешил.

— Ну, всё, ребята, мне пора корову доить, — сказала свекруха. — Да и тебе, дед, нечего засиживаться. Иди хозяйство управляй. А вы, молодёжь, может, в клуб сходите? Сегодня кинопередвижка приехала. Кино, говорят, хорошее.

— А что, можно и в кино, — поддержал мать Федор, Варин муж. — Девчата, полчаса на сборы хватит? А мы с Василием пока искупнёмся.

Они прошли по узенькой дорожке на меже через огороды, за которыми петляла узкая речушка.

— Это она тут такая мелкая, — пояснил Федор, — а ниже — пруд с плотиной. Мы там каждый день купаемся.

Вода приятно освежила. Мужчины на спор переплыли водоём. Куда и хмель делся.

— Даже вылезать не хочется. Но надо. А то девки обидятся. Нырнём по разу — и айда, — предложил Фёдор.

Пока дошли до дома, обсохли. Брюки и рубашки надели уже у порога.

— Ну и вымылись! Ажник блестите! Сороки не унесут? — шутила Варя. — А то в клуб идём с провожатыми, а назад — кто его знает, как!

Кино было про любовь. Василию такие фильмы не очень нравились, обычно он дремал, но в этот раз смотреть было интересно — не столько на экран, сколько на Тоню. Она то начинала расплетать косу, то закрывала глаза, то, наоборот, смотрела вперёд, не мигая. Пару раз даже слёзы вытерла.

Хотелось взять её за руку, но он так и не решился.

После кино решили немного погулять. Антонина с интересом разглядывала неожиданного кавалера.

— А пойдёмте на пруд, — предложил Фёдор.

— Сдурел что ли от кина? — запротестовала Варя. — Мы в праздничном. У Тони вон платье — сесть страшно, две наших с тобой зарплаты стоит, а ты по бурьянам зовёшь лазить! Погуляем возле клуба. Как люди.

— Резонно, — не стал упираться Фёдор. — Тем более что Володька Коннов за гармошкой пошёл.

Скоро над деревней поплыла чистая и ровная песня — уж чем-чем, а этим местный гармонист на весь район славился. Потом зазвучал вальс, и Варя потянула брата за руку:

— Вспомним молодость, Васятка! Мой-то муж вальсировать никак не научится! Да и не сильно хочет!

— Это кто не хочет? — Фёдор подхватил жену и закружил в танце. — А ты, Вася, лучше Тоню пригласи! Да поспешай! А то Витька уж поглядывает! Перехватит!

Тоня засмеялась и сама подошла к Василию:

— Пригласите девушку...

Её руки были прохладными и нежными, волосы пахли ромашкой и чем-то очень знакомым — сладким и горьковатым одновременно.

«Степным ветром что ли? — думал Вася. — Она и сама — ветер. Улетит — и ничего в руках не останется. Улетит...»

После танцев они долго сидели на лавочке у дома, пока хозяйка не позвала:

— Молодёжь, хватит ночь переводить! Девчата, идите в хату! А вам, мужики, я на сене во дворе постелила.

Федор уснул быстро, а Вася всё смотрел на звёздное небо, прислушиваясь к ночным шорохам. От запаха сена кружилась голова:

— Ветром пахнет... Улетит — и ничего не останется...

Ему приснилась Тоня. Она стояла у зеркала и заплетала косу. Потом повернулась к нему и стала похожей на Веру.

— Невеста, — шептала она. — Не веста или веста? Невеста...

Василий проснулся:

— Невеста... Веста... Вот угораздило... Застрял на самой серединке. Налево пойду — жену найду. Направо пойду... И пойду... Отступать некуда.

Еле дождался утра. После завтрака позвал Тоню в сад.

— Выходи за меня замуж...

— Да ты что? Ты ж меня первый раз в жизни видишь...

— Не первый, а третий. Проснулся на диване — раз, с пруда пришёл — два, сегодняшнее утро — три. Так что, достаточно.

— Да я же уезжаю через неделю...

— Куда?

— Далеко. Я на промыслах работаю. Нефтяных.

— Работала. Возьмёшь расчёт.

— Да не могу я так. Я даже фамилии твоей не знаю...

— А я тебе скажу: Васильев.

— Ну уж нет! — засмеялась Тоня. — Всю жизнь Васькой быть не хочу!

— Причём тут Васька? Я Васильев. А ты будешь Васильева.

— Да ты не обижайся! Это ещё с пятого класса. Надо было свои инициалы написать. А я ж Воронина Антонина Сергеевна — В. А. С. Вот меня с тех пор Васькой и кличут! Теперь буду Васькой в квадрате.

— Будешь! Ещё как будешь! — обрадовался Василий. — А что? Васьки в квадрате! Неплохо звучит! Пойдём, что ли, твоих обрадуем.

— Матушки! — ахнула Варя. — Ты ж... (чуть не ляпнула: «К Верке свататься шёл...»).

— Слава Богу! — зашмыгала носом мать. — Теперь хоть к басурманам не уедешь. Отец! Беги в магазин за «казёнкой»! Негоже такое дело самогоном обмывать.

После окончания уборки в колхозе сыграли свадьбу.

— Ну что, Васёк в квадрате, будем жить?

— Будем, Вась...

И зажили. Не хуже других.

Родились дочки-погодки. Работать Антонина так никуда и не пошла. Занималась домашними делами и детьми.

— Правильно говорят: в доме должно пахнуть пирогами, борщом и пелёнками, — радовался Василий. — Вот оно, счастье! А то «раз в жизни видел, раз в жизни видел...» Скажешь тоже! Я и за полпраза больше положенного разглядел.

Васьки никогда не расставались надолго. Даже в дом отдыха ездили только вместе. Василий частенько замечал, какими взглядами провожали жену мужики, и шутил:

— Тебя, Васька, одну нельзя никуда отпускать. Уведут — и фамилию не спросят.

— А то, — хитро улыбалась Тоня.

Она ни разу не дала ему повода для ревности. Но однажды, после получки, Василий нечаянно услышал разговор двух пьяных друзей:

— Ко мне эти бабы липнут... Не знаю как... Проходу не дают...

— И я не знаю, как. Мне даже Васькина Тонька любовь предлагала.

— Да ну? А ты?

— А я чо? Дают — бери, а бьют — беги...

— А как же муж?

— А чо муж? Муж, ну, он и есть муж...

Вася пришёл домой мрачный.

— Что случилось? — заволновалась Тоня. — Устал?

— Устал, — буркнул Вася. — Пойду с детьми погуляю.

Он пытался отвлечься от своих мыслей, но они, как назойливые мухи, не давали покоя.

Поговорить с женой решил, когда уже легли спать:

- Тонь, скажи честно, у тебя с Петькой что-нибудь было?
- С каким Петькой?
- Шумаковым.
- А что у меня должно быть с Петькой Шумаковым? — зевнула Тоня.
- Ну...это... Любовь.
- Когда?
- Ну, когда-нибудь...
- Ты что, Вася, с ума сошёл? С какой стати? С чего ты взял?
- Да он сам сегодня хвалился...
- Чем?
- Тем, что у вас с ним было...
- А ты?
- А что я?
- Ты ничего ему не ответил? Да я бы на твоём месте ему рожу набила.
- Хотел сначала у тебя узнать. А набить... С моими кулачищами не получится. Только убить. Так, правда, ничего не было?
- Я тебя когда обманывала?
- Вроде, нет.
- Вроде?
- Нет.
- Вот и не бери в голову дурного.
- Ладно, Васька. Мир?
- Мир, Васька, — согласилась Антонина. — А с этим гадом слюнявым я сама разберусь.
- Да ну его к чёрту! — Василий обнял жену и спрятал лицо в распущенных волосах. — Ветром пахнут...
- На следующий день Антонина положила в сумку небольшой молоток и отправилась в колхозную мастерскую. Отозвала Петьку в сторонку, открыла сумку, показала её содержимое, застегнула молнию и, размахнувшись, ударила его по спине:
- А теперь скажи спасибо, что Василий с кувалдой не пришёл. Разбираться. Когда это у нас с тобой любовь была?

— Да я это... Да я ничего.... Я просто так ляпнул, — лепетал Петька. — Спьяну, видать...

— Ты просто так, а я — на полном серьёзе. Следующий раз явлюсь с клещами и язык вырву. Если, конечно, Василий не опередит, и до следующего раза жив-здоров будешь. Он у меня подковы двумя пальцами гнёт, а уж тебя, сморчок...

— Я сейчас сбегаю, извинюсь. И ты меня, Тонь, прости. Не знаю, какой бес попутал.

Петька побежал в кузницу. Как уж он там извинялся, неизвестно, но только Василий шутил весь вечер:

— Ну, ты, Антонина, Петра и шуганула! Молоток-то хоть не игрушечный брала? Надо ж было додуматься! Теперь мужики, как увидят тебя с ридикюлем, так разбегаться в разные стороны будут! Бабы все по молотку купят! Представляю: идут по улице бабы — и все с молотками! А ты у них самая главная атаманша!

— Да ладно тебе, — смеялась Антонина. — Зато будет теперь думать, прежде чем языком молотить. И другим закажет.

Девчонки росли добрыми и ласковыми. И абсолютно разными. Старшая — с детства спокойная да рассудительная. Десять раз любое дело обдумает. В школе — на всех собраниях только благодарности. А младшая — юла да и только. Все делала быстро — не успеешь подумать, а уж готово. Если где-то притихла — точно шкодничает: то платье выходное порезала куклам на одеяла, то рассаду в ящиках под корень постригла. Училась на пятёрки, всё на лету схватывала и всё успевала: в хоре пела, в школьном театре играла, в спорте ей равных не было.

И Антонина, и Василий ни в каких занятиях дочкам не препятствовали.

— Пускай дети развиваются. Мы-то в их возрасте мало чего хорошего видели — время такое было, война. А им — живи да радуйся, да мамку с папкой почитай...

Девчонки окончили школу, уехали в город учиться. Потом замуж вышли. Родителей навещали редко. Анто-

нина едва с ума не сходила от волнения, если от них долго писем не было, а Василий успокаивал:

— Не переживай, мать. Не пишут — значит, все нормально. Было бы плохо, уже примчались бы под мамкино крылышко, чтоб пожалела да согрела. Вот погоди, дождёмся по внуку в каждую руку. Подкинут: нате вам! Не мы первые, не мы последние.

По внуку в каждую руку не получилось. Старшая родила девочку, а потом как-то семейная жизнь у неё не сложилась, привезла внучку бабке с дедом. Так они её до самого первого класса и воспитывали. А младшая всё отшучивалась:

— Да что вы заладили: дети, дети. Мы ещё для себя не пожили. Мужу вон работу за границей предлагают. Поработаем на благо родины, а там посмотрим.

В общем, тоже на одном ребёнке остановились, да и то, когда уж волосы поседели. Дети в школе всё спрашивали:

— Вовка, а почему у тебя папа старый, как дедушка?

Васьки сначала обеим дочкам помогали, а потом и внукам. Василий ни от какой работы не отказывался — лишь бы платили. А платили кузнецу неплохо. Да ещё держали они хозяйство, на себя особо не тратились.

— А что нам надо? В доме всё есть, не голые, не босые, — говорила Тоня. — Дети — другое дело. Абы в чём на работу не . Там же, в городе, друг перед другом выставляются. Наши девочки не хуже других. Правда, Вась?

...И вот теперь Антонина осталась одна. В доме тихо и тоскливо, ночи стали тёмными и длинными. Иногда ей казалось, что кто-то ходит по комнате, скрипит половицами, тяжело вздыхает. Она боялась шевельнуться до самого утра. А днём шла на кладбище, чтобы рассказать мужу о своих страхах. Однажды увидела рядом с могилкой маленького котёнка, удивилась:

— Ты как сюда попал?

Котёнок доверчиво прижался к её ноге и замурлыкал.

— Ну что, пойдём домой? — вздохнула Антонина. — Будешь ты у меня за старшего... Васькой...

Tesla

«Слабость — это как у бедной Лизы. У неё не было ни каких оснований самоубиваться. Лиза была глупая, а ни какой ни луч света в тёмном царстве. Могла бы использовать сто рублей чтобы всё наладить, а она взяла и бросила больную мать на смерть!» — так написал на пробном экзамене Зебров. И теперь его будущее смотрело из рамки листа, как из поминальной.

Варвара Владимировна исправила слова «никаких», «оснований», добавила мягкий знак инфинитиву... И разрыдалась. Её окружали пыльные обои, потёртый диван с желтоватыми разводами и разбухшие деревянные рамы, через которые забирался в квартиру холод.

Прислонившись лбом к стеклу, у дома стояла кислая провинциальная зима и мрачно заглядывала в комнату. Лампа в патроне, примотанном изолентой, мигала.

Варвара распахнула дверцу шкафа, достала ласты с растянутыми пятками, валявшиеся без дела ещё со времён ухода мужа, и извлекала из левого лафта газетный свёрток, а из него — сто семь тысяч восемьсот рублей — пересчитала.

Она копила на ремонт. Но сейчас новые пластиковые окна и виниловые обои перестали казаться средством спасения от тусклого быта.

Утром Варвара отправилась в турагентство. Там она листала каталог с турецкими пальмами и полотенчатыми лебедями. Но перед Новым годом оставались только уда-

лѣнные от берегов клетушки по ценам четырёхзвѣздочных отелей.

Оператор, красивый молодой человек с чѣлкой наискосок, обвѣл взглядом еѣ тяжѣлое лицо, а потом пуховик с потѣртой подкладкой, который грустно висел на вешалке у входа, как старый самоубийца. И посоветовал купить тур в феврале, когда дешѣво и не сезон.

— А пока что вложите куда-нибудь деньги, — подмигнул он.

— Куда их вложишь на два месяца?

— Можно в акции!

— В какие такие акции?

— Да хоть электромобилей...

У него были весѣлые зелѣные глаза, как у еѣ мужа. Но расспрашивать про акции она постеснялась.

— Я в этом не разбираюсь, — неловко хохотнула Варвара.

Молодой человек посмотрел на неѣ сочувственно и пожелал всего доброго.

Но дома Варвара, действительно, подумала: зачем прятать деньги в левый ласт, когда можно их приспособить. Она стала читать про акции, банковские вклады, инвестиционные счета и, даже не успев сообразить, как это вышло, оставила заявку на открытие брокерского счѣта в одном из городских банков. Карту привезли через день к подъезду, установили на телефон приложение, и инвестиционные горизонты открылись ей во всѣм своем штормовом великолепии.

Однажды на бульваре она наткнулась на Зеброва с компанией. Пацаны сидели на спинке лавочки, пили пиво.

— «Муть вина, нагие кости...» — остановилась она напротив. — Так рано и уже пьем?

Все заржали.

— Проверила твоѣ сочинение, Лѣша... Вот зачем ты это? Понимаешь, что у тебя будет двойка в аттестате?

— Я правду написал, — буркнул Лёша.

— Всюду цензура! — выкрикнул его товарищ.

И парни опять разразились лающим смехом.

— Не цензура, а здравый смысл. Ты бы приходил на дополнительные... Сделаю напоследок доброе дело и уйду.

— Из школы уйдёте?

— Ну не из жизни же...

— Жалко, — сказал Зебров.

Все захохотали ещё громче, и тогда до Лёши дошло. Он покраснел и проямлил:

— Не в том смысле. Жалко, что из школы.

Она покачала головой и пошла домой ждать февраля. Было темно. Платиновый дневной свет, сожительствовавший с ней в однушке, сегодня куда-то ушёл — как муж семь лет назад.

— Где сахар? — спросил её муж после ужина.

— А что, нет? — удивилась она.

— Нет.

— Завтра куплю.

— Вчера было полпакета, — муж смотрел на неё, как ищейка на охоте.

— Ах, да! — она вспомнила, что испекла вишнёвый пирог.

— Ты специально, — сказал муж. — Ты всё у меня отбираешь: работу, друзей, дочь...

— Между прочим, это я нашла тебе работу.

— Варя, я её ненавижу.

— А дочь что? Да кто у тебя её отбирал? Вышла замуж, уехала, счастлива...

— Счастлива, как же! Ты всех распугала. Чтобы никого у меня не было — была только ты. И вот даже сахара нет. Каждый раз! Ты специально!

— Знаешь, что!.. — вскипела Варвара. — Вот и катись тогда к своим друзьям-алкоголикам.

Она думала, что он пойдёт в комнату и, как всегда, разляжется на диване, отвернувшись к стене. А он собрал

вещи и вышел в другую жизнь, облепленную вечерним морозным сиянием. Варвара мучилась-мучилась, но так и не поняла — специально она или не специально. Но долго ещё держала в диване целый мешок сахара. Про запас.

Всю ночь она ворочалась. По стенам двигались тени горячих турецких утёсов, и о них разбивались утренние брызги света. Электрокабриолет с эмблемой *Tesla*, скользкий по горному серпантину, вёл её муж, но ещё молодой, с косой чёлкой и зелёными глазами; стены домов были увиты бугенвиллиями, и с горной высоты открывался вид на Средиземное море.

Варвара проснулась ещё до будильника и больше не могла сомкнуть глаз. Переплыв ледяное утро, как мутную реку, она почистила зубы, заварила кофе и стала читать про электродвигатели, зарядные станции, аккумуляторы, спрос на литий, *Tesla*, *Ford*, *General Motors* и растущие китайские рынки.

Вначале она купила тысячу семьсот тридцать долларов, а потом на них — двадцать одну акцию *Tesla* по восемьдесят два доллара.

Дыхание перехватывало — то ли от спешки, то ли от предчувствия какой-то новой жизни, которая уже подкрадывалась, которая волновалась и дышала неподалёку, как тёплое бирюзовое море.

— Ну, с богом, — прошептала она.

День был просторный. Впереди маячили праздники и новогодние каникулы с огоньками гирлянд и шампанским.

К вечеру, когда она закончила с оценками и посмотрела на график, акции выросли на полтора процента. К Новому году доросли до ста тридцати долларов. С развода у неё почти не водились свободные деньги — всё, что было, откладывалось на ремонт. И вот...

В ней начала шириться надежда, похожая на взмывающий воздушный шар. И как будто с этого шара она, наконец, увидела огромную жизнь, которая состояла

не только из исчёрканных тетрадей, жалостливого хрумканья снега по дороге в школу и чужих детей.

Варвара даже продала одну акцию, чтобы эту, другую, свежую, жизнь приблизить: купила платье в синий горошек с розовым поясом, замшевые сапожки с золотыми пряжками, которые были хороши, но неуместны в талой провинциальной зиме, шёлковый шарфик с ваноговскими подсолнухами и пирожные из кондитерской, в которую никогда раньше не заходила.

На Рождество Варвара взяла в кредит сто тысяч. И добавила в портфель ещё двенадцать акций.

— Когда-нибудь тебе перестанет везти, — сказала ей соседка, зашедшая на пирожные. — Ладно свои деньги, но кредитные... И она так посмотрела, как смотрят на пропащих людей и умалишённых.

Раньше Варвара пропустила бы это мимо ушей, но не теперь. Она выпалила обидно и многозначительно:

— Моё-то только растёт, а вот твоё давно уже торгуется ниже рынка.

Соседка пулей вылетела из квартиры — и больше не заходила.

В феврале Варвара не поехала отдыхать. Биржевой график ушёл в боковик. А в Турции держались рыхлые пятнадцать градусов и холодное море.

Вечерами она садилась за анализ трендов, помечала уровни поддержки и сопротивления, вглядывалась в фигуры на графике, строила каналы роста и собирала новости про электрокары, *Tesla* и Илона Маска. Потом наспех проверяла школьные тетради.

Она по-прежнему вставала в хмурые шесть часов, выводила круглые хвостики букв на доске, запускала меткие стрелы аллюзий в учеников, но вместе с надеждой на перемену в жизнь ворвалась какая-то новая лёгкость. Каблуки её замшевых сапожек теперь быстро постукивали по коридору, а учитель химии при встрече ещё несколько минут глядел ей вслед. Он носил ей розово-белые тюль-

паны и за обедом рассказывал про южноамериканских обезьян, которые натираются многоножками, выделяющими защитные химические вещества класса бензохинонов, чтобы защититься от комаров.

В марте цена упала до ста двадцати долларов. Потом до ста десяти. Потом до ста пяти. Всюду писали, что *Tesla* в долгах, что акции переоценены и надо от них избавляться. Варвара неделю ходила бледная и растерянная и в конце концов, днём в пятницу решила продать, пока её счёт не ушёл в окончательный минус. Надо было закрывать кредит.

В этот момент в дверь постучали. На пороге учительской стоял растрёпанный Зебров:

— Варвара Владимирна, я к вам! — он всучил ей что-то круглое в фольге. — Вот. Это пирог. От мамы.

— Какие люди к нам на блюде... — поприветствовала она.

— Варвара Владимирна! Я заниматься хочу, чтоб в десятый перейти, — отгарабанил Зебров.

— Что за медведь сдох? — Варвара припечатала горемычного ученика тяжёлым взглядом.

— У меня это... отец вернулся. Я думал, что к нему поеду, работать на лесопилку. А они с мамой помирились, и он в город вернулся. Говорит: «Учись».

— Два месяца до экзамена, Лёша. Не успеем. На второй год, скорее всего, останешься. Да садись уже.

— Ну хоть попробуем? — жалобно протянул он. — Не получится — так останусь.

— Ну ладно. С чем пирог-то?

— С вишней.

Варвара поставила чайник и посмотрела в окно: в ветвях берёзы слонялось лёгкое мартовское солнце, серые горы снега, наконец, дрогнули перед теплом и расплылись в улыбках коричневых ручьёв.

— Точно будешь заниматься? — переспросила она.

— Да, буду-буду, — прорычал Зебров набитым пирогом ртом.

Варвара отложила телефон.

В мае акции стоили уже по двести долларов за штуку, а через год выросли ещё в четыре раза. Варвара продала половину.

Зебров пересдал неудачно и остался на второй год.

Она так и не поехала отдыхать, не увидела, как цветут олеандры и море тянет свою взволнованную солёную песню. Но перед праздниками учитель химии помог ей переклеить обои и вытолкать из дома старый диван с пятнами.

И там у мусорных баков на углу дома, где закончил жизнь горемычный диван, Варвара посмотрела на звёзды и почувствовала, как дрожит над ней тёплая ночь, через которую от станции к станции едут заряженные машины, летят гигантские ракеты и приближается к огненному Марсу Илон Маск. Что он говорит? Плохо слышно через вселенную. Кажется, что-то на русском с ужасным акцентом. Может быть, зовет с собой — колонизировать планеты. Или, перекрикивая время, предупреждает, что приближается идеальный шторм — лопнут долговые пузыри, и посыплются мировые рынки... А может быть, спрашивает: «Сколько стоят ландыши у Бедной Лизы?»

Олик и Древо

Древо

Современный человек не может отразиться в далёком прошлом, но прошлое, какое бы ни было далёкое, не может не отразиться в нём. Только так удастся соединить в одном повествовании сюжеты, не имеющие между собой никакой деятельной связи. Рассказ о корнях — это рассказ о смерти. Её много там, в прошлом. Оно появляется с возрастом и тянет за собой прошлое других людей, багаж, потрёпанный на пересадках времён, когда владельцы утратили возможность уследить за ним. Нужно время, чтобы понять, что это твой собственный багаж, и дорожить им.

Олеся не прикасалась к бабушкиному сундуку и ничего не хотела знать о его содержимом. Сундук открыла я, когда умерла Олеся.

Олик

Если Олик решил мне сделать приятное, надо смириться, это означает, что он решил сделать приятное себе. Олик на самом деле Ольга Борисовна Григорьева, или ласково Олеся, мамина двоюродная сестра. А Оликом стала, потому что, любя, называла меня Мариком, ведь я Маруся, и теперь все привыкли.

Я звоню Олику, когда мама не может сама этого сделать. Хотя он не берёт трубку, если увлечён интересной передачей. Бывает, я звоню несколько раз подряд и всё безрезультатно. А когда в трубке раздаётся знакомый голосок, уже некогда разговаривать, и я выпаливаю:

— Привет! Контрольный звонок. Не надо ли чего?

— Марик, здравствуй, дорогой! — восклицает с умилением трубка. — Всё в порядке.

— Тогда завтра я снова сделаю контрольный звонок.

Со мной весело соглашаются. А на следующий день звонят и кокетливо заявляют:

— Всего лишь контрольный звонок.

Олику не так-то просто помочь, на всё есть возражения, хотя временами сетует.

— Милый ты мой человечек. Я ведь одна, а надо что-то купить поесть. И молочка, и хлеба. Очень непросто для женщины дважды бальзаковского возраста. Понимаешь, ведь возраст — понятие растяжимое.

— Я тебе всё куплю и привезу.

— Нет, Марик! Ни в коем случае, в доме беспорядок, я не смогу тебя принять как следует.

— Я отдам сумки и уеду.

— Ты меня ужасно огорчишь. Я должна сделать селедочку, картошечку. Чтобы мы посидели.

— Дай мне принести тебе пользу! — не унимаюсь я.

— Если от тебя нет вреда, это уже огромная польза, — завершает категорично.

Ему не откажешь в чувстве юмора. Но всё равно он уже совсем сумасшедший, потому что давно один. Сначала жил вдвоём с мамой, тётёй Олей, а после остался во все один. Коротает жизнь, как он сам выражается. И единственные его родственники — мы.

Древо

Перебирая судьбы людей из прошлого, мы, как боги, уже знаем об их будущем.

В пушкинские времена в Смоленской губернии барышня Пелагея, как и все девушки её круга, имела альбом, куда поклонники писали посвящённые ей стихи, именуя её Полиной. Замуж она вышла не за поэта, но альбом сберегла.

«1830 года апреля 30 в доме вдовы инженер-капитанши Марии Васильевны Боборыкиной живущий по найму отставной штабс-капитан князь Владимир Никитин

Друцкой-Соколинский вступил в законное супружество первым браком, понял за себя умершего тайного советника Лукьяна Иоанновича Боборыкина дочь девицу Пелагею Лукьянову. О коих обыск был чинён с поруками».

Князь был богат, бесшабашен, расточителен, притеснял соседей. Однако успешно выдвигался на видные посты, был предводителем уездного дворянства. В формулярном списке 1853 года указаны члены семьи, жена и дети: Александр — 22 года, Дмитрий — 21, Марья — 19, Ольга — 18, Екатерина — 15, Андрей — 10 лет, Наталья — 4 и Константин — 2 года. Древо разветвляется, но одна из ветвей — княжны Ольги, родившейся 27 мая 1835 года.

Олик

Сегодня холодно и туманно. Сырость скапливается на голых деревьях, крышах домов, вдруг обрываясь с веток или карнизов одинокой каплей. Я поглядываю на Олика, как он цокает высокими каблучками. Он всегда, с самых моих детских лет, водил меня в цирк. «Хочу тебе сделать маленький презентик...» — с загадочной интонацией начинает он, и я представляю, как долго и тщательно изучались афиши с перечнем спектаклей и представлений, после чего опять был выбран цирк. Смотрю на опрятного, принаряженного Олика и мне стыдно за свой непрезентабельный вид.

Опаздывать и торопиться категорически нельзя. У нас в запасе час, и мы устраиваемся в кафе напротив цирка. Покупаем мне воды, Олику вишневого сока и кулёк изюма. Трубочку в упаковку сока втыкаю я. Олик боится забрызгаться, жёлтое здание цирка ярко освещено. По ступеням бегают дети. Олик тоже смотрит туда, но быстро отворачивается, заметив проезжающий мимо похоронный автобус.

— А... как... — он отчаянно ищет способ прогнать грозный призрак. — Как ты думаешь, будет всё время сыро, или наступят морозы?!

— Наступят, наступят, — великодушно прихожу на помощь. — По радио говорили...

— Да! Кстати, по радио! — перебивает он с воодушевлением. — Сказали, что открытия в медицине указывают на небожественное происхождение Ахиллесовой пяты!

Лукаво взглядывает на меня, достаёт из сумочки сиреневый платочек с кружевами, промокает губы и обмахивает пальчики, оглядывая аккуратные ногти. По старым фотографиям я знаю, что Олик был очень красив. Тёмные волосы, скрученные на затылке в сложный пучок, карие глаза, длинные ровные брови. Из-за того, что два верхние передние зуба чуть выпирают, надо губы чуть вытянуть, чтобы сомкнуть, и получается бантик. «В этом её особый аристократизм», — говорит мой папа. Мама рассказывала, что когда Олик работал в военной типографии, в него влюбился генерал, который был намного старше. Олик тоже его любил. Но генерал не мог оставить семью.

Древо

Княжна Ольга Владимировна в двадцать лет вышла замуж за богатого смоленского помещика Степана Васильевича Щербова. Его отец, Василий Павлович, герой войны 1812 года, имел боевые награды, золотую шпагу «За храбрость», «4 февраля при атаке села Остроленка был ранен пулею около уха и за отличие в оном деле награждён орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом». Участвовал в битве при Аустерлице 1805 года и при взятии Парижа 1814 года. А Степан Васильевич, в отличие от своего отца, пошёл по гражданской части, окончил Императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге и в 1854 году поступил на службу в 6-й Департамент Правительствующего Сената с чином губернского секретаря. Был уважаемым человеком, занимал высокие посты в земстве, решая насущные вопросы хозяйственной жизни уезда и губернии, избирался председателем губернской управы.

Семья жила в наследном имении, супруг был рачительным хозяином, имел винокуренный завод, «сила завода определена 19 000 вёдер». В контракте 1859 года

указано: «Должен я выкурить на моём заводе и поставить в казённые магазины вина... Всего: десять тысяч ведер».

Детей родилось семеро, но двое рано умерли. Остались четыре дочери — Мария, Анна, Александра, Екатерина — и сын Василий. Из раскидистой кроны выбираем одну ветку: Екатерина, 1870 года рождения.

Олик

При всём консерватизме Олик необычайно современен. Следит за спортивными событиями, обожает хоккей. Когда идут большие турниры, не спит ночами и ведёт счёт забитым шайбам. Порой, не выдержав напряжения игры, звонит моему папе, и очень бывает разочарован, если папа не смотрит. Другая страсть — фигурное катание. В юности они с моей мамой пошли в секцию, но Олик быстро бросил, заявив, что не может заниматься без костюма с юбочкой. А мама, одетая, как придётся, научилась разным замысловатым фигурам. Зная увлечение Олика спортом, мама одно время, когда всё было дорого, передавала ему газеты, прочитанные папой, пока не выяснилось, что Олик выбрасывает их, он не признаёт газеты, которые уже прочитаны. Долго работая в типографии, он как бы заслужил право первенства в отношении печатной страницы. Теперь мама оформляет ему подписку в подарок к Новому году.

Если я не знаю, как написать какое-то слово, спрашиваю Олика. Он счастлив, когда к нему обращаются с такими вопросами, даёт исчерпывающий ответ, а заодно возмущается ошибками, которые пестрят в печати. Завёл специальную тетрадь и коллекционирует их, чтобы при случае нажаловаться знакомым. Он любит церемонно обсуждать по телефону новости или обмениваться поздравлениями. Записывает на листочек, кто звонил в день рождения или на 8 марта. И кто не звонил. Мне сначала было смешно, я подозревала тут мелочную обидчивость. Но вдруг поняла, что кто-то из предыдущих списков, может, уже никогда не позвонит...

Очень редко Олик приглашает тщательно отобранных гостей. Обязательно пятерых, а шестой он. Синий с золотом сервиз рассчитан на шесть персон. Все должно быть комильфо. Приглашается пятеро, но в запасе есть один-два на случай, если кто-то из основного состава подведёт. Невозможно, если за столом будут пустые места. «Забота о мелочах — первый признак жизни», — говорит моя мама. Но для некоторых это вовсе не мелочи.

В однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома ничего не меняется. Справа у окна большущий коричневый шкаф, почти до потолка, дальше вдоль стены кровать, а напротив окна, у противоположной стены, диван. Между ним и дверью в коридор рыжий сервант, точно такой, как у нас. Везде разложены вещи и книги. Но ничего нельзя брать или переставлять.

— Милый мой! Я люблю, когда всё на своих местах. Даже пыль меня не раздражает, ведь она всегда лежит на своём месте.

Здесь позволяется к чему-либо прикасаться только моему папе, и то, когда поломка уже несовместима с жизнью. И папа ремонтирует сливной бачок в туалете, или кран на кухне, или приклеивает отставшие плитки в ванной. Но если он не справился, это чудовищное несчастье: надо вызывать мастера. Олик день за днём тянет с вызовом, а потом болезненно трепещет, ожидая звонка в дверь.

Папа возвращается из спасательной экспедиции и рассказывает, что несносный Олик не позволил переставить стул, чтобы приклеить паркетину. А когда надо было её прижать, не дал стопку книг, сказал, что стул трогать не будет, паркетина теперь не потеряется, пусть торчит. Но эти причуды ничто по сравнению с тем, что Олик, похоже, влюбился в дядю Илью, нашего соседа. Когда папа был в командировке и не мог откликнуться на призыв о помощи, мама попросила помочь Илью Геннадьевича и готова была ехать с ним, подозревая, что Олик не откроет. Но тот отменил маму.

— Я совершенно спокойно его приму. У Ильи Геннадьевича приятный голос. Он вежливо со мной говорил. Он необыкновенно обходительный мужчина.

И проникся таким доверием к Илье, как стал его называть, что наше посредничество уже не понадобилось. Я обиделась за папу, удивляясь, какой Олик... неверный. Илья не только получил право всё брать, но и стопки книг были ему предоставлены в полное распоряжение. Потом он починил паркет и перестал ездить. Теперь они время от времени перезваниваются, а мой папа опять обрёл для Олика ценность. Особенно с тех пор как одолел фонарь.

Древо

Екатерина Степановна Щербова была младшей из сестёр и единственной, которая вышла замуж. Образование получила в Москве, в институте благородных девиц. В её записной книжке — выписки из Канта, Сенеки, Шопенгауэра, Макиавелли. «Нет радости без горя и счастья без борьбы. И всегда кто-нибудь поперёк стоит. Испокон за всякую долю бьются люди». «Ничего назад не ворочается. А ноги на то и выросли, чтобы счастье по земле искать, а руки даны — поднимать его».

Супругом её стал крупный землевладелец Николай Николаевич Опочинин, служивший в земстве вместе с её отцом. Окончив юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, он защитил диссертацию на степень кандидата прав, после чего, 28 октября 1875 года, поступил рядовым на службу в лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской Фамилии батальон. Был награждён знаком отличия Военного ордена за отличие в деле против турок 11 ноября 1877 года, «светлобронзовой медалью» за Турецкую войну 1877–1878 годов. Николай Николаевич был одним из политических лидеров Смоленской губернии, депутатом II, III и IV Государственной Думы, в 1900–1912 — уездным предводителем дворянства. В Думе выступал по аграрному вопросу, предостерегал от регулирования сверху процесса освоения

земли крестьянами: «...Если вы им будете мешать распоряжаться теми участками, которые им принадлежат, вы совершенно убьёте культуру».

Отец Николая Опочинина, Николай Петрович, с 1822 года служил по флоту, участвовал в кампаниях в Балтийском, Немецком и Средиземном морях и Атлантическом океане, в 1827 году участвовал в битве при Наварине, имел многие награды. Отпуска проводил в смоленском имении Колечицких, знакомых по Петербургу, и посватался к их дочери. После безвременной кончины жены подал прошение об отставке: «для пользы детей моих». Произведен в контр-адмиралы с увольнением от службы с мундиром и пенсионом 8 сентября 1859 года.

Брак Екатерины и Николая заключён в 1893 году, невесте 23 года, жениху – 40. Они поселились в его имении, в одноэтажном кирпичном доме, с высоким цокольным этажом и украшенным ордером фасадом. Дом стоял на высоком берегу реки Угры с видом на две сельские церкви за ней. Вскоре родился сын Всеволод, следом, в 1895 году, дочь Ольга, в 1897-м — Елена. В тот же год умер трёхлетний сын. После этой трагедии появляются ещё две дочери: Екатерина (1988 г. р.) и Наталья (1900 г. р.)

Ветви древа будут жестоко опалены новыми временами. Отец семейства умер в феврале 1916-го, не представляя, какие катастрофы ждут страну и семью. Моя ветвь — Екатерина. Но ветвь этого повествования — Ольга, родившаяся 5 сентября 1895 года.

Олик

История войны с фонарём такая же знаменитая, как история победы над хулиганом. Сколько Олик ни ломал фонарь, его снова чинили. Я спросила как-то, услышав, что фонарь перегорел, разве не страшно ходить в темноте? Меня сразу осадили, а чего бояться? И я опомнилась, правда, чего? Олик не робкого десятка, хотя по виду не скажешь. Однажды справился с хулиганом и при этом ничуть не считает себя героем.

Поздно вечером он шёл домой по тропинке, протоптанной в снегу. На полпути стояло несколько парней. Один двинулся навстречу, а тропинка узкая, не разойтись. Парень кричит: «А ну, тётка, посторонись». Олик ему в ответ назидательно: «Вот ещё! Во-первых, не тётка, а женщина, во-вторых, к незнакомому взрослому человеку надо обращаться на „вы“, а в-третьих, ты намного меня младше, значит, ты и должен уступать дорогу». Парень дорогу не уступил. Олик взял да и толкнул его. Тот от неожиданности упал, а Олик пошёл себе дальше. Остальные расступились, смеясь над поверженным, пока тот выбирался из глубокого снега. Олик прославился в округе как отчаянный смельчак. Хулиганы его знали и охраняли. А вот фонарь замучил. Тогда папа приехал и плотно занавесил окно одеялом, проклеив щели рам, были морозы. Разговоры о фонаре прекратились. А как-то летом я делала контрольный звонок и услышала жалобу:

— Жара ужасная, нечем дышать.

— Открой окна, — сдуру предложила я.

— Что ты, Марик, голубчик! — ужаснулся Олик. — Окно заклеено и накрепко занавешено. Я не могу утруждать твоего папу, чтобы он потом всё вернул назад, а мне будет не под силу. Тем более, скоро снова станет холодно.

Древо

Октябрьский переворот семья встретила в имении. Двоюродный брат Екатерины Степановны, Владимир Андреевич Друцкой-Соколинский, вспоминает: «...Я вновь встретил семью Опочининых, но уже в Смоленске, куда она бежала из своего имения после налёта на него большевиков, перевязавших всех, к счастью, не опозоренных девишек, но ограбленных до последней рубашки».

1918. «Я нижеподписавшийся член волостного земельного отдела Сергей Кротов, прибыв в имение Опочининой 6 марта 1918 года, осмотрел и проверил по описи конфискуемого имущества весь живой и мёртвый инвентарь, каковой граждане прилегающих к сему

имению деревень разделили между собою, но по требованию исполнительного комитета возвратили обратно. Притом согласно описи не оказалось следующего...»

1919. «...Из поимёванного в сей описи имущества, выделенного на лично ея Екатерины Степановны Опочининой семейство: самой владелицы имения, четырёх дочерей ея и трёх пенсионеров, прослуживших от 30 до 40 лет и потерявших физическую способность, и поэтому владелица обеспечила их продовольствием и покровом по гроб их жизни, признавая за своё семейство».

1920. «...Дабы устранить нежелательные явления в имении, тормозящие существование Советского Хозяйства, постановлено: 1) немедленно удалить из имения быв. Владелицу; 2) передать в богадельню трёх стариков, её бывших служащих...» Тогда же Отдел Народного образования просит «передать часть реквизированной в имении мебели Культпросвету для постановки спектаклей...»

Екатерина Степановна, опасаясь преследований за мужа, предводителя дворянства, монархиста, сожгла его документы и фотографии.

В 1920 году 20 июля старшая дочь, Ольга Николаевна, выходит замуж за уроженца Владикавказа, преподавателя комкурсов Бориса Юрьевича Григорьева. В 1923-м 29 апреля в Ельне у них рождается дочь Ольга. Отец рано бросил семью, а в 1929 году жена получила уведомление о его смерти.

В национализированном помещичьем доме разместился дом отдыха комсостава Западного военного округа, а с 1925-го — советская школа. По семейной легенде, после войны туда приезжала Олеся, и школьный сторож, старый крестьянин, прослезился, распознав в ней родовые черты бывших владельцев.

Олик

У Олика много странностей. Но он считает, что странности у всех, а не у него, и не перестаёт удивляться человеческим чудачествам, подолгу обсуждая их с моей мамой, чем её изводит. Лишь одно чудачество не

обсуждается — смерть. Болеть можно сколько угодно. Олик деятельно обеспокоен самочувствием больного и так переживает, что его самого приходится приводить в чувство. Потом звонит знакомым и взволнованно передаёт дневную сводку. Но если человек умирает, Олик делает вид, что такого человека не было. Не вспоминает, не ходит на похороны и поминки. Но со смертью, так или иначе, связано всё. И мне иногда кажется, что мы все отсланы Оликом куда-то далеко, откуда он по необходимости или из искренней привязанности извлекает нас, предварительно тщательно проверив, не несём ли мы бациллу угрозы.

Древо

На ветке Ольги Николаевны Григорьевой — единственная дочь Ольга, Олеся, ласковая, послушная, прелестная. Бесценное бабушкино утешение. Почти десятилетие мутного времени не даёт никаких сведений об этих трёх одиноких женщинах. В начале 1920-х от тяжёлой болезни умирает младшая из четырёх сестёр Наташа. Две средние одна за другой выходят замуж за высокопоставленных чинов новой власти и следуют за мужьями. Только в 1930-м муж Екатерины Николаевны, начальник сектора 5-го Управления Генерального штаба в Москве, рискуя быть уличённым в пособничестве представителям свергнутого класса, устраивает переезд жениной родни в Москву, выбив комнату в коммуналке. Здесь Олеся идёт в школу, оканчивает её в 1941-м, поступает в институт иностранных языков, но учёба прервана войной.

На оккупированной фашистами Смоленщине гибнут сёстры Екатерины Степановны — Мария, Анна, Александра. Последние письма сообщают, что в августе 1941-го от бомбёжки сгорел дом Анны, и она переведена в «инвалидный дом» без копейки содержания. В 1943-м в Москве умирает и Екатерина Степановна. Хоронили её Ольга Николаевна, мать Олеси, и муж Екатерины, мой дед, служивший начальником гарнизона МПВО в секторе московской зоны обороны.

С 1942 года Олеся — машинистка в канцелярии Главного Политического управления СА и ВМФ. Во время войны с Японией командирована в штаб Главнокомандующего Советскими войсками на Дальнем Востоке, маршала Советского Союза Василевского, как старшая машинистка секретариата. Награждена шестью медалями, в том числе «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 1962 года работала корректором в военных редакциях и закончила службу в «Воениздате».

Красивая, обаятельная, аккуратная и ответственная, окружённая поклонением блестящих военных Олеся только смеялась в ответ, когда мой дед предостерегал её: «Всё вертишь носом, прогоняешь кавалеров. Останешься одна».

Олик

Мы поднимаемся по крутым ступеням цирка. Олик идёт медленно, гордо отказавшись от помощи. Я иду позади и беспокоюсь, как бы играющие дети не уронили его, лёгкого и неустойчивого. Но, в конце концов, мы без приключений достигаем верхней площадки.

— Отдых — занятие, ради которого стоит расхотеть здоровье, — изрекает Олик.

Он отдышался и, ухватившись за витую ручку, потянул на себя дверь. Я шагнула следом, помогая справиться с тугой створкой и одновременно оценивая, упадет на меня капля, повисшая на карнизе, или я успею прошмыгнуть вглубь раньше? Капля сорвалась с карниза как раз, когда я под ней проходила. Она не упала мне на голову, не упала мне на спину, не упала на подол пальто, не упала на ногу. Она упала за оттопырившийся задник ботинка, точно на упомянутую Оликом необъяснимо уязвимую пятку, в тот самый миг, когда нога готова была уйти вперед.

Древо

Когда я открыла Олесин сундук, мне уже было достаточно много лет, чтобы выдержать не только своё про-

шлое, но и других людей. Думаю, до меня сундук открывала в 1943 году Ольга Николаевна, сложившая туда личные вещи своей скончавшейся матери. Под одеялами и платками на дне хранились семейные реликвии. Настоящий клад. Скажу лишь о двух.

В кожаном переплёте с золотыми застёжками там лежал альбом уездной барышни Пелагеи Боборыкиной. Самая ранняя датировка 1827 год, самая поздняя — 1877-й. В течение 50 лет страницы заполнялись стихами, пожеланиями, изысканными рисунками, включая и портрет владелицы.

Еще там была жестяная коробка, где бережно обернутое в салфетку хранилось фарфоровое пасхальное яйцо с заложённой в него запиской Екатерины Степановны: «Передайте это яйцо Олесе, это моё ей благословение».

Брачный день

— Ну и как оно? Расскажи уже, а! — мялась на морозе Любка, мигая блестящими глазами.

— Ой... Он был таким нежным... — шепнула Юля и зажмурилась, вспоминая сладкое и приятное.

Я стояла чуть в стороне от девчонок и вполуха слушала их забавный трёп. Рядом сидел на заборе Дима и с тупой ухмылкой на нас поглядывал.

Вчера у Юли был день рождения, и одноклассницы отличились особым подарком — организовали ей так называемую «брачную ночь». Нашли хату, умаслили предков, а парня Юльки — они встречались уже три месяца — заранее проинструктировали, хоть он в этом и не нуждался. «Ну, мало ли, кто его знает», — решили они и снарядили его всем — цветами, воздушными шарами в виде цифры 16, романтической музыкой на диске, розовым вином и, конечно, презервативами. И главное, попросили быть нежным и подольше её целовать.

— Он был таким нежным... — шептала Юлька и всё прикрывала глаза.

— Ну супер, зай, — гордилась Люба, — Ты слышь, таблетку-то выпила?

— Ясен пень, — усмехнулась Юля. — Я чё тупая?

Бычки пикировали в сугроб, и девочки попёрлись на урок. Химия шла уже три минуты.

Я докурила, чуть подождала, чтобы не идти рядом, и побрела вслед за ними.

— Эй, Свет, дай попить, — остановил меня Дима, с прежней идиотской ухмылкой взглянув на мою бутылку «Бонаквы».

Я протянула ему воду, он свинтил крышку и хотел сделать глоток, но протянул бутылку назад.

— Что-то вода... херовая, — сказал он мне прямо в глаза. Взгляд был тупой и нахальный.

«Ну и мудак», — подумала я и молча пошла на урок.

Все мы учились в 11 классе.

* * *

Это случилось прошлым летом. Мне было пятнадцать, и столько же исполнялось в тот день одному придурку из параллели, чей день рождения мы праздновали.

Сначала сидели на школьном дворе, ожидая ребят с бухлом и провизией, потом по сигналу переместились в другое место, недалеко от двора, знакомого всем ещё с детского сада. Там был такой конус, типа космическая ракета, двухъярусный, с разными дырками, чтобы лазать вверх-вниз и высовываться. Дети моего поколения эти забавные конусы помнят.

Дождавшись десанта во главе с именинником, а также двух ящичков пива и одного — водки, мы принялись скромно отмечать. Несколько следующих часов бесследно исчезли из моей подростковой памяти. Может, чтобы подсветить поярче следующее воспоминание.

В третьем или четвёртом дворе (мы всегда кочевали туда-сюда, чтобы менты не забрали) мы все уселись на железном заборчике, как облезлые воробьи. Тогда все дворы были открыты, а потому грязны и запущены. И в каждом дворе у нас был любимый насиженный забор с облупившейся краской, неизменно шатавшийся под тяжестью наших ленивых тел.

Обычно мы пили баночные коктейли «Трофи», «Чёрный русский» и «Блэйзер», но сегодня было слишком много народу, поэтому взяли водку и пиво.

И вот настал роковой момент — кончились сигареты. А мне захотелось курить. Будучи крепко пьяной — напитки сменяли друг друга, — я слезла с забора и стала шараться от одного к другому, спрашивая курить. Ни у кого не было ни сигарет, ни денег, но я не сдавалась, во

мне проснулась та поразительная тупая упёртость, свойственная сильно пьяным.

И вот появился Он.

Один из наших, весёлый грузин, учился с именинником в одном классе. В шутку мы его звали Ваней. Такой же, как все, курил, бухал. Но сейчас пришёл трезвый, почему-то не пил с нами, и с хитрым, умышленным интересом наблюдал за моим хождением. После очередной идиотской попытки я уже было успокоилась, но вдруг услышала за спиной тихое:

— У меня есть.

Секунда, и я подскочила к нему.

— Ну давай, дай сигарету! — взмолилась я.

Он молчал и щурил глаза.

— Ну дай, ну чё ты! — я изнемогала.

Он пристально посмотрел на меня и озвучил условия:

— Я дам тебе, а ты — мне.

До меня не сразу дошло, и он повторил для тупых.

— Я дам тебе сигарету, а ты меня порадуешь. Ок?

— Нет, не катит, — сказала я и отвернулась.

— Ну тогда больше ты сегодня не куришь, — шепнул он мне в спину.

Сидевшие рядом осоловелые лица с интересом наблюдали за нами. Несколько раз я срывалась и снова пыталась сторговаться на что попроще.

— Ну чё ты, Вань, дай сигу!

— Дай на дай, — он отвечал непреклонно.

— У меня месячные, всё равно не выйдет. Давай сигарету уже, ты достал!

— Не гони.

— Отвечаю, пойдём, покажу!

Я не понтовалась, мне было настолько плевать на всё, кроме его сигарет, что я бы с лёгкостью показала.

— Ладно, верю. Но...

— Давай сигарету!

— Дай на дай, дорогая.

— Да говорю, не могу.

— Не бойся, есть другие варианты. Мы что-нибудь с тобой придумаем.

Эта бесконечная перепалка приковала к себе внимание. Особенно оживились Любка с Юлькой, которые тоже бухали с нами. Наверное, они бы делали ставки, если б не резкое:

— По хер, пошли.

Вдруг выдала я.

Все вокруг заткнулось на пару секунд.

Он поднял на меня взгляд и сказал:

— Пойдём.

Наглые глаза улыбались.

Он встал, взял меня под руку, и мы побрели, будто парочка.

— Через ларёк, — промямлил он важно.

Мне было почему-то смешно. Он просто прикалывался, особо-то и не хотел победить меня, а я почему-то вела себя так, словно на свете больше ни у кого и нигде нет ни одной сраной сигареты. Мне хотелось, так хотелось неизвестно чего...

Мы подошли к зелёнькому ларьку «Табак», он взял пачку презервативов. Я смотрела на упаковку «Гусарских», отчетливо помню эту смешную картинку — полуголая девица в красном кивере и довольный гусар с бокалом шампанского. Я стояла и думала, что легко могла бы купить сигарету поштучно, тогда ещё так продавали. Мне бы и денег хватило...

— Пойдём, — скомандовал мой хозяин, снова взял под руку и повёл.

Мы пошли на «броды», особое место. Маленькие острова на реке, на которые можно пробраться вброд. Отсюда, собственно, и название.

Довольно ловко мы перешли реку, даже не замочились. Особо и не разговаривали. Забурились в кусты — трава по пояс, и рядом пышные ивы. Нас точно не было видно. Он стал умело меня целовать и трогать, у меня были небесно-голубые джинсы «Ли» в обтяжку и красивая

упругая задница. Его крепкие руки сжимали меня, он расстегнул на мне джинсы, и мы опустились в траву.

— Я ж говорила, — шепнула я, заметив его недовольство.

— Блин, в натуре... — расстроено буркнул он и перевернул меня на живот.

Попытка попробовать «варианты» оказалась совсем неудачной, и я начала смеяться. Но тут же заткнулась — мне показалось, что ему это будет обидно. О себе я вообще не думала.

Он повернулся на спину, раскинул руки в траву и закрыл глаза. Я стала из любопытства разглядывать его голое белое тело и как-то невольно освоила ещё один «вариант». Он очнулся и через какое-то время был, кажется, очень доволен.

Всё длилось недолго, чему, хоть и смешно, но оба мы были рады. Я даже немного гордилась собой, ведь всё так хорошо удалось. Неплохо для первого раза.

Мы быстро оделись, он смотрел в землю и был как будто смущён. Такой виноватый вид.

Я спросила наивно:

— А мы будем встречаться?

— У меня девушка есть. — сказал он, и я замялась.

Побрели назад, вышли на другой брод, где вода была сильно повыше. Ссутулившись, он подставил мне спину.

— Прыгай, — сказал, и я забралась.

Мы бодро и дерзко секли ногами ледяную воду, и мне вдруг стало так хорошо и весело, впервые за этот день.

«Это любовь?» — вдруг подумала я.

Добравшись до суши, мы перевели дух, отряхнулись. Мои небесные «Ли» стали тёмными, я вымокла почти до трусов. Громко дыша, я подняла на него глаза и вдруг вспомнила:

— Дай сигарету.

Мы усмехнулись, и правда, было смешно. Он протянул мне раскрытую пачку. Мне вдруг показалось, что в эту секунду мы с ним были вместе — не там, под ивой, а вот здесь, сейчас.

Я, наконец, затянулась «Золотой Явой».

Потом он довёл меня до двора с ракетой и быстро скрылся.

Я осталась одна. И вдруг время остановилось. Я просто стояла, стояла...

У меня словно не было тела, не было моего «Я», а один только дух. Он где-то витал, познавал сам себя и дух того, второго, который сейчас ушёл. Соприкосновение было настолько быстрым, меньше секунды, что моему духу, было трудно его распознать и понять.

Но вдруг начало смеркаться, и я резко вернулась назад, в пустое, холодное тело. Мокрые ледяные «Ли» превратились в бетон, руки тряслись, а сигарет снова не было.

— Сссука, — вслух прошептала я, вспомнив всю *story*.

Дальше всё было совсем дебильно. Я припёрлась к подруге, сняла свои «Ли» и бросила их в прихожей прям на пол. Мне дали сухое, вызвали маму, и она меня забрала.

Не помню, как мы с ней шли до дома, но следующий кадр — я на заднем сидении машины. В машине своего отца.

«Откуда он взялся», — подумала я, а сердце моё растерялось. Мне было обидно, что я сижу пьяная, и скоро мы с мамой уйдём, а отца опять долго не будет. Может и никогда не будет, а сейчас мы опять не поговорим.

Мама в отчаянии, злая, отец просто молчит, какой-то помятый. Тогда он уже кололся. Я об этом не знала, но, если честно, всегда об этом догадывалась.

Мама что-то говорила, она и не знала уже, что делать, а от отца толку было ноль. Отчаяние — вот что с ней было, ведь она позвала его, зная, что смысла нет. Надо признаться, мы с папой не слабо ей досадили. Я — невольно, а он — не знаю, но тоже, наверное, по слабости. Вообще он был незлобивый, но ранимый, слишком ранимый. Таких родители называют слабыми, а потом слабаки режут вены. Вот мне повезло, я — железная.

За всё время, что мы сидели в машине, отец произнёс только одно. Он повернулся ко мне и спросил:

— А что пили-то, водку?

Я не раз вспоминала отцовский вопрос, он мне очень-очень понравился. Мама бы не спросила такого, а ему было интересно. Мне так не хватало вопросов вместо упрёков, интереса вместо требований, любви вместо ожиданий, что эти четыре отцовских слова не показались мне эгоистичными. Для меня это были дорогие слова, сказанные на моём языке, адресованные лично мне.

Я гордо ответила:

— Водку и пиво.

Мы вернулись домой, и отец испарился, кажется, лет на десять. Мы вновь с ним увиделись, когда ему было уже за пятьдесят, а мне под тридцать.

Мама вертелась по кухне, ходила туда-сюда. Я сидела за нашим шатким зелёньким столом и тупо смотрела вперёд.

— Он тебя изнасиловал, Света? — спросила она.

Я подняла на неё взгляд.

— Да нет, мам. Не совсем.

— Ужас! — она отвернулась к стене.

Ну да, это был ужас, только я этого не поняла. Я не чувствовала ничего. Ни к парню, который проверил «варианты», ни к маме, заламывающей руки, ни к этому дню, ни к себе, ни к отцу. Я только хотела вдвоём посидеть с ним в машине. Может, он бы опять подарил мне кассету, как тогда «Морскую» Мумий Тролля. До сих пор иногда её слушаю.

Одно чувство, которое помню, — холод промокших «Ли». И ещё пустоту во дворе. Пустая ракета, из которой когда-то торчала моя детская голова. Я смотрела туда, в эту выемку, и не видела там себя. Может, я улетела в космос? За этим ракету и строят.

Потом мои «Ли» куда-то исчезли. Так я и не смогла их найти и не раз сокрушалась, что вторых таких нет. Их, и правда, больше не купишь.

Мои небесные мокрые «Ли».
Мой ледяной брачный день.

* * *

Прошёл год. Был такой же жаркий июльский вечер. Мы всей параллелью приехали на Поклонную гору и неуклюже мялись возле знаменитой красноярской часовни Параскевы Пятницы, пытаясь сделать общую фотографию. Это был наш выпускной.

Я стояла чуть в стороне и смотрела на гордых парней в дешёвых костюмах и как попало повязанных галстуках, на огромные нелепые платья одноклассниц. Одна девочка перестаралась с автозагаром так, что стала буквально кирпичной, и в огромной зелёной пачке была похожа на ящерицу.

Вопреки желанию родителей я была в простом джинсовом костюме, без причёски и макияжа.

Через пару минут я смотрела уже не на пёструю кучу знакомых ребят, а сквозь них, сквозь часовню, на зелёные горки холмов, раскинувшихся вдаль. И вдруг, ни с того ни с сего, я отошла от класса, скрылась за часовней, и всё это, ненужное, чуждое мне, осталось наконец-то у меня за спиной. Я видела город, красивый, просторный, а прямо перед собой — бескрайний зелёный ковер холма. Я оглянулась и, никого за собой не увидев, вдруг побежала вперёд, прямо в закатное солнце.

Я бежала навстречу ветру, раскинув руки, и смеялась, смеялась... Мне было так хорошо и свободно, как не было ещё никогда. Я не обернулась.

Куколка

*Вольнонаёмной Наталье Петровне Акудович
и её подругам-«афганкам» посвящается...*

Цокая каблучками, Аня шла в военкомат, совершенно не задумываясь над тем, зачем её туда вызвали. В голове только раз мелькнула мысль о возможном переучете военнообязанных. За маленький рост, кругленькое личико, мелкие черты лица в родной деревне, да и в медицинском училище её звали Куколкой. «Мне, если что, к свадебному платью именно такие каблуки нужны по высоте, семь сантиметров — не больше, — размышляла она, замечая взгляды прохожих. В тёмном кабинете, куда провела Аню пожилая секретарша, она увидела свою красивую сокурсницу Риту. На улице заметно потеплело в последние дни, но толстые стены военкомата, видно, ещё не прогрелись, и Аня сразу почувствовала лёгкий озноб в теле. Сидевший за столом мужчина в форме некоторое время как будто не замечал никого, склонившись над бумагами. Девчонки стояли у двери и почти не дышали. Наконец военный встал, прошёлся до окна, за которым играли солнечные блики на свежих изумрудных листочках берёз, потом опять сел и, глядя куда-то в сторону, стал задавать вопросы и сам же на них отвечать: «Комсомолки? — Комсомолки! Клятву Гиппократова давали? — Давали! Вы должны выполнить свой интернациональный долг в Афганистане. Когда отъезд, что брать с собой вам расскажут». На улице Аня увидела, что Рита вся посинела от холода. «Ты чего, Ритуль, как баклажан, испугалась, что ли? А я думаю, может, этим надо гордиться,

ведь не всех вызвали, а именно нас двоих. Нас заметили!» — «Наивная, а ты посчитай, сколько наших девочек уже замуж выскочили, а некоторые успели и родить. Мы — холостые, поэтому нас и вербуют. А что, может, скажешь, он у тебя есть, этот долг?» — «А может и есть, поняла». Куколка, если честно, ещё не осознавала, не понимала до конца, что произошло. Возвращаясь на попутке в деревню, крепко призадумалась, как объяснить всё родителям? Они люди простые, особенно в политику не вникают, телевизор редко смотрят, разве что зимой, да и то какой-нибудь концертник, но про Афганистан и про цинковые гробы, которые привозят ночью в село, конечно, слышали. «Скажу, что на три месяца посылают, и то, может, не в Афган», — твёрдо решила Куколка.

Самолёт, битком набитый людьми, приземлился днём на душный Ташкентский аэродром, чтобы дозаправиться, а потом вылетел в Кабул. В воинскую часть № 29121 (авиагарнизон «Баграм») новая партия вольнонаёмных прибыла уже поздно вечером. Атмосфера, запах, всё здесь было для них чужое, незнакомое, всё наполняло душу тревогой. Вновь прибывшим девушкам не пришлось долго ждать, чтобы убедиться, что они прилетела «на самую настоящую войну». На следующий день всю воинскую часть подняли по тревоге. Медсестёр направили маскировать санчасть солдатскими одеялами и брезентом, стали поступать раненые и убитые. Когда всё затихло, Аня упала на свою кровать и зарыдала в подушку. Плакала Куколка три дня подряд. На четвёртый ей стало легче, и она призналась девочкам: «Я ведь никуда почти не выезжала из своей деревни, после учёбы сразу домой спешила, от общаги отказалась, утром ни свет ни заря приходилось вскакивать, чтобы на занятия успеть. В своей деревне в медпункте и хотела работать. Я боюсь темноты...» — «Слышь, матрешка! У меня тут пацаны на руках умирают, мы то и дело по литру крови им сдаем, а ты сопли распустила, да? Заткнись, прошу тебя похорошему», — оборвала жалобную речь Куколки проходившая мимо старшая медсестра, случайно услышавшая

разговор. Росточком она ещё ниже Ани была, но её боялись все и уважительно звали Петровна. С мужчинами старшая разговаривала их цветистым языком, картинно держа сигарету в зубах и прищурив глаза.

«Мама, у меня все хорошо, скоро приеду», — писала домой Куколка и рвала бумагу, брала новые листочки: боялась, а вдруг родители заметят разводы от высохших слёз. Теперь, как все она работала быстро, молча и в тяжёлые смены, с застывшим от усталости лицом могла свалиться и уснуть где-нибудь в коридоре медчасти. Выезжали сестрички с охраной и на БТРах за ранеными, как-то Куколка с ребятами попали под обстрел, водитель боевой машины получил смертельное ранение, а сестричку Аню спас её маленький рост — пуля пролетела над головой. Среди поступающих в госпиталь военнослужущих было много больных гепатитом, брюшным тифом, дизентерией, вся эта зараза распространялась быстро, случалось, и кто-нибудь из медработников заражался, но Куколку миновало. Она ко многому привыкла. Но было то, что приводило её в отчаяние. Куколка совсем падала духом, когда погибали подруги. Однажды в глухой ночи она услышала шёпот двух, не разлей вода, подруг на нижних ярусах железных кроватей. «Спишь, Любка? Не знаю, как тебе, а мне надоело порошки жрать, этот клей вместо картошки. Хочу картошечки настоящей, жареной» — «Из лососёвых консервов вкусные котлетки вчера были, а завтра, говорят, будет перловый плов» — «Знаешь, мне охота недельку купить» — «А-а-а, так бы и сказала». Их называли вишенками на веточке, в любую свободную минуту они находились рядом и не могли наговориться. Люба, разведёнка, рванула в Афган, чтобы забыть того, кто предал, а Лида не скрывала, что уехала от надоевших вопросов родственников: «Ну когда ж ты замуж выйдешь?»

В Афгане счастье с несчастьем перемешалось. С одной стороны, тонкая грань между жизнью и смертью, с другой — ну где на гражданке такой выбор женихов? А самое главное — свои, более жёсткие, но и более чело-

веческие отношения. Все знали, что и здесь акушерке Лиде раз за разом не везло в личной жизни, хотя всё, как говорится, было при ней, разве что немного резкая. Первый её парень не на шутку увлёкся дурью, и его отправили домой — грязного, поникшего, с тупыми глазами. Второй ухажер погиб у девушки на глазах — вертолёт с военными набрал высоту и рухнул недалеко от авиагарнизона. У Лидки случился выкидыш. Девчонки жалели её, горделивую, подбадривая шутками: «У нас вон энурезник ходит, ну тот, что живёт один в будке киномеханика и почту разносит, чем не жених? — «А что, если его подлечить, в джинсики, рубашечку приодеть, так не хуже летчика будет муж», — ответила живущая в ожидании долгожданной любви девушка.

Медсестёр ждали на обед, на ужин, ждали ночью. Утром группа военнослужащих вышла на поиски. Нашли подруг со вспоротыми животами за рынком, где начинались пурпурно-жёлтые рисовые поля.

Спустя год на чёрном тюльпане Куколка летела в отпуск. Она знала, что самолёт совершит посадку в нескольких городах СССР, чтобы передать цинковые гробы родственникам. Среди погибших было и тело её знакомого. Этот парень как-то сразу вбил себе в голову, что он из Афгана живым не вернётся. В его задачу входило начинять бомбами самолёты. Там произошла какая-то ошибка, и он подорвался. «Как же так, ещё вчера шутили, смеялись, а сегодня везу его кости, да и его ли?» Она боялась, что и её молодая жизнь может вот так же нелепо и неожиданно прерваться, и она не выйдет замуж, не родит детей, не испытает того, о чём ни одну ночь мечтала и вздыхала.

Похудевшую и неожиданно как-то подростковую Куколку расспрашивала вся деревня, некоторые явно намекали, уж не за большими деньгами ли девка отправилась в пекло войны, но в основном жалели, приносили подарочки, и она чувствовала себя героем. Но отпуск неумолимо подходил к концу. В последнюю ночь в доме почти никто не спал, Куколка это чувствовала, лежа до рассвета

с широко открытыми глазами. Утром мама, как всегда, встала раньше всех и успела напечь горку блинов, курица была сварена с вечера. Всё упаковали, присели на дорожку, мама прочитала молитву, и вот уже засигналил сосед, который вызвался отвезти Аню на своём «Жигулёнке» в военкомат. Неожиданно мама громко заголосила и убежала во двор. Куколка бросилась к ней, и теперь все: и отец, и младший брат-восьмиклассник плакали навзрыд, как на похоронах. «Анька, я же каждый раз умираю, когда мне говорят: „Вам письмо“», — кричала мама. Но вот куколка что-то шепнула ей, и мама быстро вытерла грубым фартуком глаза, неожиданно ставшие строгими, даже суровыми, и предупредила: «Не ошибись, доченька. Ах, миленькая, замуж не напасть, выйти бы, да не пропасть». Она знала о заветной мечте дочери. Как-то раз незаметно вошла в дом и увидела картину, от которой сначала чуть не рассмеялась, а потом прослезилась: Аня стояла перед трюмо и примеряла к голове белоснежную тюлевую накидку для подушек.

С суженым Куколка познакомилась всего за несколько дней до отъезда домой, вместе летали в Кабул за отпускными листами. Уже стемнело, когда на обратной дороге сели в вертолет. Осмотрелись — среди пассажиров одни афганцы и они. Куколка вся сжалась и невольно взяла худенького солдатика, сидевшего рядом, за руку. «Если что — я сначала стреляю в тебя, а потом в себя», — невозмутимо произнёс парень. Он не шутил. Это она знала точно. И давно усвоила: самое страшное — попасть в плен. При этом Куколка заметила, что парень краем глаза рассматривал её. «Меня зовут Николай, замуж за меня пойдёшь?» — «Пойду, Коля», — услышала она свой голос. От Кабула до Баграма на вертолете минут 20–25, но Куколке показалось, что летели как минимум час, и она всё это время просила боженьку сохранить её и этого парня, ведь счастье уже здесь, рядом. Коля был из Старого Оскола, из самой простой семьи строителей. Чтобы родители не переживали, он написал им, что работает в санчасти, расположенной далеко от военных действий.

На самом деле Коля как фельдшер выполнял самую грязную работу — вылетал с похоронной командой на санитарном вертолете и собирал после боя убитых и раненых, оторванные руки и ноги ребят. Заразился гепатитом С., лечился в госпитале, впоследствии получил ранение, которое нигде не зафиксировали.

После Афгана Аню уже мало кто называл Куколкой по той причине, что лицо её вытянулось, и в голубых глазах за два года войны застыла печаль, которая нередко становится приметой женщины, пожившей и много повидавшей. Ей долго снился один и тот же сон, будто Коля стреляет в неё. В какой-то мере он действительно был опасным, взрывался неожиданно, по пустякам, разбивал стакан или тарелку, позже сам сильно расстраивался, просил прощения, плакал, как одинокий старик. Он и вправду был похож на старика: седой в свои 30 лет, щетинистый, без двух передних зубов. «Ваш муж когда-нибудь улыбается?» — спрашивали Аню соседи. Николай часто возмущался: «Мужик какой-нибудь из штаба съездил на несколько дней в командировку, — ему льготы пожизненные, а вам, вольнонаёмным — шиш с маслом, даже матери погибших ничего не получили». Выйдя замуж, Куколка так и не знала толком, любит она этого человека или нет? Свадьбу они не сыграли, Николай долго лечился, потом отец умер у него, и надо было выдержать год траура, а потом сыночек родился у них. Как-то выпивший Николай в темноте ночи, мучаясь бессонницей, сказал ей: «Анюта, я хочу тебе признаться...» Она замерла. «Я опять хочу в Афган». — «Я тебя понимаю, Коля», — ответила Куколка.

Катай и Корлик

Лёгкий, сухопарый, сутуловатый, *узколиченький* (так у нас в Горячем говорят), бесшумно исчезнет, покорно кивнёт... Это Корлик, мой брат. Не Кролик! — Корлик. Откуда такое прозвище пошло? Да бог весть. Зовут и зовут. Может быть — Орлик, Орлёнок было первоначально? Помните, «Пионерская зорька» бравурно голосила с утра: «Орлята учатся летать!» И ещё: «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца» — и голос, как тот орлёнок, — тоже вверх, и не хватает то ли сердечной, то ли голосовой мышцы вывести «наве-ки умо-о-лкли весе-о-о-ые хлопцы, в живых я остался один...» Орлик — Корлик. Вечно папа чего-нить выдумает!

Корлик — мамино утешение и папина надежда. В честь отважного князя Игоря из «Слова о полку...» назван. Воспитан в послушании. «Корлик, за водой!» Уже несёт. «Корлик, ведро помойное вынеси!» Вынесет — бегом, широко шагая, побейкой, стыдливо опустив голову — девчонки из соседнего дома смотрят. «Корлик, Ленку в садик отведёшь?» Я упираюсь, кусаюсь, ору благим матом, я терпеть не могу дурацкий садик — но Корлик волочит меня туда молча и упрямо, а потом ещё и из сада заберёт. «Корлик, свиньям дай!» И даже если опаздывает в школу — в три прыжка метнётся к стайке, где рыхло хрумкают мороженую картошку хряк Моряк да свинья Дашка, выльет свиную кормёжку хоть и мимо корыта (и так сожрут!), Катаю мочёный кусок кинет в миску — и айда назад! Катай только зальётся ему вслед заполошно-оглушительно, брякая старой ржавой цепью: мол, куда побежал? Меня возьми!.. Беда с этим Катаем! Есть

же собаки — одно наказание: ни проку от них, ни пользы, ни утешения.

Отец принёс Катайку — пушистого, как варёжка, тёплого, молочно-пузатого, — новогодним вечером, когда мы с Маринкой сидели на полу в спальне и мастерили домик для кукол на нижней полке старой этажерки. Папа был в лёгком подпитии, не буянистом, сентиментальном. За водой они, что ли, с Игорёшкой ходили: вернулись румяные, красноносо-молодцеватые, лопухие шапки обмётаны морозцем... Папа достал из-за пазухи щенятинку скулящую, пушистую, белолопую, — псиной пахнуло, молоком — положил рядом с нами у этажерки, погладил: вот, мол, Стёпа-сосед удружил, говорит, порода охранная будет. А мы-то в щенячьем восторге! Щекочем пушистый живот, шелковистые ушки трогаем... Папа велит звать животинку Катаем. Ну, Катай так Катай! Он же шаляй-валяй и шалтай-болтай! Лапы у свеженаречённого Катайки разъехались, завалился на бок, дурашка, помолачивая хвостом, а под пузиком обнаружилась тёплая лужица.

На другой день щенка перенесли в огород, в коряво сколоченную большую будку, положили ему там соломы клочок-другой — и стал Катайка жить-поживать, добра наживать, носиться вслед за нами по огороду, косолапая, взлаивая и кувыркаясь. За зиму здоровенный вымахал, пушисто-кудлатый, палевая морда добродушная, в чёрных очках карие шарики озорно катаются, из штанов только варёжки чесать, дремучий — да дурной, заполошный, из тех собачьих полукровок, что ни дому ни улице, ни Богу свечка ни чёрту кочерга! Ей-Богу, не псина — стихия необузданная: чуть что — мах через забор и давай носиться по окрестным проулкам что есть духу! Оттого и садили Катайку на цепь тяжёлую ржавую: отпустишь — бед не оберёшься! Вчера вот двух куриц у тёти Шуры задал, сегодня кошку кашуковскую рыжую порвал напроць и потом ввязался в драку с их же Барсыком, тот мелкой собачьей породы, да злой — от обоих клочья летели, пока водой не разлили. Чумной-дурной!

На Масленицу снежно ещё было, с горы катались у стадиона, под ночь уже, затемно, возвращались мы, ребяташки-первоклашки, все в мыле, растрёпанные горочной чехардой, саночной возней, — а навстречу какой-то ком лохматый летит! Летит кубарем! Не успела шагу в сторону сделать — сбил с ног, такой здоровущий! Заливается, скачет, в шапку мою кроличью шутя зубами вцепился и мотает головой кудлатой — добычу поймал!

Пока огород копали да грядки выводили — извёлся весь, измаялся — хочется ему поноситься вдоволь по свежесвеженной воле, да нельзя — цепь старая не пускает. Рвётся непутёвый, волочит цепью двухпудовую будку по земле... К вечеру умается от бесплодных усилий, бухнет — прямо в разрытую грязь — недовольный, всклокоченный, исхлопотавшийся вусмерть.

* * *

Огородные хлопоты нескончаемы. Папа кладёт огуречную навозную гряду со знанием дела, что твой кондитер праздничный торт; Игореша бросил копать, смотрит, как отец управляется. Каждый слой отец ухлопывает вилами и пересыпает чернозёмом; сверху побольше земли, по краям бортики... «Корлик, принеси фляжку!» Корлик тут как тут. Папа-трудяга пьёт морс из облезлой зелёной фляжки, с подбородка течёт, со лба каплет... Катай сидит и замороженно-влюблённо на папу глядит, подметая лохматым пером огородный сор.

Назавтра папу привезли с работы и положили на кровать, тяжело стонущего, странно неподвижного, словно чужого, не нашего. Последние полгода подрабатывал он в бригаде лесорубов. В то злополучное утро отец во время валки старого листвяжника не уберётся: падающая листовница задела его прямо по загривку, чиркнула по спине, хорошо — вскользь, а то б... «Корлик, ты у меня теперь в доме главный мужик, на тебе всё...» У Корлика-Орлика слёзы под веками кипят, нахмурился, но не плачет: не к лицу ему, теперь он и защитник, и опора в доме —

и мне, и маме, и всё хозяйство наше небольшое на нём, и огород, и скотина.

Папа почти два месяца лежал, трудно возвращался к привычному образу жизни. Не в его характере болеть-валяться, всегда ведь живчиком по посёлку — стремительный, лёгкий, улыбочивый... Приходила врачиха, ставила уколы, компрессы, капельницу... Ночью папа стонал, Корлик вставал с диванчика колченогого, подавал пить...

Отец только начал подниматься, ходить по дому и вылезать на крыльцо, только-только на вскопанных им грядках закурчавилась первая зелень и огуречная рассада бодрым строем пошла в рост, как грянула новая беда.

— Всё снёс, сатана такой! Всё как есть! Смесил всю грядку, и бортики деревянные разнёс, и всю рассаду потравил, измолотил, нечисть такая! И у соседей тож! Стыдно глаза показать! — у мамы срывается голос, она редко так ругается, значит, дело совсем плохо. Всё это я слышу из-за стены, поджав хвост в своей комнатёнке. Слышно, как папин голос крепчает не к добру. Мама жалуется отцу, что Катай сорвался с цепи и снёс, порушил все наши труды огородные, в том числе и папину огуречную грядку — гордость его и усердие! А потом в соседском огороде устроил такой же шалман и раскардаш. Они ж теперь в поссовет подадут, соседи-то. И будут правы. Нечего собак распускать.

Корлик ушёл на кухню. С него главный спрос. Отец больной, еле ходит, рука правая отказывает. Корлик теперь отвечай за всё. Катай-дуралей накуролесил. Да чтоб ему!

«Корлик!» У меня холодеет под ложечкой от этого зова. Брат идёт не сразу. Я слышу, как он топчется в коридоре, молча гремит на кухне посудой, шмыгает носом, всё-таки ему только четырнадцать лет. С меня-то спрос невелик, я соплячка-первоклашка. Мне голоса на домашнем совете никто не давал. Спать уложили — и шабаш!

Папа неумолим, папа, сын суровой эпохи, всегда рубит наотмашь. Папа растит из Корлика сурового бойца,

спортсмена, охотника, мужика, а не тряпку какую-нибудь. «Корлик, поди в лес подальше и пристрели его». Брат стрелять умеет, отец мальчишку с двенадцати лет на охоту брал — по осени на утиную, а зимой так и белок, и зайцев мужики с охоты приносили.

Слова за стенкой проваливаются в бубнёж и невнятицу, но тон я слышу: Корлик, послушный-послушный, пытается впервые возразить папе. Худенький, сухопарый, слегка сутуловатый, с негромким голосом — бесшумно исчезнет, покорно кивнёт... Зубами скрипнет, комок слёзный проглотит, папин тяжёлый подзатыльник стерпит. Слышу, прорывается его упрямое, тихое: «Я не смогу». — «Ты ж у меня...» — «Папа, нет, я не буду!» Папин тон уговаривающий переходит в угрожающий. Слышу, как Корлик говорит что-то ещё. «Не пойдёшь — из дома выставлю! Одностволку свою возьмёшь. Ты же видишь, я ещё не в силах». И ещё что-то, и ещё... Слышно, как тарелка падает на пол, как мама пришла на кухню, сморкается громко... Я затыкаю уши, реву и проваливаюсь в подушку. Чем заканчивается разговор, уже не слышу. Так и засыпаю, уткнувшись в мокрую наволочку.

* * *

Ух, как возрадовался Катайка, когда повели его в лес! Да ещё раним-рано, на зорьке — птицы вон как заливаются! Запахи майские дурманят! Рвёт поводок бодрый Катайка, не знает дурак, что его сейчас к берёзе привяжут — и бабах! Чумной-дурной! Корлик сжимает челюсти до боли, чтобы не плакать, но слёзы набегают, застыт глаза, Катайка базлает радостно, скачет, лакает из придорожной лужи...

Я никогда не спрашивала брата о том, как он застрелил Катая.

Я могу только представить, как они идут по утренней вязкой тропинке к водомерному мосту, переходят Базыр, потом поднимаются к Трёхскалке, всё дальше, дальше... Отец велел уйти поглубже в лес, перевалить гору, к Косым ложкам ближе. Стрелять-то нельзя по весне, не се-

зон. Вообще с ружьём нельзя в лес. Корлик хочет отпустить поводок — вали, дурной на все четыре, да нет ведь — вернётся Катай домой, собаки дорогу помнят. Надо так устать, чтобы было уже всё равно, думает Корлик-Орлик. Выстрелить-то недолго. Привязать, закрыть глаза... Привязать и уйти? Бим бьётся на верёвке у зимней берёзы, рыдает... Да, там кино, а тут... Катай сует любопытный нос в каждый куст, фыркает, прыгает... Сказать: сорвался с поводка и удрал? Почему не выстрелил вслед? Не позвал?

Наконец, Корлику кажется, что пора: подламываются ноги, шум в ушах так полнит голову, что не слышно ничего, кроме буханья собственного сердца. Руку правую, которой ведёт Катая, ломит, во рту сухо и пусто... Катаю хоть бы хны, попривык на поводке, меньше выворачивает руки, вроде даже послушно идёт. И всё-таки вертится, дурачится, путается в ногах, пока Корлик приматывает непослушными руками поводок к дереву...

Целится Корлик вслепую, расплывается и качается перед ним берёза старая, к которой он привязал Катая, а чумной-дурной вертится, хвостом юлит, куда-то за спину Корлику глядит, влаивает, подскакивает...

...Так мне видится эта незамысловатая история изда- лека, годы и годы спустя. На следующий день, когда я прибежала на огород, в катаевой корявой конуре лежала только ржавая старая цепь с ошейником, недогрызенная кость и свалявшиеся клочки шерсти.

И всё-таки мне думается, что было так:

— Стой, малой, чего удумал-то? — и онемевшему Корлику на плечо чья-то рука ложится. Чуть надавила — и осел парнишка на траву, повинуюсь. Послушный, что сказать.

Смотрит Липатыч на паренька худенького, *узколиценького* (так его Олюшка говорит), плечи уронившего — вроде знакомый. Только сомлел совсем.

— Дмитрича, что ли, сынок? Ну как же ты чуду такую — и стрельнуть? Дмитрич велел? Шальной, значит, говоришь, огород снёс? Ну-у, малой, ну что ты, такой

мужик суровый, с ружьём — и такой рёва-корова! — улыбается Липатыч, качает головой, а сам уже Катая отвязывает, ерошит ему загривок, гладит, а тот, вот чудной-дурной, на него смотрит словно на родного, уши умильно прижал, голову бедовую в колени тычет...

— На вот платок, что ли... К своим я собрался, в Казахстан. Надолго, да. Года на два, может. Старики совсем сдали, помочь надо. Завтра еду, племяш везёт на машине. И чуду твою с собой заберу! Хорош охламон! Там мне нужно доброго пса на охрану. Ишь, юлит, словно своего признал! Как кличут-то? Катай? Ну, катай его, валяй! Чуешь, что другой раз на свет народился?

Синий глаз

* * *

Девочка играла удивительными старинными вещичками. Такое удовольствие выпадало ей не часто. Иногда, если внучка хорошо себя вела, бабушка совершала священнодействие. Она открывала шкаф, стоящий в их с дедушкой спальне. Из шкафа вырывалось облако горьковатого запаха любимых бабушкиных духов, и это было началом ритуала. На полочках в идеальном порядке было разложено постельное бельё, мотки кружев, косынки и шарфики, они пахли свежо и прохладно, однако не в разноцветных тряпочках заключалось главное счастье. Бабушка засовывала руку под стопку выглаженных и аккуратно сложенных косынок — и из дальнего уголка выуживала небольшую синюю картонную коробочку. Простецкий вид коробки не обманывал девочку: она уже знала, что там прячутся сокровища не хуже, чем в пещере Али-Бабы (про которую внучка уже прочитала в книжке и посмотрела диафильм).

В коробочке, переложённые ватой, лежали украшения. Три золотых кольца были надеты, словно на палец, на скрученную в палочку пожелтевшую ватку. В крохотном полотняном мешочке хранился тяжёлый медальон зеленовато-жёлтого цвета; бабушка объясняла, что это червонное золото. В холщовую тряпицу был завернут браслет, вызывавший у ребёнка, рождённого в конце XX века, ассоциации с гусеницей трактора. Квадратные звенья цеплялись друг за друга не мягко и плавно, а резко, угловато. Браслет казался бы жутким, если бы в таком же, как на медальоне, зеленоватом золоте не были

утоплены крошечные белые и красные камешки; каждый покоился в звёздчатом ложе. Нежность орнамента не подходила к грубости украшения (девочка ещё не знала слова «контрастировала»). Это мужской браслет, объясняла старушка, его носил мой папа.

- Разве мужчины носят браслеты?
- Раньше носили, Леночка.
- А где твой папа?
- Мой папа умер.

Но сейчас в руках у девочки было самое интересное из того, что сберегалось в ларце с сокровищами. Странная гнутая пластинка практически чёрного металла с двумя голубыми овалами по краям; они были приделаны не прочно, а слегка вращались. «Это запонка», — говорила бабушка. И такой же лазоревый овал, но побольше, будто бы на прищепку приделанный. «А это булавка для галстука».

Овалы завораживали и очаровывали внучку. Серебряные запонку и галстучную булавку бабушка разрешала ей брать в руки. Золотые ювелирные изделия показывала только сама: «Не дай Бог, сломаешь или ещё чего!». Секрет обаяния был в невероятной красоте запонок и булавки. Светло-голубые с легчайшей прозеленью и с ярко-синей выпуклой капелькой посередине. Капелька была пропорциональна очертаниям булавки и запонки, но миниатюрна. Благодаря густому цвету она выделялась на бирюзовом фоне, и вся поделка смотрела на девочку, точно хитро прищуренный глаз. На одной из «лопастей» запонки синяя сердцевина была слегка облуплена, васильковый лак слез (как будто на глазу было бельмо). Но даже бельмо не портило вида: от сердцевины разбегались, как лучи от солнышка, чёрточки тоньше волоска и уходили под оправу. Всё это великолепие приглушённо блестело. И девочка не могла налюбоваться на запонку и булавку для галстука. Она сочиняла истории, в которых эти вещицы то действовали сами по себе, то становились целым миром, где разыгрывались сюжеты. Фантазии девочки были летучими, изменчивы-

ми, точно облака, и многие свои придумки она тут же забывала. Запомнилась навсегда только одна — очень странная, и не придуманная, а приснившаяся ей однажды, после того, как она в очередной раз поиграла с прадедовыми украшениями.

Девочке привиделось голубое озеро геометрически строгой формы, и его синий глаз, который мог отделяться от водоёма и передвигаться по его глади на тоненьких смешных ножках. Во сне ещё был крошечный мальчик Нильс, герой только что прочитанной сказки. Девочка, сколько помнила себя с книгой, читала сама, про себя. Ей не требовалась помощь взрослого, чтобы познакомиться с приключениями Нильса. Тем не менее, во сне какой-то незнакомый голос читал ей сказку, которую не писала Сельма Лагерлёф, а «транслировало» подсознание девочки:

«Плюнул Нильс в озеро — стало в озере мыльно. Плюнул Нильс в синий глаз — стало в синем глазе ильно. Посадил Нильса синий глаз на палец. Дёргается Нильс на пальце, а спина у зеркала смеётся».

Зрелище Нильса, корчившегося на пальце синего глаза, было таким жалостным, что Лена проснулась со слезами — и долго ещё не могла понять, откуда в сказке взялось зеркало, которого там не было?.. Она пыталась заменить слово «зеркало» на «озеро». «Спина у озера смеётся» — тоже странный текст, но хотя бы в логике её сновидения!.. Однако какая-то сила упорно возвращала на место слово «зеркало» — и с ним сон запомнился Лене навсегда.

* * *

— Бабушка, а чьи эти все вещи? Твои?

— Обручальное кольцо — моей мамы. Маленькое колечко с бриллианчиком сделано из маминой серёжки для меня и Зины, — так звали любимую и единственную бабушкину родную сестру. — Маме папа подарил на свадьбу эти серёжки, а она потом одну потеряла, вот и переделали дочерям в колечки. На совершеннолетие подарили.

Исполнится тебе восемнадцать лет, я тебе его подарю. Медальон тоже мамин. В нём фотографии — папина и моя. Кольца мамины. А браслет и все остальное — папины.

— Они золотые?

— Конечно.

— Значит, мы богатые, как Али-Баба, если у нас столько золота?..

— Ой, Леночка, если бы ты знала, сколько золота мы когда-то отнесли в Торгсин!.. Торговля с иностранцами так называлась. Только там в моей молодости можно было купить ткани на платье, на пальто, воротник меховой, обувь... Да и продукты хорошие там продавались... — пожилая дама замаялась. Она понимала, что не сможет доходчиво объяснить внучке-дошкольнице быт 1930-х годов. К счастью, внучку не интересовал экономический аспект.

— А запонка что такое?

— Раньше у мужчин рубашки — назывались сорочки — были без пуговиц на рукавах. Их полагалось застёгивать запонками. Чтобы красиво было.

— А почему запонка всего одна, если у человека руки две?..

* * *

Ирина смотрела, как внучка возится с запонкой, и ощущала острую режущую боль — такую отчетливую, как будто сердце прихватило. Не потому, что она была аккуратисткой и трепетно относилась к вещам (хотя была и относилась) и боялась, что ребёнок сломает единственную оставшуюся запонку (эта безделушка и так уже пострадала полвека назад и хранилась не в первоизданном виде). Просто Лена ещё слишком мала и не понимает, какой ужасный вопрос задала. И совсем ничего не знает про тридцатые годы — и упаси её Бог узнать...

...События марта 1939 года нахлынули на женщину и окружили её пёстрой чередой картинок, точно на карикатурах, где изображают кинозрителя обмотанным плён-

кой со множеством кадров, которую извергает киноаппарат. Её глазам внезапно предстал отец, вернувшийся домой в неурочное время. На недоуменные расспросы дочери и жены он сначала отмалчивался, отнекивался, все, мол, нормально, однако его растерянный бегающий взгляд выдавал обратное... Наконец отец решился — и сказал, что его уволили.

Март 1939 года был, наверное, самым странным месяцем в жизни Ирины (а прожить ей довелось 89 лет). Она училась в институте рыбной промышленности и хозяйства на отделении ихтиологии, собиралась замуж за студента (четырьмя годами старше) отделения инженеров-механиков, надёжного, активного, политически грамотного, занимавшегося комсомольской и общественной работой, и считала, что жизнь её просчитана, известна наперёд и будет благополучной. Свадьбы тогда не намечали заранее, молодые думали, что вскоре зайдут в загс и распишутся, но день ещё не назначили. В Тимирязевском парке, где в деревянном доме для работников сельхозакадемии обитала семья Сказкиных, таял снег, на деревьях набухали почки, весна заявляла о себе всё громче и радостнее... И в это же время отец с перевёрнутым опустошённым лицом ходил из комнаты в комнату и что-то приговаривал себе под нос. Он всегда был главой семьи, не привык ни советоваться, ни откровенничать с женой, тем более с дочерьми о своих делах, принимал решения, с которыми домочадцы не спорили. Ирине он постоянно говорил, что она может обратиться к нему с любым вопросом, любой проблемой — он самый большой друг своей дочери и всё для неё сделает. И вот этот сильный, решительный человек поблек и осунулся — и явно не знал, как быть. Ирина видела, он шептался с мамой. Но Степанида Андреевна была докой только в домашнем хозяйстве, а в больших и страшных делах ничего не понимала. Она тоже бледнела, охала, крестилась, тайком ходила в церковь, до которой надо было долго добираться на трамвае — хотя её мужу по работе этот «религиозный дурман» уже никак не мог повредить,

работы у него больше не было. Но отец явно опасался худшего...

Однажды он прямо сказал Ирине, чтобы она поторопилась расписаться со своим женихом. «Пока меня не арестовали, а то потом нехорошо будет», — пояснил Андрей Андреевич и вымученно, жалко улынулся. У дочери всё оборвалось внутри: «Арестовали?! Но почему? За что?..» Глядя то в сторону, то в лицо Ирине, отец объяснил, что он, бухгалтер при Тимирязевской сельхозакадемии, подписывал финансовые документы; начальники, молодые парни правильного классового происхождения из рабочих и крестьян, приказывали ему подписывать расходные ордера, а теперь выясняется, что он будто бы присвоил все эти деньги и растратил... «Сколько?» — заикнулась было Ирина. «Ты таких денег никогда не видела», — ушёл от ответа отец. Ирина чуть не рассмеялась: «Папа, пусть они придут, посмотрят, как мы живём!.. Видно ведь, что еле концы с концами сводим!.. Какие деньги, на что ты их растратил?!..» Она-то знала, что рубля лишнего в доме не бывало. Чтобы справиться ей «взрослое» пальто с воротником из выдры, мама отнесла в Торгсин свои золотые серьги. До революции у неё было много украшений, они едва помещались в нарядный деревянный ларец с инкрустациями, маленькая Ира обожала рассматривать и перебирать золотые безделушки. А теперь этот ларчик был почти пуст, как будто в нём находилось не золото, а снег, таявший от домашнего тепла. Чтобы купить ткань на платье, чулки, туфли, несли в Торгсин очередную вещичку — но мама не скупилась: дочек надо обувать-одевать, им скоро замуж выходить...

— Они и придут, Ира, — тихо выдохнул отец. — Будет обыск. Обыск с конфискацией... В компенсацию моей растраты... Не моей, но кто поверит? Меня в академии и слушать не захотели... уволили, сказали, суд впереди...

Уродливое, невыговариваемое словосочетание «обыск с конфискацией» повисло в пахнущем весной воздухе, точно дуновение зимнего ветра.

— Надо Фане сказать, чтобы унесла из дома золото, что осталось... Вам без меня туго придётся... Продадите потом или сменяете... Ира, вы маму не бросайте, ей тяжелее всех будет — всё за мной да за мной, сама жить не умеет...

Отец говорил, как будто уже был не рядом с Ириной в их тесной квартирке, увешанной по стенам вышивками Степаниды Андреевны (Фани, как звал её муж). В его монотонном голосе не было и тени сомнения, что не обойдётся, хорошо не кончится. И действительно, через несколько часов мама переложила оставшиеся украшения из элегантного ларчика в простую синюю картонную коробочку. В ней купили в Торгсине какой-то пустяк. Эту коробочку Степанида Андреевна долго уместала у себя на груди под одеждой, и ушла с ней из дома. Конспиратор из мамы был никакой, она пугливо оглядывалась и вздрагивала от каждого звука — но всё-таки коробочка нашла приют у кого-то из родных и пережила там чёрные дни. Уезжая из Москвы, Сказкины забрали её. На золото никто из родни не польстился, к счастью.

Младшая сестра Зина, насмотревшись на возню взрослых, собрала недавно пошитые для неё платья — и тоже оттащила к подружке, живущей подальше от Тимирязевки. И главное богатство унесла — белые парусиновые тапочки из Торгсина...

Двадцать девятого марта Ирина расписалась с Алексеем. Свадьбу отметили тихим семейным застольем без гостей. А на следующий день Андрей Андреевич собрался и ушёл из дома. «По вызову органов» называлось это. «Вызов органов» состоял в маленькой желтоватой бумажке вида чрезвычайно казённого, заполненной по печатанным графам от руки лиловыми чернилами. Ирина увидела её мельком, когда отцу принесли этот вызов, и успела подумать, какой корявый почерк у писавшего, никакого сравнения с чёткой рукой Андрея Андреевича... Отец тут же сложил бланк и сунул в нагрудный карман. У него как будто даже разгладилось лицо: готовился принять страшное, подошедшее совсем близко.

Ирине позволили одно свидание с отцом после его ареста. Она приехала в Бутырскую тюрьму. Отца вывели во вроде бы и просторную, но забитую народом до отказа комнату, все шумели, посетители (в основном женщины) рыдали, истерили, пытались броситься на шею к арестантам, конвоиры пресекали это зычными окриками... Ирина сунула в руки отцу узелок с передачей. В такой суматохе, рядом с торчащим за спиной конвоиром, она не знала, что и говорить. Андрей Андреевич повторил: его будут судить за растрату, — и попросил не верить, что он вор.

— Я никогда не поверю! — вскрикнула Ирина.

— Свидание окончено, выходи! — рявкнул сзади бас конвойного.

— Иди, милая, — покорился отец. Пробираясь к выходу через людское море, Ирина оглянулась — он стоял на том же месте с узелком в руках и смотрел ей вслед. Тот взгляд в спину она чувствовала всю свою жизнь.

... Через несколько дней в казённую квартиру Сказкиных нагрянул «о б ы с к с к о н ф и с к а ц и е й». Люди в форме распорядились тем, как люди в спецовках (должно быть, подсобные рабочие из Академии) выносили из дома мебель, купленную лично отцом. На своих местах остались только те вещи, на которых красовались инвентарные бирки. Степаниде Андреевне вручили предписание освободить служебную квартиру до завтра. В неё уже готовилась въехать семья нового специалиста. Без мебели квартира совсем опустела, обыск провели формально, механически. Когда один в форме шарил в ящичке трюмо (тоже конфискованного), что-то мелкое и лёгкое выпало, покатилося по полу... Запонка с голубыми пластинками юркнула в мышиный лаз между досками.

— Что это за чертовщина? — удивился сотрудник, разглядывая лежащие на грубой ладони вторую запонку и галстучную булавку. — Брошка, что ли?

— Да, это брошка, мне жених подарил, к свадьбе! — выпалила Ирина. — А это пуговица!..

— Жених, говоришь, — вертя в пальцах запонку, энкаведешник попробовал её на зуб. — Золото?

— Что вы! Серебро. Groш цена ей. Он студент, денег нет...

— Ну, держи, раз жених подарил.

Ирина хотела сжать отцовы украшения в кулаке, как редкое сокровище, но рука дрогнула, вторая запонка тоже упала. К счастью, не докатилась до дыры в полу. Ирина резким прыжком бросилась за ней и успела поймать. Подняв запонку, она увидела, что эмаль с синего глаза посередине откололась. При виде царапины ей захотелось завывать в голос — как будто это, а не выдворение из дома и не изъятие мебели было самым страшным... Словно бы царапина прошла по памяти отца.

— Потерялась другая запонка, Леночка. Давно. Ты знаешь, сколько им лет?.. Давай их мне сюда, поиграла, и хватит.

* * *

Выросшая девочка пришла к ювелиру с галстучной булавкой и единственной запонкой своего прадеда. Ювелир был частный. В годы бабушкиной молодости его бы назвали кустарём-одиночкой. Однако клиентуры у него было хоть отбавляй. Он умел делать «из воздуха» уникальные украшения.

Молодой встрёпанный мужчина в сильнейших очках вид имел скучающий, недовольный. Большинство клиентов он откровенно презирал. Они казались ему (а порой и были) круглыми дурами. Чем денежнее заказчица, тем глупее. Новую клиентку подогнала ему одна из таких клинических идиоток. Ювелир мельком глянул на тощую, скромно одетую фигурку, отвернулся к лампе и протянул руку:

— Давайте, что у вас?..

И тут его скепсис как рукой сняло. Он изумлённо вперился в овалы, смотревшие на него насмешливыми синими глазами.

— Роскошный гильош!.. В первый раз такой вижу. Откуда это?..

— Гиль... что?

— Гильош. Штриховка резцом по металлу. Видите? — ювелир кончиком остро отточенного карандаша показал девушке на тончайшие лучики. — Её обычно сверху покрывают прозрачной эмалью. А у вас тут сначала бирюзовая эмаль, потом прозрачная. Чьё это?

— Моего прадеда. Его репрессировали, — пояснила Лена. — Хочу сделать из булавки брошку, а из запонки серьги. В память о прадеде.

— Да. Такую красоту носить надо. Прятать — преступление.

* * *

Она уже получила образование в Историко-архивном институте и работала в архиве. На дворе стояли 1990-е годы. Она уже знала, что её прадед ушёл из дома 30 марта 1939 года, и с тех пор его никто никогда не видел, если не считать краткого свидания бабушки с ним в Бутырской тюрьме, что его обвиняли в растрате, что он просил не считать его вором. Семья давно жила не в Москве. Зарплата Лены была нищенской, и ту постоянно задерживали. Порой, как присказка про Нильса во сне, к ней приходило непререкаемое убеждение: это потому, что ты искупаешь грех Сказкина.

...Лена остановилась у почтового ящика. В нём белел конверт. Сердце ворохнулось: вдруг наконец ответ из архива КГБ про прадеда?.. Вытащила письмо и вскрыла прямо на лестничной клетке. Очередной «исполнитель» сообщал, что сведениями о применении репрессий к Сказкину А. А. не располагает. Лене тут же перехотелось идти домой. Она знала, что там увидит...

...Бабушка сидела за столом, сгорбившись над листом, выданным из школьной тетрадки. В последние месяцы это стало привычной картиной для внучки. Практически поперёк линеек катились неряшливые строки (старушка уже практически ослепла):

«Господин Президент, нет такого закона, чтобы держать людей в тюрьме шестьдесят лет... Умоляю Вас, сообщите, что Вам известно о судьбе моего папы... А я всю оставшуюся жизнь буду за Вас Бога молить... Милый папа, может быть, ты стесняешься прийти ко мне жить? Так и знай: мой дом — это твой дом!..»

Лена подумала — не сказать ли ей, что опять из архива прислали пустышку — и не сказала. Прошла в свою комнату и спрятала письмо со штемпелем в секретер, к стопке таких же бессодержательных ответов.

Спустя год бабушка умерла, так и не узнав, что произошло с её отцом и не дописав очередного обращения к президенту.

* * *

Девушка в бирюзовых серёжках с синими глазками и с такой же брошью на воротнике сидела в комнате для посетителей Рязанского управления ФСБ России. Перед ней лежало дело, пересланное из архива аналогичного учреждения Ивановской области. Больше половины листов в нём были запакованы в плотную оберточную бумагу: запрашивающему можно смотреть лишь те документы, что имеют отношение к их родственникам. Как объяснила сотрудница архива в погонах (но в штатском), во избежание эксцессов в адрес потомков других фигурирующих в деле граждан. Лена читала.

«Архивная справка по материалам архивного уголовного дела № 9347-П в отношении Сказкина А. А.

...Сказкин Андрей Андреевич, 1883 года рождения, уроженец деревни Ретимское Мологского района Ярославской области, осуждён... по закону правительства от 7 августа 1932 года на 10 лет лишения свободы. До ареста работал кассиром-бухгалтером Всесоюзного института повышения квалификации работников сельского хозяйства при наркомземе СССР, где похитил 63 853 рубля денег.

Находясь в общей тюрьме № 4 города Шуи, проводил антисоветскую агитацию среди заключённых сокамерников, за что был вновь арестован 9 июля 1941 года.

Приговором Военного Трибунала Войск НКВД Ярославской области, в закрытом заседании в городе Шуе от 28 августа 1941 года, Сказкин Андрей Андреевич по ст. 58–10 ч. 2 УК, по карательной санкции ст. 58–2 УК, подвергнут высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

Заключение прокурора Ивановской области от 23 апреля 1992 года Сказкин А. А. — реабилитирован. Справка о реабилитации находится в прокуратуре Ивановской области».

Шёл 2004 год. Справку о реабилитации родным Сказкина не удосужились прислать за двенадцать лет. Так и лежала в архиве...

Окно и небо

В моей памяти стойко, короткими видениями живут картинки из детства.

Яркий свет в окне. Сегодня сознание дорисовывает его высоким, широким во всю стену.

Другая картинка: свет надо мной — густой, живой, переливающийся синевой. Кроме него — ничего.

Третья: тёмный борт, наполовину закрывающий окно и свет.

Яркие пятна памяти сходятся в одно неопределённое — тёмный серый борт...

Став взрослой, рассказала маме.

— Ты это помнишь? — удивилась она.

— Что?

— Похоже, ты говоришь о корыте. До двух лет в нём спала. Когда ты родилась, мы вчетвером жили в сталинской коммуналке...

— Ты, папа, бабушка и я?

— Да. Комнатка девять метров, кровать поставить некуда. Корыто — на столе у окна.

— Я спала в корыте!

— И в коляске на балконе, каждый день, круглый год.

— А крыша над балконом была?

— Нет.

— Вот откуда тяга спать под открытым небом...

Охватило волнение. Я поставила на блюде чашку с ароматным горьковатым чаем. Мама всегда добавляла в индийский (другого не признавала) зверобой и душицу.

Разливала без ситечка, высоко подняв фарфоровый заварник, чтобы напиток пузырился, шипуче журчал, и чтобы в чашку непременно попадали пара-тройка шафрановых лепестков зверобоя и сиреневые крошки душицы. «Для здоровья и богатства, — заговорщицки говорила мама и добавляла: — Только пей без сахара, а цветочки посмакуй и съешь».

Иногда в выходные, когда хотелось домашнего праздника без повода, мама накрывала белой льняной скатертью стол. Доставала из старого дубового буфета зелёное крыжовенное варенье с рыжими вкраплениями апельсиновых корочек, бережённое для особых случаев, позолоченные ложки, немецкий чайный сервиз, расписанный мейсенскими букетами, подаренный бабушкой Розой — маминной мамой — на свадьбу дочери, и наше полуденное чаепитие превращалось в настоящую чайную церемонию.

Бабушкин сервиз мне с детства казался сказочно царственным не только из-за небывалой утонченности, но и из-за того, что на дне каждого предмета — чашек с блюдцами, пирожковых тарелок, доливного чайника для кипятка, молочника, сервировочного блюда чуть ли не на полстола — было бронзовое клеймо с большими загадочными буквами “REINECKE GEGRUNDET 1796 GERMANY”, увенчанное короной. Именно такая посуда с живописными цветами, украшенная золотой каймой и золотым орнаментом, как причудливые кружева, представлялась мне в сказке, где невидимое чудовище в пиршественном зале своего волшебного замка угощало Настеньку, окружало заботой... Я часто просила бабушку прочитать мне «Аленький цветочек» перед сном.

— Интересно, где бабушка смогла достать немецкий сервиз, ведь в пятидесятых была разруха?

— Мама хорошо шила, и одна клиентка за дорогой костюм расплатилась посудой.

— Странно, что в чайном сервизе есть кофейник, как бы сам по себе.

— Кроме чайного, был кофейный сервиз. Он стоял в коробке, рядом с твоим корытом. Однажды мама, сварив кофе и налив его в кофейник, стала доставать чашечки и уронила коробку. Всё разбилось. Ты тогда плакала громче и горше всех, испугалась.

— Бабушкина клиентка и кофейным сервизом расплатилась?

— Нет. «Кофейный-трофейный, дунайский», — так мама шутя называла — это подарок. Она встретила Победу в Венгрии. Квартировала в зажиточном доме. Хозяйка была из дунайских швабов... Мама рассказывала, сначала хозяйка относилась к ней насторожённо, но как-то раз они разговорились, да ещё на родном языке, та прониклась уважением, что мама — немка, а воюет за страну Советов. Подарила на память этот сервиз, херендский фарфор в мейсенском стиле, мол, небольшой, доведёшь... Мама им дорожила. Радовалась потом, что чайный оказался похожим...

Я осторожно погладила на боку чайника красно-лиловый, словно тронутый увяданием, тюльпан — самый крупный и яркий среди аметистовых фиалок, небесных незабудок и солнечных бессмертников. Давно нет бабушки, а цветы как будто помнят её тёплые, мягкие и сильные руки.

— Так вот ты какой, цветочек аленький, — прошептала я.

— Что говоришь?

— Так... Голоса хорошо помню. Главным был твой, с ним всегда радость. Бабушкин — повелительный, глубокий, с хрипотцой.

— Мама в войну курила. Но в один день решила и бросила...

— Я иногда так и слышу бабушкино ругательство — «эрзац».

— Мама так называла маргарин и желудёвый кофе, ну и всё, на что сильно сердилась.

— Помню шрам у бабушки на плече. Спросила о нём, а она буквально приказала: «Не спрашивай».

— Мама и мне мало что рассказывала. Она служила переводчицей, была под расстрелом, разрывная пуля попала в плечо... её спасло, что фашисты яму не закопали. Пришла в себя, ползком — до своих... Ни в войну, ни после об этом нельзя было говорить. Она всю жизнь боялась, тем более немка.

— Поэтому бабушка никогда не судачила с соседками на скамейке у подъезда?

— Конечно! Тут и объяснять нечего...

Перед глазами встал двор из детства. Раскидистая акация — белая пышная красавица, усыпанная по весне душистыми сладкими гроздьями цветов, мы, дети, их ели. Цвела она так густо, что зелёные листья почти не проглядывали. В её тени стоял длинный деревянный стол со скамейками. Тёплыми вечерами за ним собирались любители домино, и до темна из-под акации раздавались задорные голоса: «Шесть-шесть... Ноль-ноль... Рыба!»

В центре двора была просторная песочница, облюбованная не только детворой, но и кошками. Высокие железные качели с большой «корзиной», на двух скамейках которой уместалась компания из пяти-шести человек. Спортивный турник и почти настоящие брусья: азартные соревнования на них, лишь подогреваемые синяками и ссадинами, решали, кто из девчонок и мальчишек будет героем дня, как Лариса Латынина и Борис Шахлин... Железные и кирпичные гаражи в два ряда. Между некоторыми тянулись узкие ходы, а в глубине образовалась крошечная полянка, словно тайная комнатка с локутом неба вместо потолка. Она-то нас, меня и мою детсадовскую подружку Свету Кокину, больше всего и привлекала. Мы там часто прятались от мальчишек, от их бесконечных «войнушек» и «казаков-разбойников».

Папа Светы работал в далёкой Сирии, привозил дикобинные вещички: объёмные открытки с цветами и заморскими видами: лишь коснёшься — и палец как будто тонул; тряпичные, вышитые разноцветным бисером ко-

шельки на золотистых цепочках; маленьких кукол-принцесс со множеством одежек. Света мне не дарила кукол, а я не выпрашивала — совестно, зато переливающийся бисером кошелёк она без всякого повода отдала насовсем. Я в него вместо денежек складывала самые милые фантики — блестящие, с золотинками и серебринками, и от дорогих шоколадных конфет «Кара-Кум», «Красная Шапочка», «Конёк-Горбунок» и «Мишка косолапый». За этими конфетами фабрики «Красный Октябрь» бабушка стояла в долгих очередях, чтобы к Новому году их повесить на ёлку, или, уложив горкой в высокой хрустальной конфетнице на ножке, украсить стол какого-нибудь семейного торжества. Только называла она их не «краснооктябрьскими», а «эйнемскими», по-старинному.

В заветном гаражном уголке мы со Светой, застелив картонками пол, играли с её куклами «в пупсики», менялись фантиками. Просто так в наше убежище было не попасть — к нему вела не любая щель между стенами. Мы с трудом протискивались в их лабиринте, и на платьях нет-нет да и оставались ржавые разводы. Изредка и дыры. А ещё я не раз рвала платья, лазая на тутовые деревья. Недалеко от гаражей росли два старожила — белый и чёрный. Света почему-то не любила тутовник, а мне ягоды нравились, особенно чернильно-тёмные — они были слаще. Но они и сильнее пачкали руки, рот и одежду. За грязь и дыры мне от бабушки доставалось. Но ради нашей со Светой тайны, ради медовых ягод я терпела страх перед бабушкиной хворостиной или авоськой, которыми она иногда грозила, если долго искала и звала меня домой. А когда я наколола веткой тутовника глаз, бабушка разок отчаянно прошлась авоськой по моей попе: «Знай, какво оно!..» После жалела: «Вишенка ты моя сладкая, яблочко моё румяное... Што ж ты как пацанка, што ж не бережёшься... В меня, што ль, пошла? Ох, не надо бы». Не разрешала наклоняться, сама, грузно присаживаясь и вздыхая, застёгивала мне сандалики, водила за ручку в больницу, чтобы в глазу не случилось осложнение — кровоизлияние...

— Мам, а почему, когда бабушка опиралась локтем на край стола, в ней что-то щёлкало, и она, стиснув зубы, стонала?

— После того ранения разрывной пулей у неё был привычный вывих плеча, она научилась сама вправлять руку... Так вот, про то, как мама бросила курить. После войны она разыскала меня в детдоме, мне было семь. Кроме кофейного сервиза, она привезла с фронта мешок табака — драгоценность! Мы вернулись в Старобельск. Дом наш оказался пустым — его разграбили. Мама поставила мешок в угол и сказала: «Всё, больше не курю». И на самом деле, всё.

— А зачем везла?

— Меняли табак на хлеб, на картошку, иногда и на картофельные очистки. Голод...

— Баба Роза никогда не рассказывала о своей маме.

— Она её не знала. Она была совсем маленькой, когда её мама умерла.

— Но имя прабабушки известно?

— Тоже Роза. Розалия. Отец мамы, Карл, твой прадед, назвал дочку в честь жены, а сына — Питер, в честь своего отца.

— А фамилия?

— Энтенберг. Мама всегда говорила, её фамилия в переводе означает «утиная гора».

— Красиво: Розалия Карловна Энтенберг. Такие тайны открываются...

— Мама многое унесла с собой. И война...

— Бабушка на День Победы возила меня в Волгоград, она его называла по-старому, Царицыном, даже не Сталинградом. Мы приходили на площадь Павших Борцов, бабушка оставляла гвоздики у вечного огня, говорила, что в братской могиле похоронены её отец и брат.

— Страшная история. Мама не любила вспоминать... Когда-то, во времена Екатерины Великой, их семья переселилась из Германии в Царицын. Мама родилась в Царицыне. Жили они в центре города, как раз рядом с будущей Аллеей Героев. Отец её работал на металлургическом

комбинате, был инженером, брат служил матросом в Волжской флотилии. После Октябрьской революции они приняли сторону большевиков, а в гражданскую, в боях за город погибли — оба лютой зимой 1920-го были повешены денкинцами, похоронены в общей могиле.

— А бабушка?!

— Ушла с обозами на Украину, спасаясь от преследований и голода...

— Mam, помнишь? Мне было года три, вы первый раз привезли меня на Мамаев Курган. Мы вошли в круглый зал Воинской Славы, и я как застыла на месте... Бабушка тянет за руку, а я стою. Она спрашивает: «Боишься?» Я киваю и показываю на пол: «Музыка играет из гречневой каши. И горшок с огнём, и рука из гречневой каши растут»... Папа улыбнулся, а бабушка вздрогнула, прижала меня к себе.

— Конечно помню. Ты мраморную мозаику приняла за гречневую кашу, ты её любила. Мама же тогда истолковала по-своему: «Неужели страх голода передаётся по наследству?»

— Она всегда беспокоилась, как бы я голодной не осталась. Однажды усадила меня за стол, поставила тарелку с куском стерляди. Я только глянула, и тошнота — к горлу: на рыбе — скрученный белый червь. Я — в слёзы: «Не буду есть». Бабушка — за авоську... Я тогда не знала, что у стерляди при варке хрящ сворачивается... Строгая бабушка была.

— Очень...

Моя бабушка Роза. Она учила меня аккуратно застилать постель. Каждое утро не просто умываться, а ополаскиваться под душем, надевать свежее бельё и домашнее платье, для хозяйственных дел — фартук. Она заплетала мне косички непременно с бантами, даже если нам никуда не надо было идти. Сама она тоже дома никогда не ходила в халате и тапочках — только в платье и мягких туфлях. Следила, чтобы за столом я вела себя «как подобает хорошей девочке»: сидела с прямой спиной, ела без

капризов, не крошила хлебом, не ставила локти на стол, не болтала ногами; чтобы после игр складывала игрушки в большой тёмно-коричневый чемодан с пружинными замками. Он стоял под моей высокой панцирной кроватью — там каждый день я наводила чистоту: мыла пол, протирала влажной тряпкой «домик игрушек».

Больше всех кукол, я любила рыжего пса Бобика. Он был плюшевым, с мягким животом и мягкими лапками, а круглая голова с длинными висячими ушами почему-то была твёрдой. Почему? И я из любопытства ребром песочной лопатки стукнула Бобика в лоб. Ткань треснула, под ней оказалась обычная деревяшка — светлая, шершавая. Потрогала её, и мне стало нестерпимо жаль Бобика, и жгуче стыдно, что изуродовала его, и боязно — от бабушки не утаить. Набралась смелости, призналась. Бабушка посмотрела с такой укоризной, что забористую авоську было бы вынести легче, чем бабушкин суровый взгляд. Она молча (о, это осуждающее молчание!..) дала мне иголку и крепкие светло-коричневые нитки — рыжих не нашлось. Надела мне на палец маленький напёрсток — у бабушки их было несколько, без напёрстка работать с иглой запрещалось — и я, как сумела, заштопала Бобику рану.

Однажды папа меня наказал, случалось такое нередко. Поставил в угол, к которому примыкали тяжёлые самодельные полки с книгами: на суровых верёвках висели две длинные доски. Папа погрозил пальцем:

— Стой, пока не приду, и не смей в самоволку! Поняла?

— Угу, — согласилась я. Но только папа — за дверь, я бесшумно юркнула под кровать. В этот момент раздался страшный грохот — рухнули книжные полки. Если бы я осталась в углу... а я от страха, что за самоволку авоськи уж точно не избежать, забилась за чемодан.

В комнату вбежала бабушка и обессиленная села на кровать, тяжело выдохнула:

— Внученька...

За бабушкой — мама, отчаянно крича ещё из другой комнаты:

— Доченька!

Папа молча кинулся к завалу из книг и первым увидел меня под кроватью, вытянул, схватил на руки, прижался колючей щекой:

— Прости...

Я тогда первый раз увидела, как беззащитно задрожали бабушкины плечи, как по искажённому улыбкой лицу неудержимо потекли тихие слёзы.

Больше в угол меня не ставили...

— Мам, а как вы из Старобельска в Волжский попали?

— В пятидесятом году Раиса, моя старшая сестра, вернулась из Болгарии, где после Победы ещё долго служила радисткой... Кстати, она тоже — Розалия, в честь мамы, но в четырнадцать лет имя сменила, приписала себе два года и ушла воевать... Я в пятьдесят пятом окончила школу, а тут мама услышала о строительстве Волжской ГЭС. Волжский совсем рядом с Волгоградом, и она сказала: «Хочу на родину»...

— Тебя Мартой назвали, потому что ты в марте родилась?

— Не-ет. У мамы в юности была подруга Марта. В гражданскую в Царицыне они потерялись, да так и не нашлись...

— Ольгой меня назвала бабушка? Она перед сном мне на ухо тихо-тихо напевала, почти шептала, и я, тогда ещё не вникая, как будто лёгкий ветерок слышала: «Хельга, спи, засыпай, баю-бай, баю-бай».

— Надо же, я и не знала. Она никогда не говорила, что так звала тебя... Имя дал тебе папа... Не могу привыкнуть, что его нет... всё кажется, вот сейчас откроет дверь...

— Да-а, папа... он долго мне снился...

— А мне ни разу...

— Голос у него был отрывистый такой, низкий. Глядя на его кадык, я думала, у него в горле железный шарик перекатывается... А взгляд! Как глянет, аж не по себе делалось. Глаза — карие с рыжинкой, пристальные...

Почему-то в раннем детстве помню не твой, а папин взгляд, как будто папа что-то искал во мне.

— Наверное, сходства с собой. Ты родилась с фиолетовыми глазами. К году их цвет поменялся, а вот волосы стали совсем светлыми. Папа долго не верил, что такое бывает: у него-то были, как вороново крыло, а я — шатенка.

— Да, помню, когда мы приехали в Лазорки к прабабушке, она подхватила меня на руки: «Це наша дівчинка! Васюков порода. Копія моя Ульяна. Глянь, і щічки, — она меня расцеловала, — і ручки, і коліночки, — и их расцеловала, я потому и запомнила. А потом сердито сказала папе: — Всі від мамки твоїй. Дурень ти, Вовка».

— Неужели и это помнишь?

— Ещё как! Мне уже четыре было. Помню, как прабабушка нечаянно наступила на пушистого цыплёнка. Как я плакала! Мы с ней похоронили его в саду под яблоней... Помню, злой петух меня клюнул в руку.

— Ты пыталась погладить его гребешок.

— Он же так смешно танцевал, вставал на цыпочки.

— Он кур защищал.

— Из-за меня его за ногу к бревну привязали... Помню, прабабушка носила коричневый тёплый платок с бахромой. Завязывала так, что бахрома свешивалась вокруг лица, словно грива льва. Прабабушка усаживала меня на колени, целовала, а мне щекотно. А она тихо плакала. И так всякий раз, когда мы приезжали. Позже я поняла, она жалела во мне свою дочь Ульяну, жалела и папу: «Фашисти прокляті розстріляли Улю на очах у Вовки, і батька його теж убили... Сирітка моя»...

— Баба Ганна очень любила папу. У неё было двенадцать детей. Не все в войну выжили, но внука она подняла...

— Мам, а вот ещё — яркой вспышкой: огромная пустая комната с огромным окном. Мы с папой гоняем по полу резиновый красный мяч.

— А-а, это мы переехали в другую коммуналку, в соседний дом. Получили две большие смежные комнаты: зал двадцать пять метров, спальня шестнадцать. Тебе

было два. Только вошли, ты как начала бегать по залу, круги нарезать, визжать и смеяться. Мы тоже смеялись, глядя на тебя. Простор. Вы с папой каждый день гоняли мяч, пока мы не купили мебель.

— У меня тогда появилась кровать не с деревянной решёткой по бокам, а с сеткой, как манеж.

— Верно.

— Кровать стояла за шифоньером, напротив большого окна.

— В спальне было два окна, угловая комната.

— У меня было розовое одеялко в клеточку.

— Было.

— Я подолгу смотрела в окно...

И сейчас как будто вижу. Распахнутые настежь рамы. Зелёные ветви деревьев. Небо. Песочного цвета стену соседнего дома, по ней гуляют солнечные пятна, и я «гуляю» с ними. Иногда в их солнечности проносятся крикливые стрижи, немые золотистые стрекозы. Где-то чирикают воробьи. Свет и тени тихо-тихо ползут по стене дома, меняют форму, исчезают.

Темнеет. Умолкают птицы. Запевают кузнечики. Их стрёкот задаёт неведомый ритм, под него подстраиваются звонкие сверчки: один, второй, потом откуда-то издалека — третий, потом — ещё, ещё. Волшебный щемящий звон захватывает и растворяет в себе всё, что за окном, и всё, что в комнате. И меня. Край неба становится фиолетовым, почти чёрным. Бабушка, мы с ней живём в спальне, включает лампу — маленькое солнышко под потолком, прикрывает и зашторивает окно.

Шторы тёмно-зелёные, изумрудные, с жёлтыми и коричневыми квадратиками — красивые, но загораживают небо. Но когда бабушка выключает лампу, оно снова входит в комнату звуками летней ночи, пятном луны, просвечивающей в каком-нибудь квадратике штор. В отличие от солнца, всегда ощущаемого чем-то вещественным, чем-то ласковым в своей далёкости и опасным вблизи, тем, что наполняет, как... горячий чай, луна видится

дырой, манящей прорехой, через которую смотрит небо, и через которую, если суметь в неё заглянуть, можно увидеть его дно.

Поющий сверчками свет проникает в комнату сквозь найденные в шторах щели, дотягивается белыми полосами до моей кровати, ложится мягкими лентами на одеяло — так осторожно, бережно обнимает меня небо. Я сощуриваю глаза. Свет луны рассеивается и превращается в сахарную посыпку бабушкиного пирога «кух».

Вдох

Татьянина ковидная эпопея была немного абсурдной, смешной, и одновременно немного грустной, чем-то отдаленно напоминала рассказы любимого ей Фазиля Искандера.

Длилась она почти полгода, потому что на фоне Таниного иммунодефицита, доставшимся после прошлого лечения химиотерапией, она попала в ту самую группу риска, про которую так много писали в интернете.

А может и по каким-то другим причинам температура держалась несколько месяцев и периодически превышала 38,5. После этого срочно назначали очередное КТ и укладывали в больницу. Объем поражения лёгких 50 %, дикий кашель, одышка, большие и маленькие сюрпризы, которые принёс с собой вирус. Хотя грех жаловаться, у других было и похуже.

Очередной пакет со снимками вручала предельно вежливая, улыбающаяся девушка — администратор платного медицинского центра. Бесплатную квоту приходилось ждать несколько дней, а делать всегда надо было срочно. Вот и плати за срочность и улыбку администратора. А дальше — новые назначения, очередная попытка лечиться дома, заброшенное хозяйство и работа мужа, тоже заброшенная ради троих детей — их всё время надо куда-то везти: в садик, школу, кружки. Хорошо, что муж — фрилансер.

* * *

Снова температура за 38, которую невозможно сбить. Танина мама переехала к ним помогать, варила обеды, обтирала Таню водкой, проверяла уроки. А от Тани по-

мощи никакой, слабость раздавила и унынием по рукам и ногам связала. А ещё угнетало то, что столько доставляла близким хлопот и забот, не привыкла так жить...

В общем, эпопея почище, чем предыдущая, с «химией»... Как-то ночью температура под 39 поползла, снова обтирались и ждали, когда спадёт. Мама нашла в интернете репортаж знакомой журналистки из ковидного отделения. В материале было много пафоса и несуразицы. Хохотали. Особенно над фразой, что тем, кто попал в это отделение, «лечат всё и сразу»...

На следующей день стало хуже. В этот раз пришлось ложиться в областную.

* * *

А первый раз был в районной больнице по месту жительства. Старенькое двухэтажное здание, бывшее детское инфекционное отделение отдали под ковид. Давным-давно лежала тут с дочкой во время гриппа. Боксы, раньше предназначенные для двух мамочек с детьми, теперь вмещали шесть кроватей. Вход с улицы в палату через туалет — так изолировали пациентов. Периодически проветривали, открывая дверь из туалета на улицу, пока никто не видел. Свежий морозный воздух хотелось откусывать, глотать, наполняться им.

Палата попалась разговорчивая. Обсуждали всё подряд: мужей, детей, свекровей, саму болезнь и её лечение салом, пророщенным овсом, водкой. А ещё сыпались по Ватсапу и Вайберу охи-ахи друзей и родственников, изощрённые советы — заглянуть внутрь себя, простить обиды и понять, кого же надо простить, отпустить ситуацию и расслабиться, а потом запить всё это настоем шиповника.

Вечером дышали кислородом. В стене палаты была просверлена дырка для шланга. По нему из баллона, установленного в коридоре, поступал кислород. Ноу-хау местной больницы. Шланг был один, поэтому дышали по очереди. В него вставляли самопальную трубочку с двумя разветвлениями для носовых проходов. Баллон медсёстры таскали по коридору от палаты к палате.

Обход, как обычно, по утрам. Медперсонал упакован в специальные костюмы и защитные маски. Поэтому своего лечащего врача узнавали только по голосу. Однажды на обходе другой голос, другой врач:

— Тань, ты? Не узнала сразу! Это Вероника, помнишь? Надо же, где встретились...

— Господи, Вероника! Вас узнаешь тут в этом облачении! Ты здесь разве работаешь?

— Да нет, конечно! Нас периодически перебрасывают в это отделение. У меня дежурство сегодня. Так сейчас и работаю — сутки через двое. Девчонки мои совсем заброшены.

Разговор был короткий, но окатил воспоминаниями. С Вероникой вместе сидели в декретном отпуске со вторыми детьми. Гуляли с колясками в компании других мамочек. Устраивали для малышей на улице совместные праздники, дни рождения, ездили вместе на речку. Было весело, беззаботно и как-то солнечно. Тане вдруг вспомнилась последняя осень перед выходом на работу. Долго стояло тепло. Бабье лето растянулось на несколько недель. Гуляя, ушли далеко в посадки, детвора каталась в листве и в брызгах последнего солнца. Смешались золотом летние и осенние краски, и стало вдруг немного грустно от чувства, что скоро всё закончится.

И правда, осенью многие вышли на работу. Татьяна и Вероника в том числе. А потом Вероника переехала в другой район, и связь как-то потерялась...

* * *

В областную больницу положили уже в пульмонологию. Но при оформлении в отделение просили в палате не говорить, что недавно после вируса. Мол, там больные с хроническими легочными заболеваниями, они боятся этой заразы. Дали заполнить анкету на двух печатных листах — обилие вопросов про течение болезни, а в конце следовало указать своё эмоциональное состояние. Температура шпарит, эмоциональное состояние угнетённо-

тревожное... А ещё новая палата, новые соседи, и после морозного декабря уныло-слякотный январь.

Странно выглядел первый осмотр и разговор с лечащим врачом:

— Расскажите, как у вас всё начиналось.

Татьяна осеклась, вспоминая, что нельзя пугать соседей перенесённой болезнью. Вдруг ей захотелось подмигнуть врачу:

— Температура, кашель, состояние как при гриппе. Но это не то, что вы подумали, доктор!

Получалось довольно глупо... Соседки по палате внимательно следили за ходом разговора. Через несколько дней выяснилось, что половина отделения таких же, как Татьяна, с ковидным прошлым. Соседки попались тихие, комфортные.

На второй день в палату положили Галину. Вернее, перевели её из «красного» отделения. Из другого города приехала с мужем навестить детей, а теперь осталась одна... Здесь заболели вместе с ним, лежали в одном отделении в соседних палатах, он не выжил. Галина всё время плакала и почти не вставала. Через неделю начала разговаривать, но женщины лишнего не спрашивали, только слушали её. Тяжело и горько...

* * *

Ночами почти не спали. Оказалось, что ночью нет дежурного врача, потому что все в «красном» корпусе. А медсестра одна на весь этаж. Если кому-то становилось плохо, то он просто начинал кричать, кнопка вызова не работала. Первая ночь в отделении и мужской крик: «Помогите!».

Татьяна вскочила и босиком, в майке и трусах, понеслась в сестринскую. Там оказалось закрыто. В коридор выскочили ещё несколько человек, побежали по соседним отделениям. Свой телефон медсестры не давали. Через час наконец-то подоспела реанимация.

И всё же были дни светлые и радостные. Несмотря ни на что. Когда вдруг яркий солнечный свет в окно, снова

мороз, снег. А за окном — громадные ели, и можно представить, как они пахнут, напитываясь зимней влагой и чистотой.

Татьянина кровать стояла рядом с подоконником — повезло. Можно утром пить чай прямо на подоконнике, отвернувшись ото всех. И смотреть на эти ели, стремящиеся в бесконечность зимнего неба. Вот оно, счастье! Просто так, на ладони. Бери и дыши им. Оно, оказывается, может быть безусловным. Счастье само по себе, а всё человеческое — боль, страх, потери — отдельно.

И вот случаются такие минуты касания. Правда, врачи говорили, что это всё от дексаметазона, который им капали... Эйфория от него бывает.

Ну и пусть...

* * *

А потом в палате появилась Ольга, остроумная, светлая, жизнерадостная. Светло-серые пронзительные глаза, от них ниточками морщины бегут по лицу. Молодой, хрипловатый, заразительный смех и отсутствие возраста. Татьяну поразило, когда медсестра обратилась к ней «бабушка»! Надо же, бабушка! Оказалось, что Ольге за семьдесят. Она много читала, рассказывала о своей жизни с мужем в военных гарнизонах, о детях и внуках. Рассказывала так, что все отрывались от телефонов, кроссвордов, вязания, слушали и вдыхали Ольгино жизнелюбие.

Ее часто навещала старшая дочь, шумная и, как сначала показалось Татьяне, эксцентричная. Ольга потом рассказала, что у дочери умер ребёнок несколько лет назад.

— Боролись долго за внуку. За границу ездили. Порок сердца очень сложный. Дотянули девочку до восемнадцати лет... Красивая была. Как потом уговаривала дочь, чтобы ещё родила!.. Сейчас у неё малыш есть...

И растаяла вдруг вся напускная эксцентричность в глазах Татьяны. Всё в глазах наших, весь мир, как мы его видим.

Ночью Ольга почти не спала, дышала тяжело с хрипами, потом извинялась перед всеми, что спать не даёт. В выходной её пришёл навестить внук, взрослый студент. Принёс фастфуд и пиццу. Заварили свежий чай, ели всей палатой, смеялись. Внук-студент так же остроумно, как и его бабушка, рассказывал, как сдают сессию онлайн.

А потом Ольге стало плохо. Дежурный врач по выходным был один на одиннадцать этажей, потому что остальных перебросили в ковидный корпус. И никто в этом не виноват, никто. Ольга потеряла сознание, упала, стала задыхаться. Начали поднимать, помог мужчина из соседней палаты. Сам надел ей кислородную маску, измерил давление, насыщение кислородом. Прибежала медсестра, долго ждали реанимацию... Ольги не стало.

На следующее утро пришла Ольгина массажист. Санитарка убирала её постель, собирала вещи в пакет:

— Пархоменко? — массажист кивнула на кровать.

— Да.

* * *

И снова снегопад в окно, чай на подоконнике... и — вдох. Снова вдох, жизнь пульсирует в венах здесь и сейчас. И снова счастье в одно касание облаком зацепилось за ели.

Ночные ангелы

Бабушку мою тоже звали Лидией...

Ну и что?!

А ничего. Я сама это понимала. Но когда впервые получила от Черепановой открытку с корявым старческим почерком, сердце моё сжалось над короткой подписью: «Твоя Лида».

Ну какая «моя»?! Совсем посторонний человек. И почему, почему моя душа должна постоянно болеть о ней? В конце концов, у неё в деревне есть и родственники, и просто соседи...

Но разве об этом речь? Мою бабушку тоже звали Лидией. Вот и всё. В нашу первую встречу я так и сказала Черепановой радостно: «А мою бабушку тоже звали Лидией!» Лидия Никифоровна улынулась сдержанно, и взгляд её, кажется, потеплел... Нет, он должен был взвыть горестно: у неё-то нет и не было внуков! Потому что и детей не было, и мужа не было... Наверное, она подумала тогда: вот бы у меня была такая внучечка... «Приезжай! — сказала она на прощанье. — Ты мне как родная стала... Добрый ты человек. Я уж как не люблю таких, что должность заимеют и — гордые!»

И я приехала ещё и ещё. А между поездками получала открытки с короткой подписью: «Твоя Лида».

Я поняла потом, в чём дело. В них, во всех пожилых женщин, я вглядывалась, как в свою бабушку, с которой не дано было мне поговорить в зрелости. Я рисовала их словесные портреты, словно её портрет, который так и остался недописанным. Я нуждалась в мудрости и тепле этих женщин — потому что была неприкаянной после смерти своих стариков.

И нигде, ни на ком не могла остановиться — потому что это каждый раз была всё-таки не моя бабушка, не моя земля!..

Но они меня сформировали, эти женщины! А я и не заметила. Наивно думала, что правильно мыслила сразу, сама по себе, от рождения смелая!.. Как бы не так! Стоит только в дорожные блокноты заглянуть — и всё ясно станет. Я ведь каждое слово за ними записывала, чтобы потом для газеты только выстроить логично, — никакой отсебятины...

А уж говорить-то они умели! Но Лидия Никифоровна — особенно. Грамотная была.

— Отец наш у попа учился, — рассказывала, — первый был ученик. Я пришла как-то, а поп и говорит: «Чья ты есть такая, скажи? В какой класс ходишь?» Всё выпрашивает. Ну, я сказала чья, а он и говорит: «Ты должна учиться!» И стали они мне давать книжки детские. Я выучила их чуть не наизусть! Вот пришла отдавать, а поп и говорит: «Ну-ка, Никифоровна, как ты понимаешь в учёбе?» Я и начала рассказывать. А он меня гладит по голове: «Молодец, молодец! Вот хорошо, вот у тебя понятие хорошее! Надо тебе учиться...» И вот приходит как-то мужчина и говорит: «Хозяюшка, у тебя столько девочек, пошли которую учиться!» А я четвёртая была по счёту. Старшие-то по хозяйству помогали — у нас хозяйство хорошее было, скота людно. А мне мама и говорит: «Пойди когда, тебя ещё не почто дома держать!» Вот я и выучилась читать...

А грамотных у нас в деревне не было. Вот я как только книги не добывала! Всех обегая. Если приедёт какой торговец в край, дак ему скажут: тут вот девочка есть, дай ей книжку! Тогда ведь худо было — чернил не было, а букварь был один, а нас четыре девочки ходили, и листок каждый сам по себе... А потом старшая сестра вышла в замуж. Мама и говорит: «Я вас пою, да кормлю, да одеваю, а вы эдак убежите? Мне такую неприятность принесёте? Не ходи больше учиться». Закон! Не уйдешь. Вот и стала я дома.

Скота-то много было. Пять коров, дак пять и телёнков будет, а овец-то сколько, да поросята, да куры, да телята — всех надо накормить! Так целый день и ползаешь... При маме нельзя было читать. Я когда залезу на печь да книгу-то утащу, она и заглядывает: смотри, ты пряди! Опять за книгу? А сама-то любила слушать, если интересно. Потом мне стала говорить: «Ты не ходи на беседу, я тебе лучше сказку расскажу». Она много сказок знала! Вот она мне сказку расскажет, а потом я почитаю книгу — она послушает...

Я так всю жизнь и читала, как время было. В колхозе-то не было, а когда на базе работала или в магазине — было. Я тихо, конечно, читаю. Но были у нас в раймаге и грамотные, одна учительница была. Мы кончим работу, соберёмся в будочке и до вечера, а то и до ночи читаем, если попадётся хорошая книга. Был там кладовщик, дак всё нас ругал: опять несёт вас со своим книгам! А мы почитаем, да и оставим. И он тоже увлётся: и меня, говорил, вовлекли! И он не идёт домой, читает. Хорошее это дело...

Вот так разговорились мы с Черепановой в мой первый приезд. Подивилась я, что на столе у неё книги. У молодого человека не часто их в деревне увидишь, а тут...

— Это мне девочки из библиотеки носят!.. Больше всего мне французские романы нравятся, — принялась пояснять она. — Как в этом вот, «Жизнь» Мопассана... как Жанна там всех любила, как целовала всех букашек, выйдя из монастыря. Думала, что такая вот и есть любовь. А этот подлец... Как его?

Лидия Никифоровна поглядела на меня, ожидая помощи, но не дождалась и закончила:

— Очень жалела я эту Жанну!

— Да, женская судьба повсюду незавидная! — согласилась я, подводя к нужному мне разговору. — Потому и песни, наверное, грустные сочиняли.

— Конечно, поэтому, — согласилась Черепанова. — Раньше всё больше про любовь да про измену пели. Ведь

как было? Вышла — значит, надо с мужем жить. Вот и плакали через песню... — И неожиданно затянула: — Тёмной ноченькой холодной скрывался месяц в облаках. На ту зелёную могилу пришла красавица в слезах...

А я вспомнила вдруг ярко нашу первую встречу. Расположились перед зрителями Вологды рослятинские женщины — кто лапти сидя плёл, кто стоял рядом, подпевая солистке. Была в группе и мастерица Ржевская, одевшая потом в свои домотканые сарафаны целый молодёжный коллектив... Но главной фигурой была, конечно, Лидия Никифоровна Черепанова. Она сидела посреди сцены со своим подогом, как царица с жезлом, и высоко-высоко, для других недоступно, тянула:

— Закатилось красно солнышко-о за тёмные за леса-а,
Все-ти пташки приуныли, час единая не спо-оёт...
Как под деревом ветвистым стоит хижина-а но-ова.
Что во этой новой хижине призадумушка-а жи-ила,
Ой, какая призадумушка, она солдатская-а-а жена-а...

Специалисты за моей спиной только охали восхищённо — не слыхивали такого исполнения!..

Для Лидии Никифоровны то была первая и последняя дальняя поездка: больше ноги не позволили путешествовать. Поздненько создали у них фольклорный коллектив... И вот сидела теперь она в глуши в одиночестве со своим уникальным голосом и вздыхала:

— Эх, когда я в моготе-то была, и ездить бы! С концертом-то я никогда не отказалась бы, если бы ноги ходили. Свезут бесплатно, и накормят, и на людей посмотришь на добрых. Я ведь прежде всегда на людях была!.. Это ведь не позорно, с песнями выступать, это культура. А наши старухи смеялись... Чего? Когда каждый день с водкой пируют, им любо, а тут — нехорошо... Теперь вон старину-то стали любить. Все прежние песни подняли и по радио, и по телевизору. Только вот думаю: почему нынешние-то авторы, также грамотные, а сочинять не умеют? Вон ведь какие песни были про любовь, про жизнь... «Плещут холодные волны...» — вон ведь как сложено! Или возьми «На муромской дорожке», «Как

родная меня мать провожала», — она листала старый потрепанный песенник. — Эта дак песня по тому времени справедливая! Вон как мать говорила: «Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты! Без тебя большевики обойдутся!» Не понимали ещё мамы новой жизни...

— А что? — спросила я с подвохом, — шибко хорошая жизнь получилась?

— Хорошая, не хорошая, но жили по совести, — отвечала она. — Нас не гнали на работу, мы сами шли. А теперь совести не стало у людей... У нас вот, у доколхозных, никто не спрашивает, как надо жить. А когда бы спросили, я бы ответила: русского мужика нельзя кормить досыта! Он только впроголодь работает в охотку!.. Раньше, когда жили единолично, то где хороший хозяин был, там и жили справно. Натуру человеческую надо знать. Почто вот Брежнев всех так распустил? И этот ведь, Андропов, рядом ведь с Брежневым был, чего же молчал? А теперь где ему всё исправить, Брежневу? Не успеть... — Лидия Никифоровна кивала на телевизор, где показывали нового «главу». — И почему у нас молодых править не ставят, а?

Ну что я могла ответить, если тот же самый вопрос жил давно и во мне, и во всех? Разумней было слушать, что я и делала благодарно.

— Жизнь-то нам дана всего 60–70 годов, и ту не можем прожить на славу... Я вот шью или вяжу, а всё телевизор или радио слушаю. И вот я как думаю: надо сразу разоблачать человека! Вот за столом с ним сидишь, и говори, что не туда, мол, поехал ты, брат... Сталина обругали, этот Никита. А ведь все видели! Надо было очурать его: не туда пошёл, мужик! А молчали. Вот и дела такие... Где вот клевер теперь, где семена его? Хоть бы престарелые засушили да выколотили... Того времени частушку знаешь? Травопольная система, до чего ты хороша. В поле травка да цветочки, а в амбаре — ни шиша!

...Да, знали бы они, эти доколхозные люди, что будет у нас ещё похлеще! Конфеток старухам в деревню не возят — дефицит... Ради этого они спину гнули? Ради того,

чтобы дрова раздобыть и распилить — за водочный талон? Это вверху взгляды менялись, у руководства, то в одну, то в другую сторону нас заносило. А у тех, кто держался за землю и знал её, у тех всегда всё было чётко и ясно: работать надо! Честно!

— Что вот нынче по десять, по пятнадцать лет учатся. А потом ещё работать учатся! А мы с семи лет на кусок зарабатывали, сразу понимали, что к чему... И правительство наше — ведь не поработает, а деньги получит! Вот и нечестно всё поэтому. Никто теперь работу не мерит. И только старые люди переживают, что всё плохо... Нет, нельзя больше эдак жить! В любом деле надо совет с народом держать, со старшими...

Думаете, стала бы я записывать это откровение, когда уже всплыло у нас странное понятие «человеческого фактора»?.. Нет, Черепанова, как и миллионы простых людей, всё чувствовала правильно и до того. Да никто её не спрашивал. Ни из Москвы. Ни из области. Ни из района. Ни из колхоза. Сиди себе, бубни под телевизор и не лезь не в своё дело!

Кого виню? Не исполнителей высшей воли, во всяком случае. Они тоже были неправы. Да и я, знавшая Лидию Никифоровну на протяжении тех смутных лет, когда у нас менялся глава за главой, я тоже не потрудилась обнародовать её мысли. Не ахти какие гениальные — а по сегодняшним меркам и вообще устаревшие! — но так нужные в то время! Почему же не спешила я с публикацией? О многих менее мудрых женщинах писала, а тут... Или тоже опустили руки? Боялась, что редактор не отважится ставить необычные мысли в полосу? Ведь сняли же в своё время из партийной газеты мой очерк про обгоревшую трактористку Катю Осекину, только молодёжка и осмелилась его напечатать... Или я перестала верить, что слово способно что-то изменить? Пишешь, пишешь, а в душах у тех, от кого хоть что-то зависит, никакого отзвука! Честно ли тогда складывать горячую строчку к строчке только ради гонорара?..

А теперь вот разобралась я в наших давних с Черепановой разговорах — и снова поразились государственно-сти мышления рядового человека.

— Погляжу вот в окно — лучшее поле два года пустует! Так и вспомню стихи: «Поздняя осень, грачи улетели... Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она...» Нет, у нас такого никогда не было! Повывели народ из деревни. Почто бы вот выжили из маленьких, из дальних? Они бы жили там и работали. Летом и косили бы. А теперь эти сенокосы зарастут!.. А коров почто столько пускают? Лучше бы меньше, но лучше кормили. Вроде и не страшные коровы, а вымени нет. Значит, не продаивают. Раз нет, два нет, вот она и убавит вполонину... Я все ночи не сплю, всё думаю, думаю, как дело наладить...

Похоже, они параллельно думали, Черепанова и наши нынешние правители. Как друг у дружки подслушали мысли!

— Правильно Горбачёв постановил, — говорила мне Черепанова в последний мой приезд, — надо назначать в руководители того, кто знает землю. Я не понимаю, почему так деревню ведут? Ведь чем беднее человек, он за хлеб всё отдаст. Без деталей заводских ещё можно прожить, а без хлеба — нигде ни у кого не получится! Значит, надо в деревне условия создать лучше, чем в городе, тогда у нас и будет всё!

Будет, наверное, будет. Только им, старикам нашим, на этом свете покоя и довольствия уже не знать. Не дождутся. Одно у них переживание осталось:

— Кабы без этого военного пугала, жили бы и жили, и все бы неполадки можно уладить!

Только здесь, неопытная в международных делах, моя деятельница подкачала: не смогла предвидеть грядущих на планете перемен.

— Американцам стыдно бы должно быть — зачем людей убивать? Не скотина ведь! Коммунисты, не коммунисты, а все умрут. Почто же убивать? Пожалеть надо... Вот Джонсон, Кеннеди — эти дружили с нашими.

А потом чего-то раздружились. И что нам делить с американцами? Мы к ним не пойдём, а они к нам не согласятся — некультурно, скажут, у вас и холодно... Вот и надо, значит, дружить.

Кто бы спорил!..

Ах, Лидия Никифоровна, далёкий добрый человек! Жива ли она теперь? Давно не шлёт мне открыточек. Руки на груди сложила или — очки подвели?

Когда она приезжала выступать в Вологду, сводил её кто-то к окулисту, рецепт выписали. Радовалась старуха, бандерольку из Вологды ждала. А девушка та сердобольная переехала куда-то, устраивая личную жизнь. И не смогла я сыскать концов той дорогой бумажки... А в Рослятине давно ставку глазного ликвидировали — не положено! Езжайте в райцентр!.. Это с больными-то ногами...

— Давай хоть линейкой померим! — просила Лидия Никифоровна, когда я объясняла, что надо непременно знать расстояние между глаз, иначе очки не купишь. Наверное, обиделась она на меня, решила, что трудов я испугалась...

Видят ли сегодня её глаза книжные строки, или довольствуется она голосом радио?

Починил ли ей кто самовар? Я долго и бесполезно пыталась прочистить ломкой проволокой забившийся краник...

Не забыть мне последней нашей встречи. Я приехала летом, после обеда, и в аккурат угадала к работе: Лидия Никифоровна выдёргивала из гряды лук. Долго она не видела, что я подхожу, а когда разогнулась, то совсем не удивилась и не ахнула. Это когда ждут тоскливо изо дня в день, тогда и радуются сильно. А ей меня чего вспоминать было? Залётная птица...

Поглядывая на тучу, мы перетаскали лук на крыльцо. И там, когда уж хлынул ливень, долго сидели и со спокойной душой обрезали его, готовя для батманов.

Дождь лился долгий и мощный. Закончив дело, я стояла одиноко на крыльце и с первобытным чувством ужа-

са смотрела на мутную падающую стену. Не верилось, что где-то на земле может быть тепло и сухо...

Черепанова нарушила моё оцепенение, выйдя к застрехе с пустым ведром. Все бачки, тазы и корыта давно были полны воды, а мне ни к чему... Она пристроила под поток новую бадью и исчезла в доме, провожаемая грохотом струй.

Я поняла вдруг, что надо делать. Зашла в избу, быстренько собрала половики и принялась намывать незамысловатые хоромы. Особенно старалась собрать пыль по углам и под кроватью, куда хозяйке было не залезть...

За это время Черепанова нажарила картошки и согрела чайник. Тучу отнесло далеко, к горизонту, и из-под неё выглянули прощальные лучи. Улыбаясь им, я вымылась из бочки дождевой водой и села за стол. Мы по семейному отужинали, строя планы на завтра. Посмотрели телевизор.

— Ну почто же они так! — опять ругала Лидия Никифоровна американцев.

— Богу молятся, а убийством занимаются! Жили бы все в мире... Одно переживанье из-за этого телевизора. А меньше знать лучше! Вон ко мне придёт соседка вечером, как до стула коснётся — и спит уже. А я всё слушаю, слушаю — и потом ночь думаю, не сплю...

Ворочалась она и в эту ночь. Но всё-таки уснула. Утром нас ожидал поход в лес. Я не могла отказать старухе в такой просьбе — сопроводить её по дорогим местам.

— Одна-то боюсь, — пояснила она, — у нас соседка померла нынче в лесу...

Проснулась я сама и, не обнаружив Лидию Никифоровну в постели, сунулась к окну. Утро было туманное — в двух шагах ничего не видно...

Столкнулись мы на крыльце.

— Баню вот затопила, — спокойно сказала Черепанова. — Вишь, — махнула рукой, — как бело! Если поднимется — не будет дождя, а если падёт...

К девяти часам туман рассеялся вверху, и мы отправились в ближний лес. Паутины на ёлках были ещё в росе

и красовались сверкающими на солнце узорами. Трава тоже была сырой, но нас спасали сапоги.

Черепанова брела по кромке леса, не обращая на меня внимания, погрузившись в себя. Только палка её мелькала впереди, разыскивая в зарослях грибы. Ничего, конечно, не встречалось. Да и лес был какой-то неуютный, чужой. Я откровенно тосковала по нашим сосновым деревенским просёлкам... А спутница моя сияла! Это было странно и — понятно.

Она и дома потом долго была сдержанной и торжественной, точно вернулась не из лесу, а из церкви. И только возле шкафа, готовя бельё для бани, внезапно сникла.

— Бархат вот на гроб у меня припасён, — показала она небольшой отрез.

— А может, мне не здесь и умирать-то придётся, а в доме престарелых... Некому за мной ходить... А платей-то столько останется — куда?

Ничего я ей тогда не ответила. Горько и зябко стало, как когда-то рядом с бабушкой. Так всегда, наверное, бывает, когда повеет вдруг близкой смертью...

Мы долго сидели в бане, впитывая усталым телом тепло. Лидия Никифоровна изредка взглядывала на меня, точно сравнивая с собою, и сказала наконец:

— Я как будто вчера была молодая... И вот на́ тебе! Потому и думаю — неправильно кто-то сделал. Надо бы жить-жить, да и помереть сразу! Ведь что старые? Только маются...

— А вот давайте я вам здоровья наворожу! — весело сказала я, вспомнив бабушкину приговорку. — Ну-ка, где у нас берёзка?

Черепанова вынула из котла намокавший там веник, встряхнула и оглядела его, умилённо поворачивая:

— Вот берёза — тоже божественное дерево. Сколько про неё песен и сказок сложено!

— Да, — коротко согласилась я и принялась похлопывать Лидию Никифоровну по спине веником, приговаривая, — Ехала из-за моря хавронья, везла целый короб здоровья. Тому-сему хлопок, а Лидьюшке — целый коробок!

Потом Черепанова отдыхала в предбаннике, тяжело дыша. А я, выждав время, подровняла ей волосы и постригла ногти.

— Дай тебе Господь здоровья, — сказала она тихо и неумело погладила меня по голове. — Уж с этим, видно, и умру теперь...

— Да зачем же умру! — воспротивилась я. — Велики ваши годы!

Лидия Никифоровна промолчала, зная своё, и стала медленно намываться. Намылила мочалку и, кивнув на неё, сказала:

— За вехотку-то тебе какое спасибо! С ляточками! Одной-то хорошо, удобно... Как моюсь, всё тебя вспоминаю.

— А разве моя это?

— Твоя-а! В тот раз ты мне оставила... Вот я и берегу, из бани домой уношу, чтобы кто не взял тут.

Позже, напившись чаю, мы лежали в постелях, не желая засыпать, но и не имея сил разговаривать.

— Вот подумаю сказать что, — доверчиво жаловалась Черепанова, — и вдруг ровно шторой от меня закроет!

Я успокаивала её, как могла. А она спохватилась вдруг и потянулась к столу:

— Надо повесить крест-то на себя, а то умру — никто не наденет... — Вздохнув, она улеглась поудобнее. — Вот я всё думаю, почему у нас народ дичее всех оказался? Надо ведь было поломать все церкви! Вон у нас в Андреевской... Я так и заревела... Такое учреждение порушили — почто?! А с кладбищем что сделалось? Всё звала я женщин — пойдём вычистим, хоть мелколесье вырубим... Не пошёл никто...

И опять я смолчала, не зная, что отвечать. Права она была. Но она ведь ждала не согласия, а успокоения...

За окном совсем уж стемнело, я дремать начинала, когда Лидия Никифоровна вновь вдруг заговорила:

— А ещё я вот что думаю... Что я жизнь прожила? Не посмела закона нарушить. А ведь хорошие люди встречались... Один из прежних ухажёров звал сойтись, а не

пошла я — загордилась... Спета песня — снова не начнёшь!.. А женихов-то для нас не лишку было... Вот одна и прожила... А был бы у меня теперь ребёночек — всё бы не так одиноко. Какой бы это грех, правда? А ни разу в жизни против закона не пошла... Не могла.

Сквозь сон, борясь с ним, я пыталась запомнить, что и как она говорила, чтобы наутро записать, да так и не заметила, как провалилась куда-то...

Спала я плохо: пробуждалась, вертелась, силилась что-то вспомнить. И вдруг окончательно очнулась от странных звуков — точно плакал кто-то.

Я резко села на диване. Огромная луна проникала в окно, кинув по полу дорожку. А Лидия Никифоровна... она... она пела во сне! С лёгкой улыбкой на устах, молодая лицом, она лежала и пела, сама того не ведая! Какие добрые ангелы кружили над ней в тот миг? Что обещали? Никогда мы не узнаем...

Небо в августе

Рано утром на дачу позвонил муж и сказал: смотрите телевизор. Кратко сообщил, что будет с коллегами-депутатами из Межрегиональной группы и велел не приезжать в московскую квартиру. Телефон — редкость в нашем посёлке (спасибо бабушке — секретарю местной парторганизации) — стоял на тумбочке в коридоре, звонок разбудил всех. Бабушка немедленно включила маленький японский телевизор «Сони», который муж привёз из первой поездки молодых политиков в США в прошлом году. Все члены делегации тогда, выходя из зоны прилёта в Шереметьево, несли одинаковые коробки с техникой известной фирмы, оказалось, их перед вылетом завезли в магазин электроники. Но тогда они мне напомнили членов редколлегии газеты с коробками обуви «Саламандра» после закрытой распродажи. Я даже устыдилась такому воспоминанию... Но телевизор работал отлично, ярко передавал цвета и преодолевал несовершенство связи Подмосковья, нашпигованного военной техникой, разного рода локационными станциями и «глушилками». Хотя глушить вроде бы перестали, но сигнал отечественный «Рубин» принимал через пень колоду, изображение постоянно сбивалось. Японский собрат был на высоте.

По телевизору показывали «Лебединое озеро». Заныло под ложечкой, я вспомнила, как это уже было, на экране «Рубина», не так чётко, и было уже несколько раз, когда умирали вожди. В первый раз я не поехала на свою родину, в город Томск. Тогда с большим трудом я упростила коллегу, отвечавшего за десант нашей газеты,

включить меня, тогда ещё стажёра школьного отдела, в группу. Он сам был из Томской области, и поддержал. Но умер Брежнев, и десант отменили. Перед сообщением о смерти лидера тогда по ТВ бесконечно показывали балет Чайковского. Потом это стало чем-то вроде традиции... А потом началась перестройка...

Мама быстро сварила взрослым кофе, сыну кашу, мы переключали каналы. Наконец возникли новости, знакомая дикторша с перекошенным лицом и круглыми глазами назвала странное сочетание букв: ГКЧП. Я быстро собралась, села в машину и поехала в редакцию журнала, куда совсем недавно перешла из газеты. Лучшего в стране, как я была уверена, журнала.

Я бодро рулила «Жигулями», знакомый маршрут, мимо города Железнодорожного (бывшая Обираловка, где Лев Толстой бросил Анну Каренину под поезд, активисты готовили установление памятной доски в честь знаменитого романа и его героини на станции, наш журнал об этом сообщал), мимо чудом сохранившегося домика Андрея Белого перед тоннелем, мимо зловонной зверофермы (там выращивали и освежевывали соболей и нутрий), которую надо было пролететь, прочно задраив окна, хотя это не слишком помогало, по Горьковскому шоссе (бывший Владимирский тракт, по которому шли очень герои и авторы классических произведений), мимо Дивизии Дзержинского, на Шоссе Энтузиастов.

На шоссе со мной поравнялись танки. Я не сразу это поняла. Боковым зрением увидела что-то странное. Перед светофором замедлила ход (хотя светофор не работал, как оказалось). Рядом со мной, справа ехал настоящий танк, я заметила профиль молодого парня на башне. Потом танк обогнал меня, и рядом оказался ещё один. Какое-то время мы ехали рядом, синхронно, я и танк. Это было очень странно. Я видела, как шевелятся его гусеницы, слушала, как они скрежещут, как за спиной тоже скрежещут и едут... Я никогда не видела танков так близко. Я понимала, какая я хрупкая в своей жестяной коробочке. Страшно не было. Было именно странно. Потом

они меня обогнали. На мосту над МКАД я увидела длинную колонну гусеничных машин, корпуса отсвечивали на солнце, солнце светило в ясном небе...

Когда я приехала в редакцию, у нашего здания на Бумажном проезде уже стояли два танка. Автор нашего отдела, молодой, но уже становящийся известным детский писатель, разговаривал с танкистом, который высунулся из люка.

Наш журнал был одним из главных флагманов перестройки, он каждую неделю публиковал материалы и письма о том, о чём люди долгие годы думали, но не могли нигде прочитать, о чём разговаривали на кухне, когда дети заснут. Сюда приходили тысячи писем (отдел писем был самым большим), приезжали люди со всей страны, приходили иностранцы, и эмигранты, которым ещё недавно нельзя было попасть на родину... Тут собрались удивительные люди, очень разные, несхожего опыта, возраста, характера, — но все горели жадной перемен, обновления, отмены надоевших запретов, свободного общения... Мы хотели ускорить это освобождение... Каждый новый номер содержал сразу несколько совершенно революционных текстов и иллюстраций — будь то фотографии вождей революции без ретуши и «вымаранных» фигур репрессированных соратников, отрывки из последнего романа Аксенова, предсмертное письмо Бухарина, которое сохранила по памяти вдова, мемуары узников ГУЛАГа, или арестованные тексты Мандельштама, Бабеля, Хармса, рубрика — «Хранить вечно» публиковала арестованные тексты из папок с грифом «Хранить вечно» из архивов КГБ, правда об Афганистане, о сотрудничестве церкви и КГБ. И, конечно, очерки и расследования о современности — о мафии, антисемитизме, Карабахе, бедности, конфликтах, раздирающих уже окраины страны, о молодых людях, которые учились быть лидерами перестройки в самых разных городах и посёлках... Мы торопились на работу не как на службу, но как в своего рода дискуссионный клуб, где каждый день обсуждались небывалые вещи, мы, конечно,

чувствовали, что участвуем в сотворении истории... Одной из любимых редакционных шуток — было задание угадать, кого арестуют, если вдруг перестройка схлопнется и вернётся старый порядок. Конечно, мы все, включая самых юных, были в этом предполагаемом списке.

Девятнадцатого августа наш главный редактор читал лекции о перестройке в Америке. Многие журналисты были в отпуске. В зале редколлегии собрались все сотрудники и авторы, которые были в Москве.

Импровизированную летучку вёл заместитель главного.

— Работаем в штатном режиме, — сказал он. — Самое важное — собрать как можно больше информации и подготовить очередной выпуск.

Он был спокоен. Как, в общем, и мы все. Никакой паники, напротив, все собрались, даже приподнятое какое-то настроение. Пока шла летучка, приходили всё новые и новые люди, кто-то, как я, примчался с дачи, кто-то уже успел поговорить с военными. Рассказали, что те сами не знали, куда их подняли и повели, и ни в коем случае не собираются стрелять в народ, не выполняют такой приказ. Вернулся наш автор, детский писатель, сообщил, что воины за перестройку, и попросил секретаршу сделать бутерброд для юного танкиста.

Раздали задания. В Белый дом хотели пойти все. Ассистентка отдела писем умоляла взять её, потому что она закончила медучилище и умеет накладывать повязки. Решили работать в круглосуточном режиме, если потребуется, встречаться каждые три-четыре часа. Кажется, среди собравшихся оказалось больше женщин. У многих, как у меня, были маленькие дети. Никто не протестовал против круглосуточного режима, не отпросился. Мы все хотели, чтобы наши дети жили в свободной стране...

Мне поручили поехать на Конгресс соотечественников, который как раз открылся, туда приехали эмигран-

ты, иностранцы, в том числе наши авторы. Я помчалась в Институт мировой литературы, где проходил конгресс, но уже никого не застала, все уши на Манежную площадь на митинг.

Бросив машину, помчалась туда. Встретила знакомую преподавательницу с факультета журналистики, она сказала, что утром открылась конференции «О печати и её принципах», декан сказал в своём вступительном слове, что свобода слова остается и её нельзя убить. Вскоре после этого пришли бывшие выпускники с «Эха Москвы» и позвали на митинг.

«Все наши тут», — с гордостью сказала она.

Главный вход на Красную площадь был заблокирован автобусами с войсками.

Начал моросить дождь, Манежная площадь заполнилась разноцветными зонтиками. Тут и там выступали ораторы, призывая сопротивляться путчу, декламировали только что сочинённые стихи... В толпе гуляли слухи — о том, что демонстрантов хотят травить слезоточивым газом, что генералы планируют взорвать Кремль, что Горбачёва убили... Какая-то пара наладила тут же продажу значков «с нашим бывшим президентом»... На каждом шагу мы встречали знакомых, замечали узнаваемые лица в толпе, это воодушевляло... Возникло какое-то особое чувство единения со всеми этими людьми, в том числе с совершенно неизвестными. Это напоминало День 30-летия Победы, когда вечером мы с мамой шли по Кутузовскому проспекту, заполненному людьми, плыли в людской реке, в которой мешались песни, слёзы, обрывки каких-то фраз, были её частью...

Толпа двинулась к Новому Арбату, и мы вместе с ней... Толпа начала скандировать: «Ель-цин», «Ель-цин»...

Память о пережитом — это зафиксированные всполохи, осколки... Засевшие в сердце фрагменты мозаики. Подлинность их со временем кажется фантомом, как подлинность собственных поступков и реакций, которые

лукавое сознание норовит переиначить, перереформировать...

А некоторые детали теряются, оставляя лакуны...

Где всё-таки я припарковала машину? Кажется, я всё же свернула с Нового Арбата в переулок, к ИМЛИ, села за руль и поехала к маме забрать на всякий случай документы... И поехала потом по Калининскому мосту, видела Евтушенко на балконе Белого дома (он читал экспромтом написанные стихи «Белый дом, как белый лебедь...», но тогда слов не слышала, потом уже узнала). Там, в Белом доме, уже снимал наш фотограф Юра, оказавшийся, как положено репортёру, в нужном месте в нужное время, запечатлевший для истории всё там происходящее, в том числе спящего защитника, которого обнимает Ростропович, этот кадр потом облетел весь мир...

Видела Ельцина на танке, этот момент был — как кадр из кинофильма, резкий, отчетливый...

Вообще (или так казалось уже потом?) в эти дни очень многое выглядело слишком кинематографично, символично...

Под дождём примчалась в редакцию — нас уже закрыли, как и другие демократические издания. Уже бала создана «Общая газета», первый опыт профессиональной солидарности. А мы решили почему-то выпустить неподцензурный номер, нашли маленькую типографию, я возила на машине туда рукописи и фотографии... Потом эти материалы вошли в номер, выпущенный сразу после окончания путча...

Помню, как в редакции смотрели пресс-конференцию по телевизору, как Таня Малкина задала вопрос про госпереворот, как тряслись руки Янаева... Как пришёл факс от нашего главного редактора — он писал, что не имеет морального права нами руководить, поскольку не был с нами в тот час. И мы все согласились. Он приехал через три дня и попросился в отставку, мы её приняли. А главред лучшей демократической газеты наоборот,

19 августа рванул из Москвы в Крым, а когда вернулся, судился с коллективом, который его выгнал... Но это было уже позже...

Страха, если честно, я не помню.

Наверное, в какой-то момент было страшно, когда объявили комендантский час, а мы с друзьями под проливным дождём никак не могли вытащить из грязи в Десятинском переулке мою застрявшую машину. Когда потеряли сигнал «Эха Москвы» ночью со второго на третий день, слушали радио у форточки в квартире друзей на улице Веснина, там ловилось лучше всего. Ждали штурма, эти минуты без связи были мучительными... Когда сообщили, что в тоннеле под Новым Арбатом погибли трое. Страх, видимо, вытеснялся чем-то другим. Я бы не назвала это безрассудством, это было что-то совершенно иное. Что-то вроде неотвратимости участия во всём этом движении. Не помню, чтобы кто-то из друзей боялся или говорил об этом. Высоких слов типа того, что готовы умереть за свободу, тоже никто не говорил. Все сосредоточились на каких-то практических действиях. Для многих это была помощь «живому кольцу».

Главное воспоминание, навеки засевавшее в сознании, куда ярче Ельцина на танке — «живое кольцо» защитников Белого дома. Совершенно бессмысленный с точки зрения военного дела акт, ставший знаком демократического выбора, бесстрашным, отчаянным по сути прорывом к свободе... Смести его, конечно, ничего не стоило, и все это, как я помню, хорошо понимали. И про площадь Тяньаньмень ещё никто не забыл. Но было что-то совершенно алогичное, неподвластное доводам разума, что двигало в этот момент людьми, что влекло на эти самодельные баррикады, сцепляло и наполняло каким-то особым смыслом, давало силы, возвышало... Удивительное единство: тут рядом с пожилым профессором и московскими студентами возводили баррикады приехавшие из глубинки рабочие и педагоги, ветераны

и начинающие предприниматели... Молодых было большинство. Самоорганизация развивалась стремительно, инициативу взяли на себя люди с опытом, направляли вновь пребывающих. Баррикады строили из подручного материала, потом появились троллейбусы... Приносили медикаменты и перевязочные материалы, какие-то предприниматели наладили доставку бутербродов и горячего чая, разливали из термосов. Незнакомые люди мгновенно становились близкими. Не помню, чтобы пили спиртное. Вообще, настроение было приподнятое, непогода и слякоть его не изменили никак.

Информация передавалась из уст в уста, мобильных телефонов тогда не было. Телефоны в редакции и в домах друзей разрывались. По телефону передавали репортажи, последние новости...

У Белого дома я встретила своих американских друзей, Катю и Славу, они приехали на Конгресс соотечественников. Их история стала в своё время сюжетом мировых СМИ: познакомились в 1971 году в Сочи на пляже, молодая романтическая американская студентка, влюбленная в русскую культуру, и красавец блондин, хиппи, похожий на принца из сказки. Роман начался стремительно, но был прерван на семь лет, как в Библии — её не пускали больше в СССР, а его — к ней в США и вообще из страны, выгнали из института, он бомжевал, а она писала в ООН, Брежневу, Джонсону... Наконец, через семь лет, он прорвался на Запад, их первый поцелуй после разлуки в аэропорту Парижа был запечатлён в журнале «Тайм»... Слава приехал на родину впервые после побега. А с Катей мы уже были знакомы пару лет, она писала книгу у русской литературе и печаталась в нашем журнале. Мы видели друг друга на митинге 19 августа, потом я их на некоторое время потеряла из вида. В конце второго дня путча руководители «живого кольца» по громкоговорителю предложили женщинам отправиться домой, ночь обещала быть тревожной. В этот момент я увидела, как на баррикаду взобралась Катя:

— Я американская феминистка, — кричала она, — я имею право защищать русскую демократию!..

Когда закончился путч, над Белым домом сияло солнце. Был совершенно невероятный закат, яркие краски, и все очертания города в его лучах обрели какое-то особое совершенство. Люди вокруг пели, обнимались, выступала «Машина времени», кто-то ещё, у людей были совершенно удивительные лица. Ни одного уродливого или невыразительного, как будто свет неба, закат и что-то ещё высветило самые лучшие черты... Никогда не забуду того изумления — от того, как красив мой город и как прекрасны лица его людей...

Через день лица стали снова обычными.

Интересно, что через несколько лет, когда мы с Катей вспоминали эти дни, она помнила не этот ошеломительный закат, а дождь, грязь, в которую она упала и испортила любимую шёлковую юбку. И поверженную статую Дзержинского на Лубянке.

Все дни путча мой сосед по даче, который не мог оставить умирающую мать, писал дадзэбао на основе «Эха Москвы» и моих сообщений по телефону, и вывешивал на местном газетном щите возле почты. Бабушкин телефон был великолепным средством связи.

Вечером после окончания путча все друзья собрались у коллеги Мидхата на улице Горького, в исторической квартире, где когда-то жила его тётя, известная писательница. Муж, как всегда, взял гитару, его любимые Окуджава, Шпаликов, Ким... Сохранилась запись этого вечера, любительская, снимал актёр, который уже давно от нас ушёл.

Мужа нет уже двадцать лет. Ушли из жизни мои любимые университетские преподаватели, великие и просто талантливые авторы нашего журнала, торопящие историю, близкие друзья и коллеги, русские и американские участники тех событий.

Мой дачный сосед-писатель пишет по мобильному телефону новые дадзэбао в чат защитников парка посёлка,

отважно противостоя коррупционерам-чиновникам, которые уже продали наши лужайки и сосны под застройку коттеджей. Стационарных аппаратов уже ни у кого нет, не только в нашем посёлке, но и в Москве, в цифровую эпоху это очевидный анахронизм. Новое поколение диктует свои правила всем, старшим в том числе.

Мы гуляем по ещё не вырубленным рошицам, где выросли наши дети. Там, как и прежде, гуляют молодые мамы с колясками, играют малыши. Сверяются с гаджетами, обсуждают курс доллара, размер пособия на детей, и куда пролетел вчерашний дрон. Смотрят на небо. Там ни облачка, жаркое солнце, яркая синева.

Мне снова чудится небо того далекого августа, и почти библейский закат, очерчивающий контуры зданий, и профили, и глаза, и скулы москвичей. Почему-то я думаю, что снова ещё раз увижу его.

...Какие прекрасные лица у детей.

Бабушка Маруся

Посвящается Марии Арсентьевне Гореловой

«Мычки умеешь считать и хватит», — сказал отец.

Идти наперекор отцу было невозможно. Она была самым старшим ребёнком в семье. Родилась Маруся в 1915 году, больше ста лет назад, в семье крестьян Арсентия и Веры. Родители её были бедные, но у них было всё необходимое: деревянный дом с русской печкой посередине, коровы, куры, гуси и даже любимая Марусей лошадь Копчик, которую Маруся сама выходила, отпоила молоком и очень любила.

Мать у неё была добрая, работающая женщина, вставала она до зори, доила корову, гнала её на пастбище, и длился её трудовой крестьянский день, который заканчивался далеко за полночь. И так с 17 лет, когда отец насильно выдал её замуж за Арсентия, которого она до свадьбы видела один раз. Арсентий Петрович, или просто Петрович, звали его односельчане уважительно. У него было образование: четыре класса церковно-приходской школы. Работал он счетоводом, а это по тем временам — очень почётно. К деду шли со всей округи не только из своей деревни, но и из близлежащих деревень. Шли обсудить новости из газет, составить заявление, какую-то просьбу. Чаще приходили женщины прочесть письмо от родственников или написать ответ. Грамотных в деревне было немного, и всем он помогал.

Арсентий плёл лапти из лыка, сдавал в колхоз, за что получал какие-то деньги. Арсентий — высокий, с большой силой в руках, строгий мужчина, полностью

подчинивший себе жену, бил её сильно и часто, кричал, и доброе слово никогда не сказывал. А Вера смирилась с этим, так и жила, не желая себе другой доли. Спала на голой лавке у печи и тому была рада. У неё была там своя лежанка, так ближе к скотине подойти. Вера — тихая, маленькая, незаметная. Накрывала Вера на стол, муж садился на большой деревянный стул и в разговоре с односельчанами покручивал по давней привычке свои большие знаменитые усы. А Вера к столу не садилась. Она сначала мужа кормила всегда, а потом, что оставалось, сама доедала. Вера была неграмотная, читать не умела и расписывалась крестиком. Но к ней шли люди совсем по другому поводу. Веру в деревне все любили, чуть кто захворает, тут же к ней бежали. И славилась она на всю округу своей добротой и заботой о больных людях. И не только людей она лечила, а и коров, свиней. Она что-то пошепчет, наговорит на воду, какие-то травки людям даст. А скотина в деревне очень дорого стоила, она же кормилица. Особенно корова.

Много работы в деревне, а у Веры всегда в палисаднике росли бордовые георгины. Ни у кого в деревне не водились, на тот момент это было в диковинку. А какой хлеб она пекла в русской печи. Ржаной хлеб с картошкой на дубовых листьях. Далеко в других хозяйствах говорили: «Езжайте в Нешево к Вере», — и все ехали, и ехали...

А по весне родилась у Веры и Арсентия дочка Маруся. Так Маруся и не знала, какого числа, всегда отмечала день рождения 29 февраля. И смеясь говорила: «Смотрите какая я молодая, у меня же только раз в четыре года день рождения». Чуть только на ножки Маруся встала, стала брать на себя всю домашнюю работу: жалела она очень свою мать, трудно ей приходилось с отцом. А детей с каждым годом становилось всё больше.

— Ты куда пошла? — кричал Арсентий Вере.

— Я в поле рожать, скоро вернусь, — отвечала Вера.

Так появились на свет сестры Маруси — Вера, Шура, Тоня, Надя — и брат Иван.

Это те, что остались, время было тяжёлое, двое детей умерло ещё в младенчестве. Маруся очень старалась быть им всем второй мамой, за всеми присматривала, всех всем сердцем любила. И было у Маруси большое сердце, вся в маму, замечала она всю красоту вокруг и всегда всему восхищалась. В деревне хоть и тяжело жить, но сливалась жизнь с природой и давала много душевного счастья. «Какая зима в деревне!» — часто вспоминала Маруся. Катались на больших санях, на которых воду возят. Катаешься, снег белый-белый, всё сверкает. Накаたешься, прибежишь, на печку русскую залезешь, а там котик, погладишь его. А ещё всегда на печке сушились семечки и лежал мамин хлеб. Чтобы тёплым его кушать. А одежда вечно мокрая и валенки тоже сушились на буржуйке возле печи. Буржуйка — маленькая железная печка, труба которой выходила в окно, её топили уже под вечер, а русскую печку топили с утра. Очень быстро загорались дрова в буржуйке, только положишь их, кору от берёзы зажжёшь — и вот сразу загудел огонь.

Отапливала буржуйка дом очень быстро, а вот хранить тепло не умела, для этого русскую печь и топили, она из кирпича и долго после того, как протопили, отдавала тепло в дом.

Арсентий и Вера держали гусей, загораживали загончик в сенах, а когда становилось холодно, то приносили в хату гусиняток маленьких, жёлтеньких, они и росли. Сначала их яйцами кормили, как цыплят, а потом травой, что росла возле их дома, дети её собирали измельчали и кормили. Зима — спокойное время, можно было позже просыпаться и рано ложиться спать, а вот летом сам за собой не утонишься...

Жизнь крестьянской семьи была сложная, но в то же время походила на медленный ритм природы, где каждый день был наполнен смыслом и ценностью.

Они заботились о своих животных и земле, потому что понимали, что их выживание зависит от них. Они не просто выращивали урожай, а ухаживали за ним, лелеяли его и заботились о каждом ростке. Они не были просто

хозяевами своей земли, а её хранителями, которые передавали заботу о ней от поколения к поколению.

Они жили в мире, где никто не спешил, не бежал за пустыми смыслами.

Последнее время отец и мать Маруси жили у своей сестры тёти Нади в Ельне. Ельня — это уже город, ближайший к деревне Нешево. Когда умер Арсентий, Вера сидела у гроба, а все подходили к ней и говорили: «Вера, тебе тяжело, поплачь». А она отвечала: «А что плакать? Я и сама скоро к нему пойду». И через два месяца её тоже не стало. Вот *что* это — предчувствие, или знала она? Была она светлый человек. Её многие называли безответной. Трудностей выпало не мало: столько детей, хозяйство, муж строгий...

Маруся очень любила свою маму.

И отца, конечно, Маруся любила. Она взяла от него смелость и большой ум.

И ничего и никого Маруся не боялась, кроме своего отца. Как-то убирала Маруся дом, протираала всё от пыли и разбила любимую его чашку. С горя не могла сдерживать слёз и страха и убежала из дома, куда глаза глядят. Добежала до речки и бросилась в воду, решила утопиться, совсем ребёнком она тогда ещё была. Но спас её немой парень, вытащил из воды, а так бы и не было бы Маруси, вот так сильно боялась она отца.

Арсентий считал, что учиться женщине ни к чему.

Еле-еле мать упростила отдать Марусю в школу на четыре класса. Ходить нужно было далеко. Школы в деревне не было. Приходилось ходить в посёлок Новоспасское, где родился великий русский композитор Глинка. Туда и стала ходить маленькая Маруся каждый день, семь километров туда, семь километров обратно. И всё через лес по песчаной грязной дороге. Холодно зимой, но ничего. Маруся брала мешок с молоком и хлебом, надевала овечий тулуп, валенки, повязывала платок пуховый и шла в школу.

Как-то шла Маруся в школу, а на дороге сидит волк, никак нельзя его обойти. «Ну не домой же теперь воро-

титься, — подумала Мария. — Волки тоже умные, я ему зла не причиню, и он тогда мне тоже». Подошла Маруся поближе и говорит: «Волчок, пропусти меня, пожалуйста, миленький. Я в школу хочу». Волк посмотрел на Марусю своими бездонными глазами и пошёл в лес. Вот такая дорога выпала ей до школы.

Как говорили учителя, в школе схватывала Маруся всё налету. И мечтала Маруся стать прокурором. Но после четырёх классов учёбу пришлось бросить и полностью заняться домом, хозяйством и детьми. Отец не разрешил продолжать.

Когда Марусе было одиннадцать лет, пришли соседи в дом и говорят: «Детей у вас много, а у нас нет, отдайте нам вашу дочку Машу. Времена нынче сложные. А я учитель математики, смогу выучить Машу». Но не отдали родители Марусю.

Напротив избы, где жила семья Маруси, через дорогу стоял магазин. Это был небольшой деревянный дом, покрашенный голубой краской. Там не только покупали продукты, но и всё самое необходимое для деревенской жизни. Но это было ещё и место, куда приходили за советом, за тем, чтобы посплетничать или просто послушать других. Там и стала подрабатывать Маруся, помогая всей семье. И поработав несколько лет, в 16 стала директором магазина. Всё у неё получалось и всё ладилось. Умела она и с посетителями быть вежливой и внимательной, и с сотрудниками быть честной и требовательной.

Но мало было Марусе работы в магазине, и, подойдя к отцу и к матушке, попросилась Маруся поехать в город, в Москву:

— Матушка, отец, хочу я в Москву ехать на заработки.

— Что ты доченька — испугалась мама. Куда ты поедешь, где жить будешь?

— Я найду, твёрдо отвечала Маруся. — Людей много в Москве, помогут.

Не хотели родители её отпускать, но понимали, что Маруся, единственная их кормилица, и разрешили поехать.

И стала Маруся собираться в Москву. Одеда свою самую лучшую одежду, взяла тёплых вещей и поехала — сначала до Ельни на повозке, запряжённой лошаадьми, потом пересела на поезд, так и добралась до Москвы.

Жила у неё в Москве двоюродная тётя, вот к ней Маруся и решила отправиться. «Авось не выгонит», — думала Маруся.

Телефонов то тогда не было, поэтому держала она в своей сильной как у отца руке, мятый клочок бумаги с адресом тётки. Приехав на вокзал, сразу спросила, как ей доехать до тётки, хорошо люди отзывчивые попались, помогли. Парень, который работал около остановки, всё ей объяснил: «Тебе надо сеть на шестой троллейбус», — сказал он. Так и стояла Маруся на остановке и считала: «Первый, второй, третий...»

— Что ж ты не едешь? — удивился парень.

— Так это же только третий. А ты сказал — шестой нужен.

Даже не улыбнулся парень, а только с нежностью посмотрел на Марусю и спокойно объяснил, что номер нужно смотреть на лобовом стекле троллейбуса рядом с водителем.

Так началась новая московская жизнь Маруси.

Много лишений, но и много счастья принесла Маруся Москва.

Сначала устроилась Маруся помогать по хозяйству одной богатой семье. Маруся всё умела: и приготовить, и убраться, и выгладить всю одежду и постельное бельё так, чтобы ни одной складочки на нём не было. Прошёл первый год, и стала Маруся искать новую работу. Решила пойти на завод. «Бетонщицей хочу быть», — сказала Маруся, зайдя в отдел кадров большого завода. «А ты умеешь, девочка?» — спросил с удивлением мужчина, сидящий за письменным столом.

— Конечно, — сказала Маруся, — а что надо уметь бетоны таскать?

Снова не засмеялся мужчина, а только спокойно объяснил храброй девушке, что бетонщики работают с бето-

ном, и этой работе нужно учиться. Так пошла Маруся учиться на вечерний.

Вечером училась, днём работала на пищевом комбинате.

Начальник комбината быстро заметил смышлённую девушку, которая могла одна справиться с работой десятерых. Так и говорил он Марусе: «Ну, Маруся, десять человек возьму на твоё место, и то не справятся». И стала Маруся быстро двигаться вперёд, сменяя одну должность другой, дойдя до директора всего комбината.

И с личной жизнью у Маруси всё складывалось. Ценил её мужской коллектив. Но нашла она своего суженого по-другому. Ну не случайно же её мама могла помогать всем, этот дар и Марусе передался. А началось всё с гадания... На святки пришла Маруся домой вечером и за суженого спросить решила.

И начала Маруся гадать. Дыхание у неё становилось всё чаще, в голове мысли начали путаться. «Главное не забыть опустить зеркало сразу же, как я его увижу», — думала Маруся, зажигая две большие свечи, которые стояли справа и слева от зеркала. Марусе говорили обо всех опасностях гадания, но узнать своего суженого ей так хотелось, что не смогла она удержаться от гадания. Маруся дождалась двенадцати часов ночи, выключила свет в комнате и стала ждать. Язычок пламени свечи немного подергивался, как бы заговаривая с Марусей, но изображения в зеркале не было. Маруся ждала. Она чувствовала, как медленно холодок пробирается по всему телу. Вдруг Маруся замерла. В зеркале появилась дорога, по дороге ехала военная машина. Вот она ближе и ближе подъехала и остановилась. Из военной машины вылез мужчина, высокого роста, прекрасно сложенный, в сапогах с высокими голенищами, в которые были заправлены брюки. Лица его не было видно. «Шофёр», — подумала Мария, — и быстро задула свечи. Если не успеть опустить зеркало или задуть свечи, то сильно ударит по лицу. И останется след на всю жизнь, как родимое пятно. Она хорошо это знала. Маруся встала из-за стола

и довольная пошла спать. Суженый ей понравился. Хотя мечтала совсем не о шофёре, а о лётчике. И засыпая, долго ещё представляла себе машину и мужчину в сапогах.

Утро началось спокойно. Маруся пошла на работу.

Весеннее солнце уже согревало землю, Маруся шла, кутаясь в плащ, и, проходя мимо стоящего одинокого клена, услышала:

— Кар! — ещё раз — Кар!

— Третий раз: кар... — проговорила уже вслух за птицей Маруся.

— За спиной каркать, а ну тебя... — возмутилась Маруся.

И заторопилась на работу. Тёмные кудрявые волосы Маруси выбились из-под платка, плащ распахнулся. Она шла быстрым шагом, боясь опоздать на работу. Вдруг около неё остановилась машина, из неё быстро выскочил водитель и подбежал к ней.

— А вот и ты! Тебя то я и искал так долго... Выходи за меня, — заговорил с Марусей парень.

— Я лётчиков люблю, а ты шофёр, — как бы подыгрывая, ответила Мария.

Мужчина улыбнулся и тихо, неуверенно произнёс:

— Я лётчик. Вчера авария была, и я выпал из самолёта...

Мария тоже улыбнулась, но почему-то поверила парню, который ей показался таким притягательным.

«Лётчик — это хорошо, значит, не суженый», — подумала Мария.

— Значит, лётчик? — продолжила она вслух.

— Приходи сегодня на танцы, поговорим, а сейчас мне на работу пора.

— А как тебя звать-то, лётчик?

— Николай.

— А я Мария, — смело проговорила она своё имя и продолжила путь.

С работы Мария вышла, как и положено, в шесть вечера. Не заходя домой, чтобы не тратить время, Маруся пошла на танцы, почти не вспоминая утреннюю, как ей казалось, случайную встречу. В Доме культуры Маруся

подбежала по обыкновению к зеркалу и стала поправлять выбившиеся кудри, которые никак не хотели принять нужную форму. Как вдруг отражение в зеркале заставило её ощутить те же чувства, что и во время гадания.

— Я тебя знаю. Это ты... — обращаясь к отражению, заговорила взволнованно Мария.

— Конечно, я же твой суженый, — засмеялся Николай.

И Мария, обернувшись, увидела обаятельного лётчика.

— Николай, ты меня напугал.

— Это чем же? — продолжал напористо Николай. — Неужели ещё думаешь, выходить за меня или нет?

— Пойдём танцевать, — справившись со своим волнением, предложила Маруся.

— Так я для этого и пришёл. Весь в вашем распоряжении. И на всю жизнь, — снова шутливо, но с силой продолжил Николай, взяв Марию за талию и прижимая к себе.

— Ты что? — сказала Мария, попытавшись оттолкнуть Николая. — Ты мне не жених. Ты всего лишь лётчик.

— Ну что ты сопротивляешься, всё равно будешь моей, — сказал Николай, улыбаясь.

Маруся вырвалась из объятий Николая и изо всех сил оттолкнула его от себя.

«Какой наглый!» — подумала Маруся.

И совсем скоро стала его женой.

Это было самое счастливое время. Прожили они вместе семь счастливейших лет. Как говорила Маруся, спали всегда губы в губы.

Вскоре началась Великая Отечественная война.

Каждый встретился с войной по-разному. Маруся встретила войну молодой женщиной, но детей у них с мужем ещё не было. Николай работал в аварийной бригаде электриком и, получив бронь, остался в Москве. Они жили в столице, и всё было так спокойно и легко, что невозможно было представить, что в один момент жизнь каждой семьи изменится. И вот именно тогда, когда счастье было безграничным, когда всё в жизни

наладилось, и казалось, что так будет всегда, — началась война. Было непонятно, что произойдёт, потому что школы продолжали работать, учителя учили, детские сады тоже, работали магазины, театры... Вроде весь город жил так, как до войны. Но время шло, и фашисты всё ближе и ближе подходили к Москве...

В сорок третьем году Маруся забеременела. «Что же делать?» — думала она. Еды становилось меньше, но она не сдавалась. Она вообще никогда не сдавалась. Она всегда думала о том, как сделать так, чтобы этот мир становился немножко другим. Она его меняла каждый день, она пыталась смотреть на него с разных сторон, пыталась улыбаться там, где было невозможно не плакать. Она поддерживала всех, и особенно свою младшую сестру Надю, которая жила в тот момент у них с Колей в квартире. Надя была молодая, ей было совсем немного лет, и к ней чередой стекались военные. Жизнь и во время войны оставалась жизнью, и красивая молодая девушка не могла ни привлечь внимания молодых мужчин. Они так и ходили на квартиру к Марусе. Но не к Марусе, конечно, а к её сестре.

К тому времени все уже привыкли к тому, что воют сирены, бомбят дома.

Когда начиналась воздушная тревога, Маруся говорила:

— Надя, Надя, иди сюда, поближе к окну. Надя, вот смотри: здесь же нас быстрее убьёт, если бомба упадёт.

Но Надя бежала к дверям и вставала в дверной проём. Так их учили, что под проёмом, если попадёт бомба, есть больше шансов выжить. А Маруся — наоборот, она всегда вставала около открытого окна и смотрела в небо.

— Смотри, если бомба полетит, я её увижу, — говорила Маруся, — и смотрела вдаль спокойным и уверенным взглядом. А когда начали записываться в добровольцы, Маруся пошла и сразу записалась. Добровольцы залезали на крыши домов во время бомбёжек и сбрасывали с них горящие зажигательные бомбы — «зажигалки», как они их называли, — чтобы не начался пожар.

Маруся стояла на крыше и смотрела, как летят фашистские самолёты, как они сбрасывают на город бомбы.

— Сегодня две «зажигалки» скинула, — говорила Маруся Наде.

«Зажигалки» — это горящие бомбы, которые могли в любую минуту сжечь целый дом. Маруся не боялась. Так она пережила самый сложный период своей жизни. Вот так, стоя на крыше и не спускаясь в бомбоубежище. Она работала, она ухаживала за своей сестрой. Она любила своего Колю. Но злые языки, иногда страшнее войны. Так получилось, что Коля стал слушать каких-то чужих людей, соседей, которые завидовали Марусину счастью.

— Не слушай их, Коленька, — говорила Маруся, — это ж они всё болтают, никто ко мне не ходит. Это всё к Наде военные ходят, — объясняла Маруся, обнимая Колю.

— Ну, конечно же, конечно, я им не верю.

И они снова засыпали, как всегда, губы в губы. Но вот пришёл тысяча девятьсот сорок третий год. И Маруся поняла, что она беременна. Как же ждала она этого, столько лет. Она так хотела родить Коле сына или дочь. И вдруг в такое страшное время всё и случилось...

— Коленька, дорогой, я жду ребёночка, — сказала Маруся, прижимаясь к мужу и обнимая его.

— Ты что? О чем ты? Это ж не мой ребёнок.

— Это наш с тобой ребёнок... — только и смогла вымолвить Маруся и горько заплакала.

Но, видимо, запали в Колино сердце слова соседей: «Смотри, не твой ребёнок под сердцем у Маруси».

Наступил сорок четвёртый год, двадцатое июня, когда на свет появилась маленькая девочка. Она родилась совсем малюсенькой. Ей было всего семь месяцев.

— Не моя дочь, — сказал Коля, увидев девочку, — и хлопнул дверью.

Людмила — так назвала Маруся свою доченьку. Маруся больше всего на свете любила поэму «Руслан и Людмила» и всегда думала: «Будет у меня мальчик, назову Русланом, будет у меня девочка, значит, Милочка».

Людмила родилась маленькая, худенькая и с большим курносым носом. А глаза у неё были узкие, как у китайца.

— Ах ты, Людмила, какая же ты, не похожая на нас, и не признал тебя наш Коля, — целуя и нежно прижимая к сердцу любимый комочек, говорила Маруся.

Николай был высок ростом, белое красивое лицо с большими глазами и орлиным носом. Ничего не взяла от него Людмила. Вот, словно и подтвердились слова соседей: «Не твоя это дочка».

Маруся одна выходила из роддома. Сорок четвёртый год, война, и она одна с маленькой девочкой на руках. Маруся шла по большому городу и сердце её ныло от нестерпимой боли.

— Коля, Коля, ко всем пришли, а ты ко мне не пришёл. Почему ты меня не встретил из роддома? — бросилась она к Коле, когда вошла домой.

Коля только посмотрел и сказал с укором:

— Не моя это дочь.

Как только закончилась война, Маруся собрала вещи, взяла свою маленькую Людмилу и ушла от Коли. Боялась Маруся, что Коля может с Милой что-нибудь сделать.

— Выброшу я её, — говорил Коля, когда Маруся выходила из квартиры, — просто возьму и выброшу из окна.

— Что ты, Коленька, это ж наша доченька.

Но ничего не хотел слышать Коля. И не выдержало сердце Маруси.

— Не веришь мне? Ну и живи здесь один, — в отчаянии сказала Маруся.

Бросила всё и ушла в посёлок Красный строитель к своим родственникам. Там и выросла Людмила. Росла она не по дням, а по часам. Росла прекрасной девочкой, которая очень любила свою маму. Делала она всё сама: и топила печку, и убиралась. И так она росла, пока не исполнилось ей 18 лет. Тут-то она и спросила у своей ма-тушки:

— Мама, скажи, а кто мой папа? Как же мне хотелось бы его повидать.

— Ну что ж, доченька, разыщу твоего папу, — сказала Маруся, — и стала искать Колю.

Москва не такая маленькая, но не такая уж и большая. Рассказали ей, где живёт её бывший муж.

— Пойдём, Милочка, покажу я тебе твоего папу, — спокойным голосом сказала Маруся. Решили они пойти к нему по его адресу на квартиру. У Маруси был выходной костюм из парчи, из золотой порчи, который так подходил под её огненно-карие глаза и коричневые локоны волос. Она сходила к парикмахеру, сделала причёску.

Маруся и Мила вышли на улицу, и Марусе казалось, что воздух пронизан маленькими снежинками, хотя было очень тепло и солнечно. Настолько всё вокруг изменилось в тот момент, когда они шли к нему, к её до сих пор горячо любимому Коле. Маруся шла молча и только иногда поглядывала на Людмилу, и пыталась понять, что она сейчас думает. Маруся вспомнила своё гадание, вспомнила, как шутила, что никогда не выйдет замуж за шофёра, потому что хочет выйти замуж за лётчика. Вспоминала бессонные ночи, когда она не могла заснуть рядом с ним, просто потому что была счастлива и боялась, что всё это может закончиться. Спать рядом с любимым не просто, ведь всегда хочется видеть его глаза или просто в полутьме разглядывать его любимое лицо и чуть тронутые улыбкой губы. Она вспоминала... и совсем не вспоминала о том, как он говорил, что это не его дочь и что он выкинет её из окна, как он не пришёл в роддом.... Когда они подошли к квартире, Людмила подошла к маме, поцеловала её и поправила ей причёску.

— Мапочка, ты моя самая любимая, — сказала Людмила, обнимая Марусю.

Маруся нажала на звонок. Дверь открылась. Коля стоял перед ними и не мог сказать ни слова. Маруся ступила через порог.

— Вот и твой папа, — сказала Маруся Людмиле.

Людмила подняла глаза. Папа был высокий, красивый, с орлиным носом и большими глазами. Вот точная копия того, что она часто видела в отражении зеркала.

Людмила подобрала каждый его штрих, каждый оттенок, даже кожа на лице её была такая же, у неё были его волосы, голубые огромные глаза. Всё было, как у него, только ростом она выдалась в маму. Коля ничего не мог сказать. Он смотрел на дочь, такую красивую, вдохновенную, стоящую так близко от него в лёгком голубом платье и растерянно промолвил:

— А где же твой курносый нос?

Людмила засмеялась.

Они прошли в комнату, Маруся села на диван и долго смотрела на плечи, руки, ноги, на лицо такого родного человека. Пока Коля разговаривал с её дочерью, мир остановился. Вот он. Вот ради чего Маруся не спала ночами. Вот ради чего она добилась всего. Ради этого момента, быть вот здесь, рядом с Колей, вместе с её любимой Людмилой. У Маруси хорошая работа, её любили сотрудники, уважало начальство. У неё было всё. У неё была дочь, которая её обожала. И у неё был муж, которого она все эти годы очень любила.

Они побыли вместе совсем недолго. Перед выходом Коля обернулся к Марусе и посмотрел ей прямо в глаза. Так может посмотреть человек, который понял, что упустил столько всего в жизни.

— Маруся, любимая моя, прости меня, — не отрывая от неё глаз только и смог сказать Коля.

— Что теперь говорить, — ответила Маруся. — Не могу я тебя простить, Коля.

Вот такая, гордая была Маруся. Она взяла за руку Людмилу, они попрощались и ушли.

Всю дорогу Людмила и Маруся молчали. Людмиле хотелось спросить: «Мама, мамочка, а почему ты не простила папу?» Но она понимала, что маме очень тяжело и не хотела причинить ей боль своими словами. Они приехали домой, легли спать.

И только Богу известно, о чём думал Коля в этот момент. Он не смог пережить эту встречу, его любовь разбилась, его жизнь была поломана. Поломана собственными руками... Прошло совсем немного времени, когда

Маруся узнала, что Колю хватил удар. Состоявшаяся встреча стала для него тяжким потрясением, — он не смог жить без Маруси и Людмилы и простить себя тоже не мог.

Если бы Маруся могла вернуть те минуты, когда она сидела на диване и смотрела на него, как говорит с её дочерью, с их дочерью, с их Людмилой. Это был самый счастливый момент за последние годы. Маруся чувствовала, что вот оно счастье, когда они здесь втроём, вместе. Почему она не простила Колю? Почему гордость оказалась сильнее? Маруся думала об этом всю свою оставшуюся жизнь. Как можно было не простить и отказаться от человека, которого любила всю жизнь? Как она могла? Почему она это сделала? Откуда возникла эта гордость? Каждый раз Маруся задавала себе эти вопросы, но ответа так и не находила. Ну и какой смысл был искать ответы, если человека уже не было.

Маруся прожила долгую жизнь. Через какое-то время она смогла купить дом, уже не в своём любимом Нешево, где она родилась, а немножко подальше, ближе к Смоленску, в деревне Челновой. И там она вырастила своих внуков, вернее, двух своих внучек Машу и Олю. И там она снова чувствовала себя ближе к природе, ближе к своим родным местам, к своей родной деревне, к своим родителям, которые были похоронены в Ельне.

Там рядом похоронила она сестёр Шуру и Надю. Обе сестры и брат ушли первыми, хотя она была самая старшая в семье. Сколько бы она не думала, сколько бы она не старалась найти ответ, всё равно в жизни поняла одно: людей надо прощать, особенно если человек — твоя любовь, любовь длиною в жизнь, и не только твою, но и последующую жизнь твоих детей...

Много-много лет плакала Маруся и не могла себя простить, что оттолкнула своего суженого.

Маруся купила квартиру в кооперативе на Каховской, на Чонгарском бульваре. Она была директором комбината. Но так больше и не смогла стать счастливой до конца своей жизни.

Жизнь и любовь — это две великие силы, которые могут изменить мир, если научиться их ценить и использовать мудро и бережно. Их красота и значимость не имеют границ, и чтобы наслаждаться ими каждый день, нужно пристально вглядываться во всё, окружающее нас.

Жизнь Маруси закончилась в Москве на 75-м году. Похоронили её на Домодедовском кладбище. Но пока была жива, тянулась Маруся душой на свою Смоленщину. И ездила туда каждый год, как получалось, сначала только в отпуск, потом на лето, а в последнее время уже по полгода жила там. Родная земля всегда ждала и принимала Марусю со всеми её ошибками, и давала силы жить дальше.

Вдоль по Питерской

Посвящается Лизавете. Ко дню рождения

Перепечинское кладбище

Обычно под вечер я выезжаю с Перепечинского кладбища на старое Ленинградское шоссе. Из принципа никогда не езжу по-новому. Участвовала в переговорах по строительству этой дороги. Она перерезала Химкинский лес, и народ, тогда ещё не отчаявшийся, довольно долго за этот лес бился. За звериные тропы. Наплевав на основной закон переводчиков, — молчать, когда не спрашивают и не прикасаться к еде, когда дают, — я все ж вставила свои пять копеек: «А почему бы вам не сделать такой широкой мостик, зелёнький такой, а на нём травка, чтобы звери могли туда-сюда ходить?» И французы, и русские посмотрели на меня как на дуру. Ну, то есть как русские? Новиопы.

На кладбище только мама. Пока... Хотя на памятнике три имени. Это наполовину кенотаф. Дедушку призвали из Ховрина, оно будет где-то по пути. В июне призвали, а через пару месяцев прислали — не похоронку, нет, а что он пропал без вести. Удобно. И сиротам можно не платить. И ещё мальчик Евгений шестнадцати лет. Он мог бы быть моим дядей. В детстве мне рассказывали, что он утонул. Вот в том самом канале, тоже буду проезжать. Потом, когда мне самой было лет шестнадцать, мамина тётка, баба Саня, младшая из трёх сестёр, воевала и дошла до Берлина, — ох уж эти бездетные тётушки, гораздо интереснее детных, и почему-то лучше знающие, что

нужно ребёнку — шепнула мне, что нет. В школе на перемене перед уроком военной подготовки — помните «Зеркало»? — он баловался с другом, схватил одно из ружей и нажал на курок. Ружьё оказалось заряженным боевым патроном. Друг был убит. Военрук отрёкся, божился Лениным и Сталиным, что боевых патронов не было, что мальчик хотел убить друга, принёс боевой патрон и сам зарядил ружьё. Так что Евгения расстреляли. Я теперь молюсь за него как за убиенного. Заходите потом, участок 91-й, 5-й ряд с угла. Там растёт берёза, высокая уже. Наверно, придётся тебя спилить, ты уж прости, но расти пока, говорю я ей, ковыряясь в плохой земле.

Шереметьево-1 и 2

Аэропорт Шереметьево, 1 и 2. Оба. Сколько дней и ночей... Одну из них провела там с Григоровичем. Ждали задерживавшийся рейс из Парижа с импресарио, сидя на каком-то дюралевом кубе, свесив ножки. То и дело пили кофе, чтоб не уснуть. Григорович клал пять ложек сахара в маленькую чашечку. Говорила ему: «Чревоугодие». А он: «Мои грехи маленькие — чревоугодие, винопитие и прелюбодеяние. А вот твои смертные — уныние и отчаяние». Видел меня в первый раз. Злой гений, Ротбарт. Жив! Там рядом ещё был и есть грузовой склад. Дорога как раз мимо этих ангаров с надписью «Аэрофлот». Там я мыкалась, отправляя в Индию пруток. Он прилетал туда золотым — килограмм веса, *bonjour*... А я отправляла тонны. Распределили меня после диплома на завод «Манометр». Это не по пути, в Хамовниках. Когда его закрыли после перестройки, там вроде потом стали делать пиво, теперь какие-то доходные выставки новомодного искусства. Здание-то старинное, дореволюционное. Там рядом ещё дом Толстого, который так хотел, чтоб русские пили пиво, ну так вот. «Манометр» у нас в институте не котировался. Я сама попросила послать меня куда похуже, потому что всё равно я туда не пойду. Редактор Бурич

из «Молодой Гвардии» поинтересовался: «Ну и какой же вам оклад положили?» — «110 рублей». — «Да, замуж-то не выйдете...» — «Это почему?» — «Ну, мужа не на что будет содержать». — «Зачем же мне муж, которого надо содержать?» — «А других у нас тут нету». — «Значит, тут не выйду...» Но на работу выйти пришлось. А то товарищ Андропов принялся ловить гуляющих по Москве и выяснять, почему не на работе. Мама плакала, что меня посадят. Я сама, двадцатилетняя пигалица, отправилась в министерство авиационной промышленности и потребовала найти применение моему прекрасному французскому языку. Так я попала в «Авиазагранпоставку» и принялась наконец-то поставлять пруток на радость обивавшему почти год пороги товарищу Рама Кришне... Безумие, конечно. Ему бы морем плыть. Но сроки сорвали до меня, и *noblesse oblige*. Вот только без бутылки армянского коньяка пруток категорически не грузили. Двадцать пять рублей, пять звёзд, четыре отправки за мою зарплату. Ладно, проехали.

Ежи

Раньше тут всё были деревеньки. Деревеньки, деревеньки — и внезапно раскаряки повапленные. Памятник противотанковым ежам. «Вот здесь остановили немцев», — обязательно объясняли мы одуревшим иностранцам только что с самолёта. Ежи почему-то оказались слева, а справа воцарился магазин «Ашан». Неужели переставили? Или дорогу переставили? Или в голове у меня что-то переставилось? Гугл про то не знает. Некоторые домишки уцелели и усиленно сопротивляются. Отгородились сплошными заборами, именуемыми «профнастил». Нигде в мире таких нет, а у нас есть. Те, кто его производят, могут, наверное, купить себе остров. А если в складчину, то континент. Один забор даже в два ряда в высоту. Стоят они, родимые, осаждаемые сверкающими громадинами торговых центров, и кварталами

одинаковых многоэтажек в тесном строю, плечом к плечу. А как же нормы расстояния там? — Какие нормы? — Кстати об «Ашане». В Париже как-то я сидела с котом у дамы, которая внедряла у нас онный «Ашан». Котёнка она подобрала на московской помойке. Серый, обыкновенный шпротик. Поскольку он привык жить на улице, пришлось ей купить в Париже квартиру в одноэтажном флигельке внутри двора большого османского дома. С садиком метров десять квадратных, но всё же... Что-то нас с французами роднит... Вот это всё.

Химки

Вечная задумчивая химкинская пробка... Умная мысль заехать в автосалон «Германика» и переждать, всё равно ведь проходить техосмотр, запаздывает на несколько метров, уже не свернуть. Заезавшись, покоряешься общей судьбе. Как говорится, была с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был... Вообще я-то люблю всё народное. Песни, танцы, Фольксваген — во вкусе не откажешь. Впереди канал им. Москвы, бывший канал Москва-Волга. На этой стройке в тридцатые годы работал дедушка. Вольноопределяющимся. Ну то есть как вольно? Сказали, не пойдёшь вольноопределяющимся, посадим по ложному обвинению, и пойдёшь как заключённый. По ложному дедушка уже сидел. И пошёл как вольноопределяющийся. Заведовал опалубкой как специалист по древесине. Каким образом он стал им после духовной семинарии? Так и пошла у нас в роду эта способность осваивать за жизнь по десятку профессий... Жили в Хлебниково. Воспоминания детства моего отца: вооружённая охрана с собаками и влекущиеся по дороге толпы заключённых, в большинстве своём в среднеазиатских халатах. Тогда так было: если у тебя больше одной лошади, значит, кулак. А у кого в Средней Азии было меньше двух лошадей? Они шли и падали, и умирали. Дедушку опять чуть не посадили, то ли чуть не расстреляли: он выписывал лес на гробы, а древесина, она денег

стоит. Велели закапывать так, в общих ямах... Вот эти красивые высокие берега канала, которыми мы любовались, летя на «Ракете» или «Метеоре», — их уже тоже нет — они из костей... Тётя была совсем крошкой и так и осталась напуганной на всю жизнь.

Ховрино

Ну вот и мост. По правую руку краны Северного грузового порта. Раньше их больше было. А слева Левобережный и где-то там Ховрино. Мамино детство и молодость. Оттуда призвали на войну дедушку, и он сразу погиб. А если бы не оттуда? Не приедь он в Москву из Мичуринска, его бы призвали не оттуда и не туда, и всё могло бы сложиться иначе. Но нас бы тогда не было. Дедушка не вынес укоризн бабушки, которая всегда знала, как следует. Это «как следует» у нас звучало непрестанно. И скрылся в Москве. Но он плохо её знал. Бабушка продала двухэтажный дом, погрузила мебель и все пожитки в товарный вагон и подалась за мужем в Москву. Вагон исчез в неизвестном направлении, а говорят, тогда был порядок и не воровали... Осталась только хрустальная подвеска от люстры, которая отвалилась, и её везли отдельно, я в детстве восхищенно ей играла. На деньги от большого дома удалось купить только четвертинку дома в Ховрино. Это был одноэтажный большой, видимо, купеческий дом, разделённый на части. У бабушки оказалась одна комната и терраска, и ещё маленький садик, тоже кусочек бывшего большого сада, с серым страшным сараем. Там пошёл в школу мальчик Евгений. А если бы не там? Может, были бы оба живы. А нас бы не было.

Речной вокзал

А справа вход в парк Речного вокзала и прелестная девушка с корабликом. Не то что жуткая комсомолка с веслом. Барышня делала... Лёгкая, свободная, на

свободном пространстве. Уже несвободном, заставленном чудовищными огромными сердечницами, наверняка светящимися в темноте, как билибинские черепа. «Его врагом была пошлость» (Горький о Чехове). И моим! В лице мэрии Москвы. Мама девушкой так любила там гулять, любоваться вокзалом-кораблем. Нам с друзьями некогда было любоваться. Мы неслись по парку гружённые рюкзаками, катя наконец-то изобретенные, через сто лет после велосипеда, сумки на колёсах, опаздывая на «Ракету», и на ней за полчаса долетали до причала Витенёво, откуда лесом шли до палаточного лагеря от маминого института, который десятилетиями безуспешно создавал электромобиль. Институт добился этого лагеря от какого-то водного начальства для бездачных сотрудников в обмен на расчистку леса от валежника и даже привозил на грузовике деревянные щиты под палатки. Долгоиграющий российский имперский патернализм... Теперь всё. Я там, собирая валежник, сослепу чуть не наступила на спящего лося, приняв его за грудку глины. А он выпростал паучью ногу, потом другую и встал... они с жирафа!

Войковская

Метро «Войковская»... Уж как мы бились, чтоб переименовать, подписи собирали... «Неважно, как проголосовали — важно, как подсчитали»... Слева там был в парке кинотеатр. Название вот забыла. И Гугл не помнит... Мы туда убегали с лекций через мост с суровыми солдатами на неделю фильмов Вайды. Так запомнилось, как будто вчера. И «Пепел и алмаз», и «Всё на продажу», и самый полюбившийся, редко упоминающийся «Березняк» с Ольбрыхским. Невозможно было себе представить, что всего через несколько лет я выучу польский, сама буду переводить польские фильмы «на зал», пока не изобретут бегущую строку, и даже сопровождать самого Вайду и переводить его интервью... (А вот сестрица Ле-

ночка помнит. Кинотеатр назывался «Варшава». А, теперь понятно, почему там).

МАИ

И вот и мост и суровые солдаты, и заводска-а-я проходна-а-я, что в лю-ю-ди вывела меня... Та же, только вроде кафелем обложили. И чуть дальше — Главный корпус, где мы сдавали экзамены и где на стеклянных дверях, теснясь, искали свою фамилию в списках поступивших... есть! Приняли! Несмотря на тройку за сочинение «За что я люблю Маяковского». Вытянули пятерочки по точным наукам! Когда-нибудь, ё...ж, напишу, за что я его не люблю. Попомню ему, как мне из-за него стипендию не дали. Но выбора не было. Тему «Женщины-лётчицы» я тогда развить не могла, хотя соседка по лестничной площадке как раз была такой лётчицей, но я не смела с ней заговорить. А третья тема вообще была какая-то коммунистическая... Помню свой триумфальный путь домой вприпрыжку через красивейший посёлок Сокол с улицами художников в новой, сшитой мамой к торжественному дню юбочке, для чего был приобретён шестидесятипятисантиметровый отрез тонкой кремовой шерсти в серую клеточку. Ткани дорого стоили, отмеряли строго нужную длину. Еще и на пояс не хватило...

Сокол

Там, на Соколе, в родильном доме номер 16 — интернет услужливо подсказывает: место, увы, закрылось — родилась сестрица Леночка. Помню, как стояла во дворе четырёхэтажного дома с папой за ручку, задрав голову в пуховом капоре, а мама показывала свёрток и кричала, что молоко пить не хочет, зато понравился лимон. Не удивляюсь. А где я сама родилась, вот уж не помню... Пять лет ходила я в институт по этим улицам, завидуя

жителям отдельных домиков, хотя у нас была прекрасная квартира в сталинской пятиэтажке на Октябрьском поле. Сначала, в детстве, комната, потом квартира. С двором точь-в-точь с картины художника Попова, уехавшей в США. Все дети там играли без всяких нянь, а матери звали их в форточки обедать.

Октябрьское Поле

Мы жили на Октябрьском Поле — это бывшая Ходынка, страшная роковая трещина в жизни великой страны — несколько раз. Уезжали, меняли квартиры, снова возвращались — маме нравилось это место, там она была молода и счастлива, там была «мамина работа» — низенькие здания за железным забором, танковый заводик... теперь там стоят высокие дома. А в нашем доме был кинотеатр «Юность», куда наши с Аликом матери по очереди бегали в кино, пока одна из них сидела с нами двумя. Нас одевали одинаково, как двойняшек. Мы жили с ними в одной квартире, наша семья вчетвером — в двенадцатиметровой комнате. Тесно... Но всё равно ставили ёлку до потолка. До метро «Сокол» ходил троллейбус, там была конечная, круг. Как потом стало известно, прямо на бывшем кладбище. Там я впервые зашла в церковь. Храм Всех Святых... он был тёмный, и люди все в тёмном, почти одни пожилые женщины. Море чёрных платков... Стала туда ходить, прогуливая уроки, послушно уходя под «изыдите, оглашенные»... Ещё цела пожарная каланча, с которой давно ничего не видно. Ещё метров сто вперёд — была рюмочная, где к рюмке вина прилагался обязательный бутерброд — замечательное изобретение, при всём желании не напьюсь. Мы отмечали там сдачу очередного экзамена. Я, красотка Ирка, Генка и Андрей, оба очень хорошенькие и маленькие, а мы две дылды в туфлях на платформе. Еще чуть вперёд — в каком-то кавказском кафе поминали маму после похорон. Кажется, случайно, но промыслительно, на её любимом Соколе.

Аэропорт

Метро «Аэропорт». Слева в писательском доме жил мой редактор, поэт Бурич с поэтессой Музой Павловой. Она была вылитая Муза поэта Аполлинера с картины таможенника Руссо. Выходила замуж трижды. В первый раз ей было двадцать лет, и мужу тоже. Во второй раз ей было тридцать, а мужу двадцать. А в третий раз ей было сорок, а мужу опять двадцать. Это и был Владимир Петрович. Они очень подходили друг к другу. Муза ходила по квартире в старых шёлковых вечерних платьях, и когда Бурич очень уж меня правил, говорила: «Дайте автору свободу!». Это я к ним таскалась с рукописями переводов. А справа был первый московский аэропорт, ещё совсем недавно действовавший как испытательный, и мой друг Миша Егоров, лётчик-испытатель, говорил, что там страшно садиться, очень короткие полосы. Миша обиделся и пропал, а жаль, интересно было дружить. Ещё там же обиделся поэт Б., которого я провожала на автобус до аэропорта в какую-то унылую непогоду. Он написал поэму, а потом разорвал её на кусочки. Кусочек помню: «И всё же на кого тебя я бросил в том декабре среди метели мутной, перед которой не было защиты у маленького сердца уходящей...» Тяжело так, грустно вспоминать. Отказывать неприятно. Но с другой стороны, зачем ставить человека в неудобное положение, когда и так всё ясно. Родители, что один, что другая, тоже предпочитали дружить... Удивительно, как это мы на свет родились. Да уж, маленькое сердце. И еще, к слову — маленькая Лиза: «Мамочка, какие у тебя красивые маленькие глазки...»

Петровский дворец

Я видела его только снаружи, в нём была Академия имени Жуковского, в которой учился отец. Он жил в общезитии, и когда родители поженились, им дали комнату в шесть квадратных метров. И когда я родилась,

меня туда принесли. Была зима, крещенские морозы, и меня, недоноска, посадили в меховую летнюю рукавицу. Я помню, как ползала по этим шести метрам и пугалась страшной щётки на палке, притаившейся в углу. Меня нянчила старушка, у которой сын, лётчик, погиб в Испании. И ей дали такую же шестиметровую комнатку в общежитии. Почему-то я об этом лётчике всю жизнь помню. А потом пришла весна, и меня выгуливали в парке вокруг академии, прекрасного дворца красного кирпича. Есть фотографии. После экзаменов курсанты шли в пивную в парке, там висели увещательные плакаты: «Крабовые консервы — вкусная нежная закуска!» Никто не хотел их есть, но отец мой распробовал, и потом у нас часто в доме были банки с крабами. Всю жизнь очень хотелось заглянуть внутрь дворца, но там было всё строго по пропускам. Папа был любимым учеником у профессора Стечкина, а мама работала у него секретаршей. Они с отцом, не сказать, чтоб были близко знакомы. Но, когда умер товарищ Сталин, курсантов отпустили на похороны. Не повели строем, а просто отпустили, надо же. Папа вбежал в кабинет Стечкина, схватил упирающуюся маму и быстро увёз от греха подальше. К родителям в деревню. А на похоронах тех много кого передавили, не хуже Ходынки.

Динамо

Ну, а дальше стадион «Динамо». На это изящное римское строение теперь нахлобучили ужасную чалму. Я никогда там не была, но мы часто ездили в гости к бывшим соседям, родителям Алика, они там рядом получили прекрасную квартиру в генеральском доме с колоннами. На улице Верхняя Масловка... Дядя Юра тоже был военный, а отец его совсем генерал, мы с Аликом ходили к нему на могилу на Новодевичьем... А потом потерялись, разлетелись, а когда я хватилась, оказалось, что мой названный брат умер... Каждый раз, проезжая мимо прекрасного ан-

тичного здания метро с коринфскими колоннами, всё недоумеваю, как можно было бездарно тратить время на пустых, чужих, ненужных людей, а близких и любимых забывать на годы и терять навсегда? Что это, глупость или измена?..

Беговая

Направо поворот на Беговую. Там, в круглом доме жила тётка отца, тётя Юля-капризуля, со своим молчаливым мужем. По центру дома шла широченная круглая винтовая лестница на второй этаж. Металлическая. Вокруг неё круглый коридор, а от него лепестками или дольками сдвоенные комнаты с общей прихожей. На втором этаже раньше жили жокеи, а лошади жили внизу. А потом уж везде жили люди, причем в каждой комнате семья. Была огромная кухня на всех. Как здорово было бегать по этим звонким ступеням с соседскими детьми! Потом этот дом сломали, ещё при советской власти, и дали жильцам квартиры в тут же рядом построенном многоэтажном доме розового кирпича. Говорю же, патернализм. Тётя Юля была уже одна, но получила там просторную однокомнатную квартиру, только с видом не на бега, а во двор. Заезды было только слышно... Я подолгу у неё жила. Вот всё думаю, эту лестницу, достойную Эйфеля, неужели не спасли? Похоже, что так. Никто тогда ценностей-то не ценил...

Ну, а мне налево. Как хорошо, что построили эту эстакаду, выводящую на третье кольцо. Лужковское кольцо... Когда-то к Дягилеву на смену прежнему поступил новый секретарь. Вступив в должность, он изучил все документы, пересмотрел счета и с возмущением кинулся к Дягилеву: «А вы знаете, что прежний секретарь вас обкрадывал?» Сергей Павлович приобнял новичка и промолвил: «Обкрадывайте меня! Только делайте дело так, как он!» — «К чему это я? Да так, ни к чему...» Тут только успевай поворачиваться, то левее, то скорей правее, а то

промахнёшь выезд на Бутырский. А пришвартоваться у нас можно только ближе к вечеру, когда разъезжаются с работы владельцы припаркованных машин. В основном, наверно, тюремщики, где тут ещё работать, если не в тюрьме? Можно, конечно, стоять и не уезжать. Есть тут две машины, джипы бандитского вида, много лет стоят на спущенных колёсах, уже в землю вросли. Может, ждут хозяев, а те в тюрьме сидят? Тюрьма красивая, похожа на Петровский дворец, и ходят слухи, что из неё тоже хотят сделать пятизвёздочный отель.

Ну а дальше по Тверской-Ямской только пешком, там негде остановиться. Или за кучу денег. Там, конечно, в конце будет Кремль. Ну а что Кремль? Вот все говорят: Кремль, Кремль... А некоторые достойные люди ни разу его не видели.

Я — птица

1

Я закрываю глаза...

Ночь набрасывает на крыши домов своё звёздное покрывало. Мне нужно подняться на возвышенность, чтобы оттолкнуться и взлететь... Подо мной, внизу, остаются дома, деревья, столбы с проводами, земля... Я лечу! Наслаждаюсь невесомостью. Мне так хорошо! Парю над землёй. Опускаюсь на зелёную траву. Мои крылья вновь превращаются в руки. Ещё долго пребываю между сном и реальностью...

Этот сон мне снится всю жизнь, сколько я себя помню, с детства. А помнить и осознавать себя я стала лет с пяти, когда умерла моя бабушка.

2

Моя бабушка, Ефросиния Ивановна, внучка крепостной крестьянки. Интересная и загадочная история происхождения бабушки так и осталась тайной.

Поместье Лещиново Ламовского уезда Пензенской губернии славилось своими бахчевыми полями. Там и трудились крестьяне. А семья барина к своим крепостным относилась хорошо, по-доброму. Отец и сын были врачами. Если кто захворает из простых, то обращались в барскую усадьбу.

На барском подворье большая псарня: породистые собаки содержались в идеальных условиях.

И случился тот день, который определил моё появление на свет.

Приглянулась барину девка из соседнего поместья. Не пожалел он за неё даже собаки: говорят, девушка красивая была. Выменял, привёз к себе, выдал замуж за мастерового мужика.

Хоть и прошла реформа по освобождению крестьян, а куда им деваться? Так и остались работать у барина, тем более, что жили неплохо. А в 1901 году родилась моя бабушка. Не внучкой ли она была того барина?! Только сдаётся мне, что, ох, совсем неспроста, отдал он за девушку собаку, которая стоила больших денег.

3

В стране витали слухи о революции. Докатились они и до Лещинова. Семья барина уехала, как говорили, за границу. Крестьяне очень жалели о случившемся: не хотелось расставаться с бариним. Хороший, видно, был человек.

Ефросиния вышла замуж за Максима. Он оказался человеком трудолюбивым. С малых лет рос без отца, сиротой: знал, как хлеб зарабатывать. Плотничал, работал на лесопилках, мастерил мебель. Дом для своей семьи тоже сам построил. Родились Маняша и Волька. Жить да жить бы...

Но революция и коллективизация ураганом пронеслись над людьми. Перемололи жизни, перемешали судьбы, раскидали по земле... Неразбериха, страх, неясность! Кто враг, а кто друг? Это сейчас по учебникам истории всё прописали: были красные, были белые. А тогда — пойди, разбери! Почему самый последний тунядец в селе, Свидригайлов, который соплей подобрать не может, теперь председатель колхоза! Свидригайлов, который никогда не работал, пьянствовал, ходил с голым задом, а теперь ходит по дворам и забирает нажитое!

Люди из ячейки (так называли представителей советской власти в селе), ходили по дворам с металлическими длинными пиками, тщательно тыкали землю — нет ли где зарытого глиняного горшочка с пшеном, а если находили — забирали, невзирая на мольбы, что детей кор-

мить нечем. Что значили слёзы женщин, когда в стране такое!

В доме уже ничего не осталось. Спали на полу, на единственной дохе, да под полом была ещё зарыта перина, её Ефросиния собирала своими руками много лет, пёрышко к пёрышку. В хозяйстве даром ничего не пропадало: перья куриц собирались, мылись, высушивались.

Я помню эту перину, вернее, то, что от неё осталось. Уже в Сибири Ефросиния разошьёт её, в который раз и добудет из неё перьев для подушек.

4

Люди из ячейки ворвались ночью. Из-под спящих Мани и Вольки рванули то, что было последним спасением. Маняша прижимала к себе братика, не давая кричать в плаче. Ефросиния валялась в ногах у мужиков, которые её отпинавали. Максима отшвырнули в сторону, грозя, что если не вступит в колхоз, то спалят дом.

По полу волокли последнюю надежду — шубу.

— Ироды-ы-ы-ы... — голосила Ефросиния и хваталась за полы шубы.

— Маманя-а-а-а — завывала Маняша и не отцеплялась от подола матери.

— Маня-а-а-а — что есть мочи вопил Волька и хватался за рубашонку сестры...

Решение пришло само собой. Вербовали на строительство в Сибирь.

В Сибирь! Но не к Свидригайлову в колхоз!

Ехали на товарных поездах, в вагонах для скота. Прощай дом, село, поля с арбузами, сады с яблонями, черешней, виноградом, грушами... Прощайте, родные места! Прощай, родня!

На полустанках бежали к водокачкам набрать воды. Толкались, суетились. Надо успеть, не расплескать, суметь пролезть под вагоном, пока поезд не тронулся, не растерять детей в этом безумстве!

На станции Джиды погрузились в машины. До Закаменска, небольшого сибирского городка, ехать в грузовике

почти триста километров. Закаменск так и называли — Городок.

Сибирь! Сюда отправляли в ссылку каторжников, разбойников, политических. А Максим ехал добровольно, да ни один, с семьёй! За что он себя наказал?! За то, что не захотел покориться, смириться с несправедливостью, за то, что не смог подавить в себе человека?!

Сибирь! Что ещё может быть хуже, чем свидригайловы? Говорят, здесь зимы холодные... Пять тысяч километров от родины... Дальше Закаменска дороги нет. Тайга. Вот он, конец света...

Расселили по баракам, выдали необходимое. Впервые за несколько лет уснули крепким сном. Долгие месяцы потребовались, чтобы привыкнуть к тишине. Ефросиния, просыпаясь ночами, бродила по комнате с хлебом в руках, прижимала заветный кусок к груди, решала, куда его спрятать, закопать, чтобы не отобрал кто-нибудь...

— Фрося, здесь нет Свидригайлова, — успокаивал Максим.

Много лет ещё будет прижимать к груди Ефросиния то хлеб, то отрез ткани.

Вскоре построятся дом, наладится быт. Дети вдоволь наедятся. Рядом грибы, ягоды, орехи. Маняша пойдёт в школу в третий класс. Однажды они с подружкой увидят в лесу волков. Вольку будут дразнить соседские мальчишки:

— Как смешно тебя зовут! Волька!

Не было такого имени здесь. Володя — так окрестят приезжего парнишку.

— Вот встанем на ноги, поедem в Пензу, покажем Свидригайлову, как мы живём! Одежду самую лучшую купим!

И одежду купили, и дом обставили. Максим по плотницкому делу, Ефросиния вязала шали из собачьего пуха, меняла их на продукты. Вязала даже в темноте, не зажигая лампы, не тратя керосина, на ощупь — руки знали своё дело: спицы так и мелькали. Её руки — гамаюны,

никак не могли найти покоя: они то и дело трепетали, вспархивали над коленями.

...Я помню шали бабушки. На фотографии я укутана такой шалью...

Однажды пришло письмо с родины. В нём рассказывалось о том, что в одну из ночей приехала чёрная машина, в которую посадили людей Свидригайлова и его самого, и увезли их неизвестно куда, и никто о них больше ничего не слышал. Видно, кто-то писал «наверх». В селе стало спокойно. Люди вздохнули. Можно возвращаться.

Максим долго ходил по комнате. Перечитывал и перечитывал письмо, вглядывался в строчки, в слова, будто хотел что-то между ними рассмотреть, понять. Лицо его — то мрачнело, то просветлялось:

— Так вот оно, значит, как. Так, значит, нет теперь Свидригайлова. Так, значит, он — не советская власть во все. Значит, советская-то власть совсем другая... Да... Вот если бы председателем колхоза другого поставили... А вот ведь как сложилось...

5

Когда узнали о войне, паники не было. Сказали просто: быть утром с вещами. Максим с другом Иваном Ломакиным ушли на фронт. Опять на грузовой машине до станции Джида, а там — на эшелон.

В письмах Максим сообщал, что попал в разведку, рассказывал о знакомых, земляках.

В 1941 году Закаменский вольфрамо-молибденовый комбинат работал уже вовсю. Даже женщины и дети намывали вольфрам вручную. Несколько граммов можно было обменять на продукты, одежду.

Марию собрали учиться в агрономический техникум в Улан-Удэ. Ефросиния в подкладку пальто зашила соборные для дочки деньги.

Мечтала Маша выучиться на агронома-семеновода и вернуться на родину, выращивать плодово-ягодные культуры, увезти родителей в покинутое село — их

гнездо, разорённое ненавистью. Техникум она окончила, но мечту не осуществила...

Ефросиния приобрела швейную машинку «Зингер». Шила, вязала: голодом не сидели. На чердаках всегда была мороженная голубица, брусника, кедровые орехи заготовлены впрок. В сундуки складывались отрезки материалов на платья, брюки, костюмы, и на окнах товар висел.

...Ещё много лет из этих отрезков будут шиться наволочки, матрасовки, занавески. Последние бабушкины запасы изрежу я на уроках труда, а то и просто, придумав какую-либо одежду, за что получу подзатыльник от мамы:

— Сколько лет лежат отрезки в чемоданах, а она, паразитка, опять взяла и изрезала!

Это потом заветные разноцветные куски перекочуют в чемоданы, а вначале их место было в дедушкином сундуке с железным замком. В шифоньере дедушкиного производства были ящички. Они выдвигались. В одном из них хранился бабушкин гребень, деревянный, с длинной ручкой.

Бабушка садилась на стул со спинкой, расплетала косы, и волосы касались пола. Она брала одну прядь в ладонь и гребнем начинала расчёсывать, не торопясь, снизу вверх. Зубья у гребня были длинные, частые. Я смотрела, затаив дыхание: бабушка была какая-то неземная, в длинном сарафане, с распущенными волосами. Иногда я украдкой доставала этот волшебный гребень, садилась на бабушкин стул, пытаюсь им расчесаться, но мой белый пух на голове, как бараний потник, не поддавался никакому волшебству.

Руки бабушки всегда были заняты работой. Она или вязала, или шила, или стирала добела ребячьи воротнички на стиральной доске в ванне. Одевалась она по-западному: сарафан почти до пят, под ним сорочка, под подолом исподняя юбка, а поверх сарафана запан — длинный фартук. Волосы убраны белым платком. Я тоже была одета соответственно. Поверх любого платьяца по-

лагался передничек. В детский садик, как все ребяташки, я не ходила. Моим оберегом была бабушка.

— Ах, ты, азиа-а-т, — ругалась она на братьев, если кто-нибудь из них задразнит меня.

Не помню ласковых рук матери, отца, как это ни печально, но бабушки своей, моей бабулечки — не забыть. Она была для меня всем, весь мой маленький мирочек уютился, вертелся около её тёплого подола.

...Я не могу понять, почему она лежит на стульях, а на глазоньках у неё лежат жёлтые монеты по пять копеек. Белая простынь сверху. Тишина. Пустота. Я стою на холодном полу босиком, смотрю на лежащую бабушку, молчу. Пол некрашенный, чисто выскобленный. Через сломанную ставню пробивается слабый дневной свет, беленькой полосочкой падает на белые половицы. Маленьким комочком теплится надежда в душе: может, проснётся...

6

Так и не дождалась Ефросиния своего Максима с фронта. Последнее письмо было в январе 1942 года. Верная и преданная Ефросиния ждала мужа до конца своих дней: а вдруг живой, возвращаются же другие.

Поначалу письма приходили чаще. Тетрадный листок сложен треугольничком. Затёртые, пожелтевшие от времени письма-журавлики прилетали и согревали душу, давали надежду. Хранились «журавлики» в самом сердце Ефросинии, то есть на самом дне машинки «Зингер», которая не переставала крутить своё колёсико с чёрной блестящей ручкой, строча и стуча, отсчитывая дни и ночи. Сколько их уже пронеслось то облаками, то тучами над головой Ефросинии, последовавшей за любимым в Сибирь, не кляня судьбу, ни в чём не упрекая. Мужественно и самоотверженно переносила она все невзгоды, обуючивала своё гнездо, наполняла теплом и счастьем.

Ефросиния делала свою привычную работу, ждала мужа, сама кое-как писала ему письма. Было у неё всего три класса образования, но в уме считала лучше всякого продавца.

«...доброе вам дня или ночи, дорогая моя супруга, и мои дети Маня и Воля...»

...Я часто залезала в машинку: одной рукой поднимала её тяжёлый чёрно-лаковый стан, другую просовывала в глубину ящика и вынимала маленьких «журавликов» из «бабушкиного сердца»...

«...Сегодня снова будет атака, не знаю, останусь ли живой...»

Вглядываюсь в портрет, висящий на стене в деревянной рамке. Чёрно-белое изображение деда в гимнастёрке подёрнуто желтизной.

Все письма написаны простым карандашом, коряво, неразборчиво. Одно письмо написано химическим. Поскользя палец, я прикасаюсь к синим буквам и отпечатываю их на ладошку.

«...Я чувствую себя хорошо, чего и вам желаю. Пропишите, моя супруга, как учатся детки, перешёл ли Воля в следующий класс?»

Я смотрю на этих «журавликов», на «бабушкино сердце», на свою ладошку, на деда в рамке и представляю: мы — птицы...

7

— Бабушка, а когда ты была маленькая, смартфоны были? — вырывает меня из прошлого голос внучки.

— Нет, доченька, не было.

— А во что ты тогда играла?

— Тогда игры были другие...

...Мы бежим с речки. Началась гроза. Ветер раздувает парусами не застёгнутые рубашки моих братьев и других мальчишек. Дождик с песком неистово хлещет их по лицу и босым ногам. Мне сказано залезть брату под рубашку. Я сижу у него на горбушках, обхватив ручонками его до черноты загорелую шею. Мне хорошо, я как в домике. Тепло от разгорячённого тела брата. Иногда я высовываю головёнку, чтобы посмотреть, далеко ли до дома.

Дома теперь нет бабушки. Моё воспитание полностью перешло в руки трёх старших братьев. Мать и отец от зари

до зари выполняют постановления партии, а братья выполняют постановление матери: не бросать Людку дома одну.

Милые мои братья! Сколько хлопот я им доставляла! Они и сорились, и дрались из-за меня! Но сберегли! Рогатка — это самое безобидное, что попадало в мои руки. Теперь я, как белый птенец в ребячьей стае, открывающий для себя совсем другой мир — мир опасностей и приключений. Мальчишечьи игры — мои игры.

...Со страхом и любопытством наблюдаю, как на дно зелёной бутылки опускаются кусочки карбида (его в Мэ-Тэмэ завалишь, если пролезть по дырке в заборе). Бутылка падает в костёр, а мы падаем на землю:

— Ложись!

Осколки пролетают мимо. Я подбираю разлетевшиеся вдребезги стёклышки, промываю их тут же в луже и сквозь них смотрю на солнце — красиво!

Опасные были игры. Войной придуманные...

А внучка заморожено смотрит в экран телефона уже несколько часов подряд.

— Доченька, сходи на воздух.

— Ба-а-б, не мешай, я играю.

...

— Штаб взорван! — разносится по округе.

— Скажи пароль! — пытаются «пленного» крапивкой на запястьях.

Никто не хотел сдаваться. Кто-то от погони с крыши сигает в крапиву. Ладони и голые ноги все в волдырях.

— Натри землёй, — советуют бывалые.

— Ба-а-б, а пойдём с нами в аквапарк!

— Нет, внученька, ходите с мамой. Да осторожней там, в аквапарке-то своём...

...Речка, журча, а порой всхлипывая на заводях, катит по разноцветным камушкам свои чистейшие воды.

— А ты сумеешь нырнуть и достать со дна вон тот белый камень?

Нырнуть надо, конечно, с открытыми глазами. Это самое сложное — открыть глаза под водой. Под водой все крики на берегу сливаются в один сплошной гул:

— Бу-бу-бу.

Дыхания уже не хватает. Последние пузырьки воздуха изо рта устремляются вверх на солнечную гладь воды. Я выныриваю — в руке белый камень, который тут же разбивается для изучения его внутреннего содержимого. Слюда на острых краях сверкает золотыми солнышками. Разгорячённый песок такими же искрами обжигает ладонки. Ребятня жарит на костре омульчажек, предварительно нанизав их головы на тоненькие ветки тальника. Всё ребячье братство уплетает за обе щеки подгорелое и полусырое лакомство. Майки, которыми они наловили эту мелкую рыбёшку, сушатся на горячих булыжниках.

У Серёжки на груди лежит уже дохлая от жары рыбка. Он, зажмурив глаза, топится на солнце. Надо ещё немного загореть, и на коже от рыбки нарисуеться белая картинка.

— А ты не боишься с нырялки вниз головой?

Вниз головой опасно: можно стукнуться о камни или запутаться в корягах, потому что сильное течение и вода во многих местах кружит устрашающими воронками. Шлёпаюсь плашмя животом. Больно. Опыт приходит не сразу.

— А поплыли на тот берег!

Головы ребят, как шарики над водой, всё дальше отдаляются от берега.

Вечером, перед сном старший брат снова почитает нам «Мамонтёнок Фуф». Я залезаю к нему на раскладушку и устраиваюсь подмышкой. Книжки, с замусоленными, затёртыми страницами, странствовали от соседа к соседу. И сложно было уже определить, кто же хозяин книжки, лежащей под подушкой.

...Шайба отлетела от клюшки и ударила больно по коленке. Но плакать стыдно. Эти уроки мужества приго-

дятся на всю жизнь. Не ныть, не гундеть, вставать и улыбаться, что бы ни случилось. Жить!

Привязать коньки на валенки — целое искусство. Коньки предварительно точились напильником на табуретке, с угла на угол. Крепкие шнуры для коньков вырывались из тракторных покрышек.

— В культмаг «канады» привезли!

Это коньки с острыми носами — на них катались «настоящие» парни.

В те годы слава о нашей хоккейной команде разлеталась по всему миру: «Трус не играет в хоккей!». На речном льду были все: от мала до велика. Брат протягивает мне клюшку:

— Держись! — парни уже надёжно привязали коньки к моим валенкам.

Серёжка тянет клюшку, у которой я являюсь продолжением, и мы скользим по зелёно-голубому льду. Потом мой рот набивают поджаренным на костре хлебом. Щёки уже не чувствуют мороза, красные, то ли от холода, то ли от счастья. Солнце уже клонится к горизонту. Серёжка смотрит на солнце и утвердительно говорит:

— Сейчас полчетвёртого.

Надо ещё успеть в кино. На хлебном магазине баба Зина клеила афишу, долго разминая в ладонях мякиш чёрного хлеба, смачивая его слюной до тех пор, пока он не становился липким. И этим мякишем прищандоривала клочок тоненькой афиши с красненькими буквами на бревенчатую стену магазинчика. Афиша ориентировала жителей РэТээСа, что детский сеанс в пять часов, а взрослый — в семь. А чтобы жители не пропустили начала фильма, то баба Зина минут двадцать крутила «журнал» о достижениях советского народа, живущего почти при коммунизме.

Баба Зина любила меня. Она была маминой подружкой, тоже с запада.

— Ну, тётя Зина, давай вставай, пойдём на крылечко.

— Ой, Люда, не встать мне больше.

— А ты встань на мои ступни и обхвати меня, не бойся, я не уроню тебя.

Тело тёти Зины, некогда изящное, словно выточенное скульптором, а теперь выболевшее за годы, как пушинка. Её нежные ласковые руки с бархатистой кожей брали мою ручонку и вели на луг, в лес...

— Смотри, Людочка, какой цветочек... «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, тёмно-голубые, и о чём звените вы в день весёлый мая, среди некошенной травы головой качая...» Ну, улыбнись, улыбнись. — Пытается она заполнить теплом моё сердечко, в котором после смерти бабушки поселилась печаль.

Прихожу на могилку бабы Зины и говорю с ней:

— Вот видишь, какое кино получается...

...

— А какое сегодня кино?

— Бравое! Про войну!

Мне не надо покупать билетик, баба Зина пропихнёт меня в дверь. На полу перед самым экраном места много.

С экрана на нас ползёт танк со скрежещущими железными гусеницами! Все маленькие ребятишки вместе со мной закрывают ладошками глаза и отворачиваются. Где-то под животом холодит страх:

— Всё?

А дома в бабушкиной машинке спрятаны пожелтевшие треугольнички, и на стене портрет деда в фуражке со звёздочкой. Мы уже собираемся ехать на запад! Мамка берёт нас с Серёжкой, потому что мы младшие!

8

В окне поезда мелькают разноцветные дачные домики, как игрушечные кубики. Вокзалы городов проплывают и остаются позади. Поезд подолгу мается на полустанках. Скорей бы уже этот запад! Уже почти неделя как мы едем. Спим с мамой «валетиком», а Серёжка спит на верхней полке, с которой он уже ночью падал. Мама на остановках спрыгивает с железной подножки что-нибудь купить нам поесть. Я изглядываюсь в окно:

— Сейчас поезд поедет, а её нету!

Но мама появляется с какими-то калачами, поезд сердито гудит, и мы трогаемся рывками. С верхней полки счастливо улыбается Серёжка чёрной от сажи физиономией, на которой даже веснушек теперь не видно — нас снова подцепил паровоз.

В Пензе, на вокзале, все торгуют яблоками! Горы яблок! Мы с Серёжкой никогда не видели столько! Нам давали яблоки только на Новый год, и то в подарках, по два яблока. А тут! Целыми вёдрами, корзинами продают почти даром! Груши, абрикосы, персики — мы их видели только в компоте! Мы были готовы слопать это всё сразу! Вот бы нам столько домой!

Нам заполняют все сумки фруктами, узнав, что мы из каторжной Сибири.

— Это антоновка, — говорит мама, взяв в руки яблоко жёлто-зелёного цвета, которое благоухает сладко-освежающим ароматом. Нюхает его, вертит в ладонях, никак не может расстаться с ним.

— Это самый лучший сорт для хранения. Антоновка должна отлежаться — и вкуснее этих яблок нет.

Но нам антоновка не нравится. Мы плюёмся и тянемся к красным яблокам, выбираем самые крупные. У нас в деревне ни у кого яблоки не растут. Мы даже не представляем, как они могут расти. Мы только ранетки пробовали. Вот у старика Меньшикова много ранеток в огороде. Забор сверху колючей проволокой обтянут, но парни всё равно забираются, набивают майки ранетками, а потом на лавочках около палисадников угощают ребятню поменьше. Мне всегда больше доставалось, так как кто-нибудь из братьев да был участником ночных вылазок.

9

На самой окраине Лещинова живёт дальняя родственница. Идём пешком через всё село. Мы с Серёжкой не можем понять, почему нет заборов и ворот вокруг домов, а вместо них прямо на улице растут яблони, груши, черешни, даже виноград! Можно подойти и нахапать сколько хочешь!

Чёрная липкая земля прилипает к сандалиям. Это уже не сандалии, а какие-то обутки на высокой широкой подошве. Надо палочкой их отодрать.

— Эх, эту бы землю, да на наши бы поля... — говорит мечтательно мама — вот бы пшеничка была!

А нам эта земля не нравится, потому что мы замутились её отскабливать. Красные сандалии теряют свой красно-лаковый вид.

— Ма-а-м, а горы где?

Вокруг бескрайние поля. По одну сторону села поле с бахчами и лесом, по другую — безграничное поле с пшеницей с нами в рост. Если зайти чуть дальше, уже не выйдешь.

— Мы чуть не заблудились.

— Ой, ой, это матерное слово — стыдит нас хозяйка — надо говорить «заплутали»!

— Хы-ы, — корчит рожу Серёжка, — заплутали-и-и.

Мать украдкой курит подальше от дома. Её осуждают. Здесь женщины не курят и не ругаются матом. А у мамы в сумке всегда лежит пачка «Беломора». Она носит хромовые сапоги, ходит с землемером по полям, линейкой измеряет глубину вспаханной почвы, ругает трактористов. А дома все сени заставлены огромными снопами пшеницы. Мы с Серёжкой разминаем в ладонях колючие колоски, освобождаем зёрнышки от шелухи и долго разжёвываем, пока они не превратятся в душистую серу. Поздно ночью мама будет раскладывать эти снопы на кухне, пересчитывать колосья, зёрнышки в них и прикидывать, сколько зерна возьмётся на том или другом поле.

...В лесу жутко, сумрачно. Кроны высоченных берёз и ещё каких-то деревьев не пропускают солнечный свет. Перед нами чудо-дерево! Многовековой дуб! Обхватить нам его не удаётся даже вдвоём!

— Ма-а-м, а это тоже жёлуди?

— Это орехи.

— А почему они не в шишках?

- Смотри, Людка, сколько ворон!
- Это грачи, — улыбается мать.

В овраге многолетние вѣтлы, на которых несметные тучи грачей. Они галдят так, что мы не слышим друг друга. Галчата пищат от радости. Грачи с зарѣй улетают на богатые поля, а вечером возвращаются, неся в клювах тяжѣлые колосья своим птенцам.

Хозяйка вечером козам и овцам нарезает целое корыто яблок! Я чуть не плачу от досады: яблоки — козам! Они смачно пережевывают привычно-вкусное угощение, ехидно кося на меня глазом.

...

— Какие холодные. — Я протягиваю руки к белым камням, которые один к одному громоздятся до самой крыши.

— Папаня строил, — глухо, почти шѣпотом, сквозь какой-то хрип, выдавливает из себя мама...

Рядом стоят смешные дома из глины.

— Подъте в горницу, — говорит хозяин.

Я тоже расстраиваюсь вместе с матерью, только не могу понять до конца, почему она плачет.

— Пойдѐм, я чай пить хочу, — тяну её за руку.

Чай в пачках мы привезли с собой. Мама-то знала, что здесь чай не пьют.

А бабушка Ефросиния научилась пить чай, когда уехала отсюда с дедом. Наливала в блюдце с золотой каёмочкой, его держала высоко на пальцах, и с кусочком бело-синего рафинада (она его колола в руке ножом) отхлѣбывала, не торопясь, вприкуску. Заварник пытел на макушке самовара. Я же громко швыркала из блюдца на столе.

— Ма-а-м, ко-о-о-гда д-о-о-мой п-о-о-едем? — Серѣжка уже окает и тянет слова по-западному. Мы все смеѣмся.

...

— Застрелили-и-и-и... Серѣгу застрелили-и-и-и...

— А-а-а-а... Серёженька-а-а-а... — чёрной голубкой бьётся мать об пол.

Тело Сергея лежит на больничной кушетке. Руки сложены на животе и перевязаны бинтиком. Крови нет. Милицейская синяя рубашка растёгнута. В боку на животе маленькое запёкшееся пятнышко от пули. Живот холодный, не Серёжкин...

Сирень трепещет в окне только что распустившимися цветками, которые от ветра и дождя прилипают к стеклу. Какой сильный ливень сегодня, с грозой.

- Прошла навывлет, со смещённым центром.
- Домовину заказали. Доски длинные надо. Высокий.
- От милиции оркестр будет.
- Две дочки у него остались, ещё маленькие совсем.

Девяностые годы... так-то вот...

10

...Лечу над весенними садами, над бескрайними полями, опускаюсь на ветку дуба, только что омытого дождём. Лучи напитали изнежившуюся на солнце землю. А вот и гамаюн. Эта птица, лишённая крыльев, снова явилась из цветущего рая.

Открываю глаза. Мои руки тянутся к белому листу бумаги. Буквы-грачи собираются в стаю, которой есть где вить гнездо.

Только бы не постучали люди с пиками...

Запах честной бедности

Первое, что меня смутило, — это был запах. Он шёл ниоткуда. Он был растворен в воздухе. Очень подходил этому месту. Неаккуратно покрашенные синей краской стены, неровно лежащий, местами пузырившийся линолеум, тусклый свет светильников в форме колокольчиков — ощущение безнадежности и тоски.

...В моей жизни случилась сложная ситуация. Работа, связанная с творчеством, денег почти не приносила. Зарплата уходила на оплату счетов коммунальных служб, телефона, парковки и т. д. Гонорары были настолько мизерные, что их хватало разве что для оплаты бензина. Надо было кормить двоих детей. Я осталась почти без денег, отказавшись от помощи человека, покинувшего меня ради поисков Бога.

Я простилась с медициной через шесть лет после окончания профильного института. Успела поработать детским врачом, о чём никогда не жалела.

Мои маленькие пациенты меня любили и не плакали, когда я их осматривала. В то время я носила множество колец и перстней на пальцах. Блеск украшений отвлекал их, а я этим умело пользовалась, прикладывая фонендоскоп к их нежным тельцам. Но двум богам не служат. К тому времени я уже окончила второй институт, связанный с моей нынешней творческой профессией.

Бывший мой коллега, с которым мы вместе работали во второй детской больнице, договорился с главврачом одного из санаториев, находящихся в городе, о том, чтобы взять меня дежурным врачом. Когда-то в мединституте

я подрабатывала ночной медсестрой. Поэтому ночные дежурства мне не были внове. Можно было бы заниматься и своими делами.

Созвонившись по телефону с главным врачом санатория, я поехала на своей маленькой «Мазде» (последний подарок мужа) на собеседование. Собственно, вопрос был почти решён, нужно было просто оформиться, как полагается.

Ехать оказалось недолго. Не центр, но и не совсем окраина. Санаторий находился внутри квартала, который я нашла по подсказке прохожих, и представлял собой типовое блочное двухэтажное здание — таких много в Казани. В них располагались детские сады, поликлиники и больницы. Я вошла, испытывая грусть. Она была связана с тем, что возвращение в медицину, пусть ненадолго, я расценивала как проигрыш.

Гордость и независимость, с которыми я повела себя при расставании с первым мужем, привели к тому, что я осталась почти без средств к существованию. Я не знала, как жить дальше.

В приёмной секретарь сказала, что главный врач занят, и попросила подождать, пока он освободится. Я вышла в коридор и села на один из стульев, расположенных вдоль стены. Я не видела детей, но их присутствие было очевидно. Раздавались детские голоса, крики, смех. Зная распорядок медучреждений, я могла предположить, что сейчас дети, пройдя лечение, коротают время до обеда.

...Между тем запах усиливался. Едкий, вызывающий безотчётное чувство тревоги, казалось, что он проникал в меня даже через поры в коже. Через какое-то время я поняла, что это было. Кислая капуста! Такой запах мог появиться, только когда варили щи из кислой капусты. Однажды я пробовала подобное. Соседка, которая жила этажом выше и нянчила моих детей, однажды угостила меня этими щами. Это одно из самых невкусных блюд, вызывающее чувство брезгливости даже при воспоминании о нём.

Запах честной бедности — вот что это было! Мне стало совсем тоскливо. Я представила, что мне придётся регулярно приходить сюда и дышать этим запахом. Если бы рядом были дети, они бы спасли ситуацию. Отвлекли бы своими чудными мордашками и ужимками. Но я слышала только детский гул.

Чем больше я сидела и вдыхала этот запах, тем сильнее мне хотелось покинуть это место. Да и ситуация моя перестала казаться настолько критичной.

Еще раз взглянув на дверь в кабинет главного врача, я неторопливо встала и пошла к выходу. В глубине души я ещё надеялась, что выйдет секретарь и окликнет меня.

На улице морозный январский воздух показался мне таким вкусным. А жизнь — такой ясной. Я поехала домой. Постепенно проходила обескураженность от своего же поступка. Вскоре как-то всё наладилось. Пропала необходимость в дополнительной работе. Появилась возможность заработать в рамках своей творческой специальности.

Однажды я проснулась ночью от сна, который полностью повторил мой давний случай. Мне приснился тот запах. Я не могла заснуть до утра. Снова и снова я перебирала в памяти детали того дня. Там случилось что-то важное.

Надо дышать свежим воздухом. В любой ситуации. Даже мало совместимой с жизнью.

Я знаю, как пахнет безысходность.

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

То, что сохранила детская память

Деревню Малевичи в семи километрах от белорусского города Жлобина — родину моих дедов и прадедов, немцы брали дважды. Это были первые недели войны. Здесь, в этой деревне у дедушки Мифодия, я с мамой и четырёхлетним братом Вовой спрятались от войны. Тут она нас и нашла. Папа уже воевал.

В нашем конце деревни немцы появились на мотоциклах неожиданно и весело. Помню их, голых по пояс, хохочущих во дворе у дедушкиного колодца, и как они потом гонялись по двору за поросёнком и курами. Им было очень весело. Не помню, где и как они его потом разделявали, только помню, что сало они бросили во дворе, и бабушка его подобрала. Так же неожиданно они и исчезли. Взрывы и выстрелы слышались где-то вдалеке.

И так же неожиданно с противоположного конца деревни появились наши солдаты. Их было много, очень много. Они торопливо окапывались вдоль деревни — ниже у болота. Там раньше велись торфоразработки. Наша, дедушкина, сторона улицы была выше, на горке, и всё, что там внизу происходило, с нашей стороны хорошо просматривалось. Появились орудия, танки, пулемёты. Солдаты рыли окопы. Было очень тревожно. Издали доносились звуки канонады. Они приближались всё ближе и ближе. Уже не помню, когда завязался бой: ночью или днём. Мы спрятались в блиндаже, который предусмотрительно вырыл дедушка в огороде под вишнями.

Немцы вернулись и заняли позиции наверху, у нас за спиной. Деревня оказалась между двух огней. Снаряды рвались с обеих сторон, то совсем рядом, то далеко. Страшно, когда с нарастающим свистом они летят, и кажется, что на тебя. И неопишное чувство облегчения, когда снаряд взорвался. Пронесло. Потом следующий, следующий, и так бесконечно, с небольшими передышками, несколько дней, слившихся в один бесконечно долгий.

Дедушкин дом был последним на краю деревни. Помню, как он горел...

К лазу нашего укрытия подполз солдат и предупредил дедушку: «Отец, мы сожжём ваш дом. Он нам мешает». Дедушка успел сползти в дом и принести какой-то еды. И потом, когда дом загорелся, мы смотрели в щёлку. Вначале за клубился дымом с огнём на соломенной крыше, а когда меня подтянули ещё раз посмотреть, пылала вся крыша и развевались белые занавески на разбитых окнах. Этого забыть невозможно. Бедный, родной мой дедушка!..

Бой то затихал, то возобновлялся. По ночам к нам часто подползали солдаты, разговаривали с дедушкой, а он ползал к ним за водой и приносил сухари. Ночью неожиданно подполз солдат и радостно закричал, что он подбил немецкий танк. Как потом оказалось, это был наш танк, и в нём сгорели три танкиста. Это мы узнали уже потом.

Не могу забыть наших ночных атак. Тишина. Отдельные выстрелы. И вдруг громкое дружное — «Ура!» И тут же с горки треск пулемётов. Невозможно описать, как постепенно «затухают» голоса. Меньше, меньше голосов, потом один. И тишина. Я и сейчас их слышу. Таких атак за ночь было несколько.

Уже потом, когда фронт ушёл далеко на восток, и дедушка вернулся на своё пепелище, он с бабушкой хоронил павших героев в поле и огороде, там, где они погибли. Я помню это, потом засеянное рожью, поле. В тех местах, где лежали разложившиеся останки, всходы

были гуще и зеленее. Этих ярко-зелёных купин было очень много.

Винтовки дедушка собирал и сбрасывал в большую, залитую водой, воронку от снаряда. Уже потом эти винтовки он сушил в полуразрушенном колхозном гумне и передавал в Жуковский лес партизанам.

Дедушка с бабушкой построили землянку и жили в ней ещё два года, пока не ушли в лес к партизанам. Я подолгу жила в этой землянке с ними. Там было тепло, только, особенно летом, донимали блохи. Спасала душистая полынь, которой устилали земляной пол. Я любила сидеть на полатах у маленького окошка у самой земли и заплетать, а потом расплетать множество маленьких косичек. Хотела быть кучерявой. Я и теперь вижу в осколке зеркала эту смешную, кучеряво-лохматую девочку.

Но это тоже было потом. А пока мы, скукожившись, прижимались к стенкам блиндажа под страшный свист и взрывы снарядов. Свиста *этого* снаряда мы не слышали. Вдруг над нами разломались и повисли, прижав нас к стенкам, брёвна. Над нами — дыра и небо. Счастье, что снаряд разорвался, ударив в вишню над нашим блиндажом. Как раз посередине, раскинув ножки, спал мой четырёхлетний брат. Весь подол его рубашонки оказался иссечённым осколками. А на нём и на нас — ни одной царапины.

Когда мы пришли в себя, дедушка пополз к соседнему блиндажу, где пряталась большая семья наших соседей Грековых, чтобы попросить для нас убежища. На месте их блиндажа он увидел большую воронку. Каким-то чудом уцелела только тридцатилетняя тётя Оля с маленькой дочкой Эльзой. У девочки была изуродована половина лица. Потом, где-то через 35 лет, по этим шрамам и редкой фамилии и имени — Шрейдер Эльза, тёте Оле разыскали потерянную её дочь. Об этом тогда много говорили и писали, даже помогли в Москве сделать пластическую операцию на лице.

Но всё это было потом. А пока мы в страхе сидели в разбитом блиндаже и не знали, куда бежать. Вниз к нашим — немцы откроют огонь. Вверх к немцам — ещё

больше сомнений и вопросов. Сомневались долго, и от безысходности, ночью повязали белые платки, выползли и начали продвигаться на горку к немцам. С их стороны раздались выстрелы, и мы ползком вернулись обратно. Выдержали до рассвета, и опять в белых платках, (только я с мамой и братом), полусогнутыми начали пробираться вниз к нашим. Выстрелы раздались не сразу, но вдруг начали свистеть пули. Немцы стреляли по детям. Как страшно звенит-свистит пролетающая рядом пуля! Звук тонкий-тонкий, мгновенный, и не увернёшься. Пронесло. Мы бежали, не останавливаясь. И уже когда оказались за домами, и короткими перебежками пробежали от дома к дому, по нам, а может, уже и не только по нам, продолжали стрелять. И так вдоль болота за домами, до самой железнодорожной насыпи. Наши солдаты только показывали и направляли нас взмахами рук, когда и куда бежать. Где-то уже у железной дороги нас остановили солдатики и дали нам сухарей и большие куски сахара-рафинада. О, какие же они вкусные — солдатские сухари!

Каким образом дедушка с бабушкой и девятнадцатилетней маминой сестрой Таней пробрались к железной дороге уже после нас, не знаю. Только знаю, что усилился бой, и они укрылись в кирпичном небольшом здании. В нём и теперь, как и до войны, — кассы пригородных поездов. Там десять дней они просидели без еды и воды, пока каким-то образом не оказались в нашем Жлобине. Да, долго мы не сдавали мой родной, дорогой, маленький приднепровский городок Жлобин.

Как мы потом оказались в своём доме в Жлобине — не помню. И не помню, как пытались скорее убежать подальше от фронта на восток. Далеко убежать не успели. Догнали они нас уже за Днестром в деревне Пиревичи. Бой был не долгим, и не таким страшным, как тот, первый. Кажется, не было орудий и танков. Помню только немцев с автоматами наперевес, когда они «зачищали» деревню. Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder. Когда автоматчик распахнул дверь погреба, где мы прятались, женщины закричали, выставляя впе-

рѐд детей: «киндер, киндер, киндер». Пожалел и не дал очередь или торопился?.. Потом мы оказались во дворе какого-то дома. Через улицу у забора полулежал, громко стонал и просил воды солдатик. Мы долго и мучительно на это глядели, а потом мамино сердце не выдержало, и она набрала в кружку воды и протянула моему четырёхлетнему брату. И он пошёл через дорогу, понёс воду стонущему солдату. Эта картина перед глазами у меня до сих пор. Босой, стриженный ребёнок идёт через дорогу с кружечкой воды. Мама надеялась, что в ребёнка они стрелять не будут. Стреляли бы, но видимо, не заметили.

Что было дальше и куда мы ушли с этого двора, не помню. Видимо, мама с нами убежала куда-то подальше, спасая нас. А вот мой бедный брат Вова помнил и всю жизнь часто вспоминал этого солдатика и кружечку с водой. Потому что страшно ему было.

Как поступила бы я — тридцатилетняя мама, в этой ситуации, — не знаю. Мне кажется, я бы не смогла так. Не знаю.

И это было только начало. Самое страшное было ещё впереди. И в Жуковском лесу у партизан, и потом в тифозной деревне Жеребцы под Бобруйским котлом, где меня схватили и вместе с другими детьми поместили в детский донорский лагерь «Красный берег», и в концентрационных лагерях в Германии, и в голодном послевоенном 47-м году, когда мы снова превратились в скелетов, но всякий раз теплилась надежда, что когда-то же это кончится и наступит время, когда будут ещё светлые и счастливые дни. Лучше об этом не вспоминать.

Самый счастливый день в моей жизни — 1 мая 1941 года. И описать это состояние невозможно. Не придумали ещё таких слов, которыми можно было бы описать чувства. Чувство страха, чувство счастья. И хорошо, когда всё ещё впереди и когда в любой ситуации ты ещё надеешься и ждёшь, что всё хорошее случится и сбудется. Ожидание счастья. Кажется, Паустовский или кто-то ещё пытались описать это состояние. А мне уже 84, и я ничего лучшего не жду, а только благодарю.

В моём нынешнем понимании и ощущении счастья: счастье — это когда тебя есть кому пожалеть...

* * *

Третье мая — мой второй день рождения. В этот день, 1945 года, меня освободили из концлагеря американские солдаты. Мне было двенадцать лет. Помню эту радость, и как мы, дети, договорились, что этот день всегда будем помнить и отмечать, где бы мы ни были, как наш день рождения. Мне всегда хотелось, чтобы с днём рождения меня поздравляли именно в этот день. Но не поздравляли. Это только мой день, и я его помню и отмечаю в памяти каждый год. Вот и снова вспомнила. Последний лагерь в маленьком городке Мульдештейн. Помню тоннель в какие-то шахты. Опустевшие бараки и нашу группу оборванных, полубосых детей. Последнюю неделю нас уже не охраняли и не кормили. Мы бродили, выискивали какую-нибудь еду, собирали ещё маленькие листочки щавеля у речки Мульде. Иногда нам давали кусочки хлеба. Откуда-то доносились звуки взрывов и до нас дошли слухи, что фронт приближается, и мы ждали, что нас скоро освободят. Потом вдруг всё замерло — затихло, и утром мы увидели на высокой трубе за речкой белый флаг. Кто-то сказал, что это немцы сдались. Трудно было в это поверить. В этой настороженной тишине мы прождали день и на следующее утро решили сами идти в ту сторону, откуда раньше доносились звуки взрывов. Было страшно, и идти решились не все. Я пошла с группой нетерпеливых и отчаянных «смельчаков». Городок замер в ожидании, на улицах никого, опущены жалюзи на окнах. Вначале мы бежали. За городом — тоже тишина и с обеих сторон дороги пустые и голые поля. Мы шли и вглядывались вдаль в надежде увидеть наших солдат, но впереди — никого. Измученные мы сели у обочины дороги и с отчаяния все горько расплакались. Выплакавшись, осмотрелись и увидели бурты с картошкой. Боязливо подбежали, разгребли, набрали, сколько смогли, и решили вернуться в лагерь. Хотелось быстрее

сварить и поесть. Вот тут-то, когда вернулись, мы увидели солдат, одетых в какую-то незнакомую форму. Они раскатывали провода с больших катушек. Это были американские связисты. Потом они привезли нам много хлеба, а мы в своих банках сварили на костре картошку. Пили эту водичку и экономно ели хлеб с картошкой. Мы ещё не верили, что завтра тоже будет еда. Вот это чувство страха голода нас и спасло — мы не объелись. На следующий день за нами приехали и увезли русские солдаты.

Помню, что наши солдаты долго везли нас на громадных телегах-платформах, запряжённых куцехвостыми громадными лошадьми.

В памяти всплывают отдельные эпизоды. Проезжали небольшие городки и населённые пункты. Безлюдная тишина. Население затаилось в ожидании... Окна — за опущенными жалюзи. Незабываемое ощущение.

Нашу телегу из двадцати человек на ночёвку заселили в один из коттеджей. Мы все разместились в одной большой пустой комнате. Мы были оборванные, грязные, босые. Помню, как по красивой лестнице со второго этажа спустились две пожилые аккуратненькие худенькие немки. Они принесли нам много поношенной обуви и ослепительные в рюшках и кружавчиках подушки и одеяла. И нам, ранее так обозлённым и ненавидящим немцев и всё немецкое, детям, вдруг стало жалко этих немок и стыдно — нам грязным — взять и использовать эту белоснежную чистоту. Мы, как смогли, поблагодарили и отказались принять, улеглись рядышком все на полу, подложив под голову наши котомки. Вот такие мы — всё и всем прощающие русские дети.

Следующая остановка и ночёвка была уже в другом коттедже. Помню, как солдаты привели нас на кухню, широким жестом, как у себя дома, распахнули буфеты и достали большую, килограмма на три, миску то ли масла, то ли маргарина. И дали мне нож, чтобы всем разделила. Помню, как надо мной нависла толпа голодных детей, протягивая свои грязные, исхудалые ручонки, а я всё резала и резала на сектора это масло, а они тут же его

слизывали и снова тянули руки. И тут я вдруг увидела, что масло заканчивается, и мне ничего не достанется. Я резанула кусочек побольше, бросила нож, нырнула под стол и тут же его съела. Остатки, уже над моей головой, мгновенно догребли и съели. А я вот до сих пор вижу этот вдвое больший кусочек и мучаюсь совестью. И чем старше становлюсь, тем сильнее стыжусь этого поступка. Это масло, наверное, только я и помню до сих пор.

А мы всё ехали и ехали. До Франкфурта нас везли долго.

Вспоминаю, как на этой телеге я переболела фолликулярной ангиной. Страшно болело горло. Там был нарыв. Я не могла разговаривать и часто теряла сознание, проваливалась куда-то. Видимо была очень высокая температура. Запомнилось, как однажды вечером солдаты поднесли к нашей телеге ведро с парным молоком. Нас было человек двадцать на этой телеге. Все пили это молоко, а у меня не было даже сил протянуть руку за кружкой. А мне его так хотелось! Вдруг кто-то вспомнил на последней кружке, что Галя не пила ещё. А в противоположном углу телеги стонала девочка, мучаясь от зубной боли. И я отказалась от этой кружки и сказала, чтобы отдали плачущей от боли Зине. На следующий день прорвал нарыв в горле, мне стало легко, и я выздоровела. Может это не выпитая кружка парного молока спасла мне жизнь. Не знаю, но та кружка мне вспоминается и по сей день.

Потом был Франкфурт. Четырёхэтажный дом, заполненный собранными выжившими детьми. Нас только в конце августа санитарным поездом, с качающимися вместо полок брезентовыми люльками, отправили на Родину. Раньше было не до нас. Поезда-эшелоны с оборудованием отправлялись в разрушенную и разграбленную страну. А мы с нетерпением ждали возвращения домой, с надеждой, что встретим кого-нибудь из родных.

А пока нас строем и с песнями водили на солдатскую кухню и хорошо и жирно кормили. До сих пор помню запах этой вкуснейшей в мире солдатской еды.

Был цветущий май, солнечный день, чудесное настроение, и вдруг — весёлый хохот сидящих на обочине дороги девушек в солдатской форме. Не знаю, над чем они смеялись, а я подумала, что это они смеются надо мной, над моими большими и босыми ногами. Ладони и стопы ног у меня действительно были не пропорционально громадными при худеньких, обтянутых кожей костях! Все мы так выглядели. Они были счастливы и конечно же хохотали над чем-то своим, как я сейчас понимаю. А тогда переживала очень.

У нас был свободный досуг. Мы лазили по пустым домам, удивительного порядка чердакам, искали для себя одежду и обувь. У солдат для нас, видимо, ничего не было.

Мы пели много песен, впервые увидели кино, выступали перед солдатами с какой-то самодеятельностью. И только недавно я вспомнила и задумалась над одним выступлением. Завершали мы наш концерт примитивными гимнастическими упражнениями. А в конце — меня, как самую маленькую и лёгкую, на скрещенных руках поднимали, и я, приложив руку «под козырёк» рапортовала: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливо детство!» Не знаю, задумывались ли над этими словами сидящие, глядя на нас, солдаты, но они нам бурно аплодировали, и мы действительно были счастливы.

Салют

Год назад мама попала в больницу на обследование. 9 мая она прислала мне вечером сообщение и спросила, вижу ли я в окно салют. Я тогда переехала в центр города, и хоть окна мои совсем не видовые и выходят в тихий двор, всё-таки если встать в угол комнаты и посмотреть в окно вбок, то можно увидеть деревья вдаль и небольшую панораму, и даже с заливом (я не сразу поняла, что это именно он, а не просто линия горизонта). Честно сказать, тогда у меня не было никаких сил и желания думать о салюте. Всё было плохо. В мире происходили тектонические сдвиги, мама слабела с каждым днём, и глубоко внутри я знала, к чему идёт дело, а квартира опустошала меня своей дряхлостью (теперь я сделала ремонт и люблю её гораздо сильнее). Я сидела в тёмной комнате и смотрела в телефон. Но мама всегда умела вытряхнуть меня из апатии, даже будучи прикованной к постели.

Я встала и подошла к окну, ещё раздавались звуки залпов, и я заняла положение, из которого видна «панорама». В окне, за старыми фасадами домов и высоченными тополями я увидела разноцветные искорки. Они весело разлетались по сторонам, как брызги шампанского, отражаясь в окнах соседей. На миг они связали нас с мамой прочнее, чем сообщения в мессенджере. Это было общее переживание радости, чуда, любви, вне всякой политики. Как будто мы вернулись в моё детство и снова вместе наблюдаем салют, а потом пойдём домой. Я написала маме, что вижу салют. Она, лёжа в больнице спального района, могла его только слышать. Мама обрадовалась и пожелала мне спокойной ночи, а я — ей. Тот салют всегда будет для меня особенным. В этом году, услышав залпы, я обязательно подойду к окну и подумаю о маме.

Содержание

К читателю.....	3
<i>Анастасия Астафьева.</i> Всё на свалку!	5
<i>Марина Кулакова.</i> Потому что ты девочка.....	14
<i>Инна Ростовцева.</i> «Мир в его минуты роковые...»	28
<i>Ольга Харламова.</i> Светит месяц	37
<i>Лидия Григорьева.</i> Термитник.....	43
<i>Рада Полищук.</i> Сколько жизнь всего вместила	47
<i>Ирина Витковская.</i> Валька, Римка, Ирка, я	66
<i>Галия Мавлютова.</i> Приговор за любовь	79
<i>Фаина Османова.</i> Ламбада.....	100
<i>Ирина Горюнова.</i> «Чтец-декламатор».....	139
<i>Светлана Василенко.</i> Моя сестра Надька.....	180
<i>Наталья Иванова.</i> Чёрное и белое в истории победившего социализма	195
<i>Светлана Рузлёва.</i> «Отличнейшее масло, я так его люблю».....	206
<i>Людмила Осокина.</i> Халупа.....	214
<i>Оксана Чайковская.</i> Очёски	220
<i>Ольга Говорухина.</i> Ответственность	230
<i>Ева Меркачёва.</i> Советчица.....	234
<i>Любовь Шубная.</i> Васьки в квадрате	238
<i>Анна Маркина.</i> Tesla.....	248
<i>Галина Щербова.</i> Олик и Дерево	255
<i>Екатерина Малиновская.</i> Брачный день.....	268
<i>Татьяна Каргаманова.</i> Куколка.....	276
<i>Елена Жарикова.</i> Катай и Корлик.....	282
<i>Елена Сафронова.</i> Синий глаз.....	289

Содержание	399
<i>Ольга Кузьмичёва-Дробышевская. Окно и небо</i>	301
<i>Екатерина Сирота. Вдох</i>	313
<i>Нина Веселова. Ночные ангелы</i>	319
<i>Надежда Ажгихина. Небо в августе</i>	331
<i>Мария Брегман. Бабушка Маруся</i>	341
<i>Галина Погожева. Вдоль по Питерской</i>	357
<i>Людмила Семёнова. Я — птица</i>	369
<i>Лилия Газизова. Запах честной бедности</i>	385
<i>Галина Лившиц. Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder</i>	388
<i>Елизавета Разинкина. Салют</i>	397

Литературно-художественное издание

ПАМЯТЬ ЖЕНСКОГО РОДА
Сборник женской прозы

Редактор *В. Н. Мисюк*
Дизайн обложки *Екатерина Арт (Омельченко)*
Корректор *М. Л. Куракина*
Вёрстка *Л. В. Васильева*

ISBN 978-5-901511-57-2



Подписано в печать 18.12.2023. Формат 60 × 90¹/₁₆.
Печ. л. 25. Тираж 1000 экз. Заказ № 3908.

Отпечатано в ООО «Контраст»
192171, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20
E-mail: ooocontrast@yandex.ru